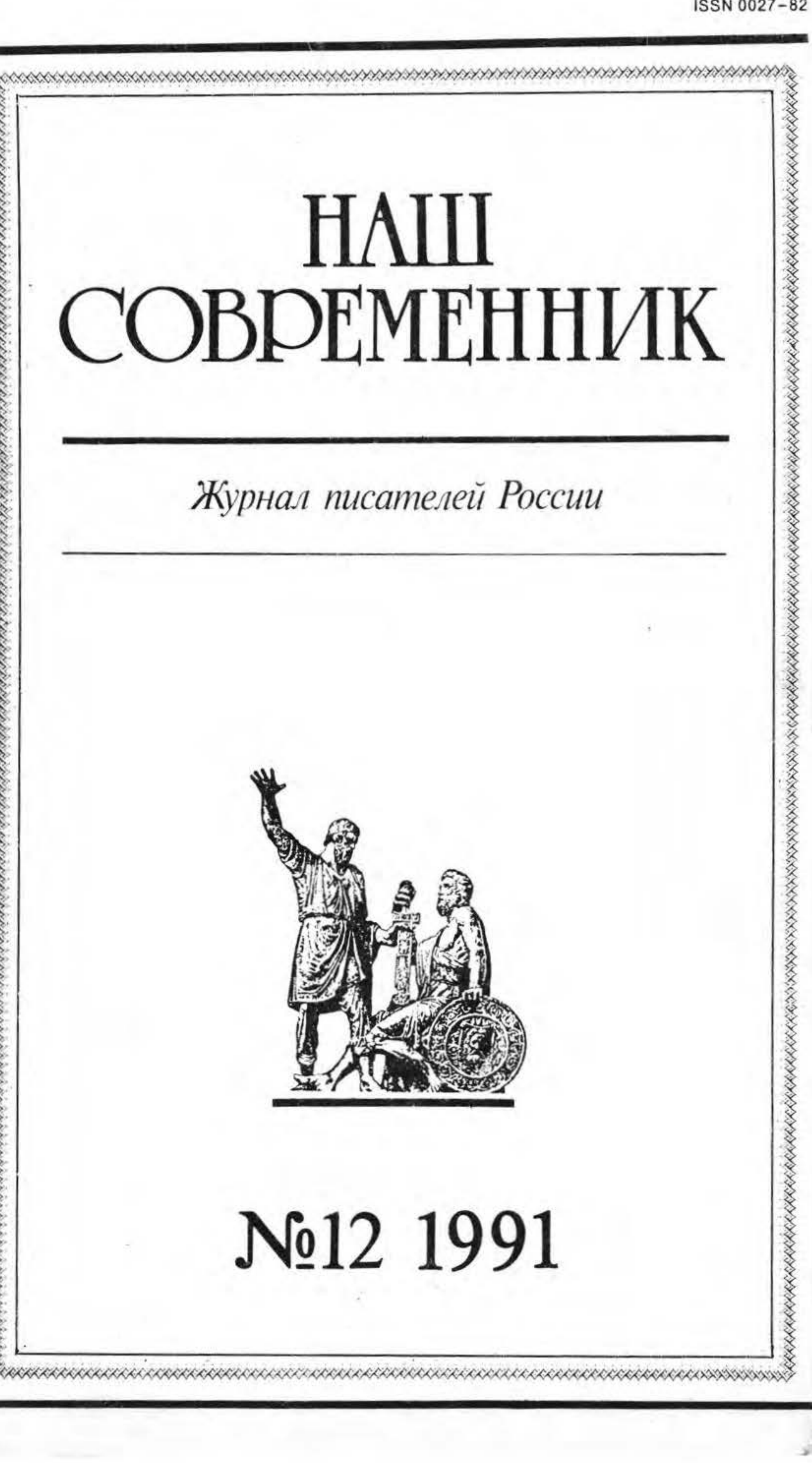
ISSN 0027-82



НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№12 1991



К 50-летию разгрома немцев под Москвой

ПЕРВАЯ ПОБЕДА





Сейчас немодно говорить о победах. Страна в глубочайшем кризисе. Как и пятьдесят лет тому назад, над Родиной нависла смертельная опасность.

...В декабре сорок первого у стен Москвы мы выстояли и победили. Это было решающим событием первого года Великой Отечественной войны. Первым крупным поражением Германии с сентября 1939 года. Первой нашей большой победой во 2-й мировой войне.

Под Москвой советские войска сорвали гитлеровский план "блицкрига". Они развеяли миф о "непобедимости" германской армии. Из рук немецко - фашистского командования была вырвана стратегическая инициатива. Врага отбросили далеко от русской столицы.



На снимках: 7 ноября 1941 года. Парад советских войск на Красной площади.

Танкисты Катышев, Паленый, Пиляев и Хохлов – герои битвы под Москвой.

Генерал-майор Панфилов и его боевые соратники Серебряков и Егоров.

Плен.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей РСФСР
и трудовой коллектив редакции

№12 1991

ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР
МОСКВА

Содержание

Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **М. В. Масленникова, Л. Н. Тихонова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 928-32-16 (заместители главного редактора), 200-24.94, (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24.76 (отдел писем, корректоры), 921-43-59, 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.09.91 г. Подписано к печати 04.12.91 г.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Высская печать.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 21,18. Тираж 311 697 экз. Заказ 2301.

ИПО Союза писателей СССР. 103750, Москва, Цветной бульвар, 30
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда».
123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

ВЛАДИМИР КРУПИН



ПРОЩАЙ, РОССИЯ, ВСТРЕТИМСЯ В РАЮ

ПОВЕСТЬ

СТРЕЛЯТЬ ОТ ПУЗА ВЕЕРОМ

Мне почти безразлично любое время года. Конечно, так было не всегда, но сейчас все искалечено: и зима не зима, и лето не лето. Все дни какие-то малокровные, ветхие, закат обтрепанный, восход натужный. Дождь ли пойдет — после него пятна на листьях, ветер дует, несет запах какой-то гадости, — поди тут, порадуйся природе.

Немного легче зимой. Хоть изредка, но бывают дни как в детстве, как сегодня: холодно, мороз, резкое солнце. На свежий снег нападало много-много семян липы. Они слетают с высоченной липы около церкви, крутятся на своем единственном крылышке и тоже напоминают детство. Мы их собирали и ели. Помню их сладость. Так ощутимо, будто это не было целую жизнь назад. Воробьи охотятся за семенами. Но сегодня я разбаловал воробьев — непрерывно что-нибудь выношу в кормушку. Надо или не надо, выхожу во двор. Уж давно и дорожки разгреб, и крыльцо проскреб от наледи недавней гололедицы, и промел, а все тянет на улицу.

Сколько мне осталось таких дней?

А вот интересно, что в памяти сохранились не дни, то есть не метеорология, а труд в этих днях. Лето — сенокос, окучивание картошки, грядки, весна — лед в погреб, навоз на поля, осень — картош-

---

КРУПИН Владимир Николаевич уроженец вятской земли (1941 г.). Работал в районной газете, служил в армии, закончил Московский облпединститут. Автор многих статей, рассказов, повестей — «Живая вода», «Сороковой день», «От рубля и выше», «Великорецкая купель», романа «Спасение погибших». В «Нашем современнике» печатается с 1972 года.

ка и жатва, зима — дрова, езда за сеном. Не было пустых дней. Как же теперь-то все из угла в угол слоняются, как же так? Я о молодежи. Ничего мне нынче в ней не нравится, ничего. И не только в молодежи, вообще во всей нынешней жизни. Можно подумать, что я такой мрачный пессимист. Но это тот подумает, кто Костю не знает, моего соседа. Он еще старше меня, прошел всю войну, уж он повидал всего. Так он говорит: «Стрелять их надо через одного, тогда только чего-нибудь будет». — «И ничего этим не добьешься». — «Нет добьешься». — «И как ты будешь стрелять?» — спрашиваю я. — «А так: от пуза веером».

Для Кости вообще нет проблем. Смотрим с ним телевизор, — а чего еще старикам делать? Костя комментирует. Показывают утаенные от покупателей продукты, спокойную наглую морду директора базы, называют тонны дефицитных товаров, продуктов на миллионы рублей, Костя злится: «Какой протокол писать, надо на месте расстрелять». Показывают плохое поле, жалуются на сорняки, у Кости готов рецепт — расстрелять на этом поле агронома. Плохая ферма, нет кормов, низкие удои — повесить на воротах фермы зоотехника. Мелиораторов Костя предлагает топить в их же каналах. Политиков он предлагает выгнать в поле или загнать в шахту, а тем, кто особенно начинает мелькать на трибунах и перед камерой, — отрезáть язык, ну и тому подобные, очень эффективные меры.

— Пропала Россия, а они болтают. Стрелять!

— Не все! — упрямо говорю я.

— Все. Посмотри на их морды.

— Не все. И есть не морды, а лица. Конечно, их держат с умыслом. Чуть что, вот такой же, как ты, явится кулаком стучать, продаете, мол, Россию, приватизаторы, мать вашу, а они тебе с ходу: нет, иди умойся, а у нас есть Шишкин, Мышкин, у нас есть Гвоздин, Раздергайкин, они за народ убьются. Поговори с ними. И точно — убьются. Но не они решают, не радетели за народ. Им дают правду-матку резать, по телевизору показывают, мы счастливы — есть, мол, наши радетели в правительстве. И закон примут. А толку никакого. Государство правовое, а мы бесправны.

— Сталин нужен! — говорит Костя — И чтоб баб приковать цепями к плите, тогда выживем.

— Нет, Россию спасет Православие, — говорю я.

Так что мы с Костей по-разному смотрим на возможность спасения России.

Солнечный день. Мороз. Еще и по радио — день музыки Моцарта. Так много радостей сразу, что боюсь за следующие дни — придется отрабатывать. Вон уже и ворона отобрала у синицы кусок сыра, взлетела выше липы на колокольню и питается там. И солнце на запад. И электричество отключили. Хорошо, приемник на батарейках. А иссякнут батарейки, что делать?

Как давно не скрипел снег под ногами, как давно не тянуло обойти вокруг нашего Никольского. Сейчас сделал малый круг — от наших домов по мостику через речку Малашку, по полевой дороге, потом возле кладбища, и опять домой. Как же хороша отовсюду наша церковь! Она плывет, как корабль на рассвете в розовых лучах, вблизи огромна, смотришь издали — светится и сверкает. А отпустят морозы — церковь вся в серебряном инее, вся: стены, крыша, купола, а кресты всегда в полном золотом сиянии. Вот куда не жаль золота, а в остальном провались оно в тар-тарары.

У нас с Костей не то что золота, ничего нет. Как хорошо! То есть не ничего — сухари-то есть, валенки есть, баню строим. Но баню не утащат, а из-за золота убить могут.

Так и живем два старика, разговоры разговариваем. Ругаться нам не из-за чего. Я надеюсь, что Костя не потерянный для церкви человека, а Костя надеется, что я брошу туда ходить. Так и живем.

НЕ БАТЬКА СТРОИЛ, НЕ СЫНУ ЖИТЬ

Строим баню. Вернее, пока мечтаем о строительстве. Собираем кой-какие материалы. А моемся в старой, уже не раз горевшей, некорыстной, с черной штукатуркой внутри, с провалившимся полом. Но ничего — пар есть, мыться можно. Костя лезет на полок, хлещется там и кричит:

— Родины просторы, голые долины!
Эх, мойся, никого не бойся!

А если сильно в духе и позволяет здоровье зайти в парную троекратно, то начинает музыкальную песню о женской доле, о женском самопокаянии:

—Эх, думала, думала, все передумала,
Думала, думала, думала я.
А как подумала, чем же я думала,
Лучше б не думала, думала я.

Я ее не сразу выучил, эту песню. Но походи-ка десять лет каждую субботу с Костей в баню, выучишь. Еще у него есть китайская песня, он ее выучил, когда долго ездил электриком на фирменном поезде номер один «Россия» Москва — Владивосток. Она звучит так:

— Солнце встает за рекой Хуанхе,
Китайцы на работу идут.
Горсточку риса в желтой руке
Китайцы на работу несут.
Солнце садится за рекой Хуанхе,
Китайцы с работы идут.
Горсточку риса в желтой руке
Китайцы с работы несут.

— Не батька строил, не сыну жить, — так говорит Костя о нашей жизни.

— Раньше строили... у! Эх, как строили! — Костя собирает ладонь в кулак и пристукивает по столу.— Отца раскулачили знаешь за что? Ни за что не догадаешься. Не за богатство. У него все богатство — десять детей. Раскулачили за то, что коммунарам не давал спать. Он с пяти, с шести в кузне, горн разогревает и стучит. А они с вечера дела обсуждали, заседали, напились, им спать надо, он стучит-гремит по наковальне. Эх, а стук был! Веселый звон по деревне. Входишь в какую деревню, там глухо — ни колоколов, ни наковальни, глухо, сердце жмет... Коммунары были по прозвищу Дубаки — братья, Фока, Давыд, все плуты первеющие. Отец еще шорничал, шлеи, хомуты, мы валенки валяли, как без этого? — всё коммунары зачли, записали в кулаки, отец ночью бежал, а за нас был спокоен, мы двое сыновей были призывного возраста, девки не в счет. Брат работал на полуторке, в ней и уехал в армию, на ней в войну под Смоленском подорвался, наехал на мину. Было у нас пятнадцать овец, рига, четыре лошади, но семья была огромная, деды с нами и бабки, уж не работники, а рты. Меня война застала в армии, прошел всю войну, домой, там на лесозаготовки в Архангельскую область, Холмогорский район. Хлеба совсем нет, овсянка и треска. Без трески в животе трещит. А почему туда поехал — на лесозаготовки в другую область посылали с паспортом, в своей — по справке. Вернулся с паспортом, в колхозе хоть помирай, все порушено. Я к сестре, сюда. Здесь прописали, военкомат помог, по заявлению сестры — муж инвалид. Безрукий, дров надо, то, сё. Безрукий, а пил! Я пожил, пожил у них, женился. Жили впятером на девяти метрах. А!

Костя включает телевизор, информация идет из него устрашающая: катастрофы и войны, и Костя вставляет после каждого сообщения как припев к песне: «Суши сухари». Также он весьма полемичен и находит, что сказать каждому оратору, когда, устав от угроз про-

граммы «Время», переключает на репортаж из говорильни, то есть из какого-либо парламента, союзного или поменьше, Костя не видит в них разницы. Как парламентеры ни прячутся за дымной завесой иностранных слов, от Кости им не уйти. «Парламентеры,—говорит он,— это те, кто в войну шел сдаваться на переговоры. И тут только разница в том, что не сдаются честь по чести, а продают. И этим гордятся. Ишь, зараза, воду пьет, небось, лопал вчера,—говорит он тучному депутату,—ишь, лоб вспотел, похмелье выходит.—Другому, кажется, самому президенту, приносят стакан молока или кефира, чего-то белого. Костя сурово спрашивает:—А ты корову с утра доил?» И так далее.

Но что с нас с Костей взять—мы старики, нам уже ничего не нравится, нам ничем не угодишь. Но нам и угождать не надо. Не нам одним ничего не нравится, да кто нас слушает, кому мы нужны, кто с нами считается? Какой наш протест против повсеместного бардака в стране? Побрюзжим у телевизора, вспомним детство трудовое, золотое, да и поползем по лежанкам. Ну я еще, может, если очки найду, то чего-нибудь почитаю. Костя чтение презирает.

Беда, прямо беда. Нас, любящих Россию, никто не слушает, а депутаты давно и прочно заняты собою, интригами, политикой, льготами им заткнули глотки, ждать от них чего-либо уже и бессмысленно. Получается, депутаты пришли к власти на обмане людей, обещали бороться с привилегиями, а сами, дорвавшись, стали хапать впятеро против прежних.

А ведь всем помирать. Вот этого-то как не поймут? И хапают, и хапают.

Опять мы сползлись, сидим в любимом своем месте в предбаннике, обсуждаем опять политику. Как мы от нее ни отплевываемся, она, как гнус в тайге, ползет из каждой щели.

— Я бы вот этого на место Рыжкова поставил, — говорит Костя, — лысый такой, он еще академик. Да ты, наверное, знаешь я о ком.

— Не знаю и знать не хочу,—отвечаю я.—Не верю никому, сколько я верил, пока понял, верить даже себе нельзя, только Богу.

— Нет, говорит Костя,—этот бы академик потянул. Академик, ты что! У него даже, наверное, высшее образование.

— Да хоть и три высших, толку не будет. Не будет. Будут хапать, пока ничего не боятся. А чего им бояться? Да им в камеру и коньяку принесут, и телевизор поставят, и телефон протянут, а!—я машу рукой, какая мне разница, как живут советские мафиози в советских тюрьмах, да и не сидят они там. Это нас с Костей можно за десять кирпичей посадить или за ведро гравия, а миллионщики живут иначе.

— Ну вот сам подумай,—рассуждаю я вслух,—вот эти, сытое ворье, вот эти купленные-перекупленные горлопаны, вот неужели они думают, что это жизнь: пожрать, золота нагрести, яхту купить, десять машин, виллу, и что? Фонтаны заведут, лакеев, блядчонок нагонят, музыкантов, и что? Надо ведь охранников, убийц наемных. И все друг друга ненавидят, все повязаны, все подельцы, все у куска. А какая короткая жизнь, Господи Боже мой. Нет, не люди они. У куска только свиньи и собаки живут, людям надо делиться. Вон я кусок сыра мелко не раскрошу, как начнут синицы у него ссориться...

Костя как обстоятельный тугодум, видимо, прокручивает академика с высшим образованием в своих мыслях и соглашается со мной:

— Да пожалуй, что и академик толку не даст. Нет, выход один — нужен батька Сталин, нужен. Хоть на неделю.

— Нет,—не соглашаюсь я,—мы с тобой об этом сотни раз говорили,—ничего страхом не сделаешь.

— Сделаешь,—говорит Костя.—В Германии сделали. Я сам видел: за безбилетный проезд вывели и расстреляли.

— Костя, ты выдумал.

— Я выдумывать не могу. Пойди, проверь. Съезди для интереса в Германию, там есть кто-нибудь, чтоб без билетов ездил? То-то.

Наступает пора кормить кроликов. Бредем в сарай вместе.

— Такая скотина, какой не бывало, — всегда хвалит Костя кроликов. — Год не корми, год будет молчать. И шкура, и мясо, и шерсть. Я двести кроличьих шуб сделал и пятьсот шапок. А если бы так не я один? Даже ленивые могут выращивать, хлев дырявый, а кролики холода не боятся, воды лень натаскать — снега накидай, нет, даже и кроликов лень выращивать! Последний атомный век.

Костя так часто выражается — последний атомный век. Еще он говорит: «Жили деды — не знали беды; вы поживете, внуки, — хлебнете горя и муки».

Кролики тихонько грызут стебельки сена. Клеток в сарае — целые небоскребы, но обитаемы немногие: у Кости уже нет сил держать много.

— Скотина не виновата, что хозяин дурак, — рассуждает Костя. — Вошь заведешь, и то кормить надо. А тут кролики. Вошь держишь, и то чешешься. Ох, в войну их было, трясешь нижнюю рубаху на пол, под ногами трещат, как семечки. А летом кладешь гимнастерку воротом в муравейник, тут муравьи начисто, лучше прожарки обработают. Один цыган мне говорит: «Белая вошь — хорош: наестся и спит, а черная блоха — плох: наестся и скачет». Пошли посидим.

Идем к Косте в дом. Он живет с семьей дочери, с Валей. Семья — муж Сашка и сын Володя, Вовчик, как зовут его друзья. Он переболел в детстве и отстает в развитии. Учительница ходит заниматься с ним на дом. Дом Кости огромен, это бывшая церковно-приходская школа, затем просто школа, в ней покойница жена Кости работала уборщицей, они жили все на кухне. Потом школу перевели, дом Косте продали, и у них у всех по комнате: у Кости, у Вали с Сашкой и у Володи. Но всегда все сидят вместе на кухне, там день и ночь работает телевизор, там бродят под ногами кошки и играет с ними очередной щенок. На улице живут две собаки — Шарик и Бим. Их сегодня, по случаю мороза, пустили погреться. Щенок Джек кидается ко мне, облизывает снег с валенок. Костю он боится, Костя может пнуть. Хотя сразу скажу, что кто же, как ни Костя, приучил дочь к такой сердобольности — тащить всех выброшенных котят и щенков в дом? Кошек три: Катька, Муська и красавец кот Богдан. Он из чернобыльской зоны. Так сказал подаривший его офицер. Кот сиамской породы. Говорят, они злые. Но Богдан в доме у Кости стал ручным и добрым.

— «МОЛЧИ, И БУДЕТ ТЕБЕ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». — И РУССКИЙ НАРОД МОЛЧИТ.

Костя рассказывает о своем отце. Именно он сказал эту фразу в 30-е годы. Костя сидит, понурясь, распространяя вокруг себя дымную завесу. Вскоре из дыма слышится любовная частушка:

— Все картошка да картошка,
Я склоняю голову.
Принеси, милашка, мяса:
Погибаю с голоду.

Далее общественно-политическая:

Горбачев на мавзолее
Правой ножкой топает:
— Выходи, товарищ Ленин, —
Перестройка лопает.

Далее воспоминания юности:

По деревне мы идем,
Дождь гармошку мочит,

Председатель под окном
Нос подпилком точит.

Далее следует сильно непечатная частушка даже в условиях тотальной гласности, хотя начало ее блестящее, на грани афоризма: «Целоваться — не работать: голова не заболит...», а вслед за ней Костя переходит на публицистику. Маханием рук он проделывает окошко в дыму, показывается в нём и сообщает:

— Гибель России началась с телевизора. Он ее загубил, и он ее мертвую показывает. А Русь, учти, была непобежденная никем: ни немцами, ни татарами, ни шведами, ни монголами, все нападали, была крещена огнем, крещена мечом, крещена крестом, но не крещена... плечом, надо было ее подпереть. Надо вырастить картошку и собрать урожай, тогда выживем... Россия ты, Россия, до чего ты докатилась: топтала Париж, парле франсе, топтала гутен морген фри, нос утри, топтала озеро Хасан... ти-хо, прибавь!

Я прибавляю звук в приемничке. Костя как ни возбужден топтанием разноязычных врагов, а расслышал любимые слова и звуки. Он даже забывает прибавлять дыму, слушает, качает головой, а на словах: «Стоит один, бедняжечка, как рекрут на часах», — взрыдывает. Косте так хорошо, что он ударяет кулаком по крепкой столешнице и кричит:

— Наше дело крайне правое, мы победим!

— Ты с кем это радовался жизни с утра? — спрашиваю я.

— Вот,— показывает Костя по-прежнему стиснутый кулак.

— За что?

— Это не угроза, — успокаивает Костя. — Это проверка. Пили немец и русский. Немец выставил перед собой палец и говорит: «Вот как будет вместо одного пальца два, тогда перестану». А русский показал ему кулак и говорит: «А я буду пить, пока кулак смогу разглядеть».

— То есть ты пока кулак видишь?

— И каждый мизинец, — отвечает Костя.

— Так пойдем, чего-нибудь поделаем.

— Нет. — Костя освежен звуками. Вновь следует беседа, в которой Костя перемежает воспоминания с любимыми песнями. Вспоминает фронтового писаря Абрама Затычкина, песню «Хуторок» с действительно незабываемой строкой «И как глазом моргнуть — растворилась изба», вспоминает помногу фронт. Как немцы взяли в плен одного среднеазиата, на каком бы языке его ни спрашивали, он отвечал одно: бельмес, бельмес. Тогда немцы отправили его обратно, приписав на листке, данном пленному в руки: «Забирай обратно и корми, Сталин. Нам не язык и тебе не боец». Я сомневаюсь в подлинности имени и фамилии Абрама Затычкина, но Костя клинически неспособен переиначивать факты жизни. Был такой писарь Абрам Затычкин. И он обещал Косте вписать Костю в наградной лист, как будет случай. Обещал тогда, когда их с Костей отправили на химсклад проверять противогазы.

— Майор был, звали Хим-дым. Приказал проверить. Натянули у склада палатку, напустили дыму. Надеваешь противогаз, входишь, дышишь. Если дышишь — годен, если задыхаешься — в сторону. Абрам мне противогазы подает, я нахлебался дыму, слезы текут, глаза режет, мать честная! Сели перекурить, думаем, а чего это к каждой сумке карман и в нем ампула с жидкостью? Это если попадет иприт, протирать. Нас учили: иприт обжигает, значит, это охлаждать. Думаем, что охлаждает? То, что испаряется. А что быстро испаряется? Конечно, спирт. Давай попробуем. Набрали этих ампул целую пилотку, набили, наколотили в кружку, развели водой. Немного потемнело. Я травы пощипал на закуску, посмотрел последний раз на деревья, на небо и хватанул. И все во рту у меня и в горле, и в желудке ста-

ло каменным, все сковало, я еле рот разодрал, аж хрустнуло, воздух хватаю, хватаю, он говорит: «Ну как?», я пальцем маячу, мол, подожди. Он глядит, а у меня язык белый, в инее, он глаза расщеперил, я понял по нему, что мое дело капут, но догадался воды залить, голову назад отодвинул и как в радиатор залил... Отошел. Тут и писарь раздухарился, правда, развел пожиже. Нас Хим-дым застал, хоть языки уже и не белые были, а все равно не шевелились. Так я и не попал в наградной лист. А противогаз я никогда не носил, как сумка болтался, сухарей наложу. О! — вдруг чего-то вспоминает Костя и идет на крыльцо.

Оказывается, готовя старую баню к сносу, он обнаружил на ее чердаке огромную картину — русалки на берегу озера, а по озеру плавают лебеди. Кругом деревья и цветы. Большая и красивая картина. Костя торжественно дарит мне ее, мы советуемся, где ее укрепить. Стен у меня мало, Костя предлагает сюрреалистическое решение — прибить к потолку на террасе. Находим маленькие гвозди, притаскиваем табуретку, я лезу на нее, Костя руководит снизу. Руководство ему не мешает рассказывать, что в Англии изобрели искусственную корову, а про корову он вспомнил, заметив, какая на картине зеленая трава, и вот бы на нее выпустить погулять коровку. И вот, англичане изобрели корову, аппарат такой, в него загрузили весь коровий корм, и пошло молоко. Только пить нельзя, а так совсем как настоящее.

Картина прибита, и на нее нами снизу, так сказать, посредством задирания головы, полюбовано. Взгляды наши встречаются. Мы молчим. Но нам все ясно — такая картина так просто не увисит, ее надо закрепить еще кое-чем помимо гвоздей.

— Вот было три друга... — начинает Костя.

— Буран, метель и вьюга? — продолжаю я, и в моем продолжении понятно, что я понимаю Костю.

Но он не хочет упрощать некоторые моменты жизни.

— Было три друга, и они договорились, что об этом самом... понимаешь?

— Ну?

— Чтоб ни слова. А охота. И вот, они сидят, один так в ладоши хлопнул, крякнул: «Эх!» Другой тут же подхватил: «Да, хорошо бы». А третий говорит: «А я бы сбегал».

— Ты хочешь, чтоб я был третьим?

— У меня есть, — отвечает Костя.

Но такое стоит солнце, такие весенние мартовские снега, так полощется, сверкая, оборванная прозрачная пленка теплицы, так вытаивает и вздымается дорога, так весело кувыркаются щенки на последних сугробах, так вдруг обозначается присутствие птиц, так вдруг возникает шуршащий звон съезжающего с крыши льда и снега, такая голубизна сквозь поднебесные ветви лип и тополей, что мне очень не хочется, чтобы Костя, да и я омрачили такой день пьянкой. Тем более обоим нельзя, тем более Костя дал очередной зарок не пить больше никогда, ни разу до скончания жизни, тем более все остальное, и так далее. Можно и чаю попить. Что мы и делаем. Единственное, что невольно вырывается у Кости, это то, что, вздымая чашку с чаем, он вначале порывисто подает ее вперед, ко мне, как бы навстречу чоканью.

— Ехали два кума. Оба жадные, — рассказывает Костя. — Вот заехали в столовую. Денег жалко. Взяли хлеба, чаю. Видят, стоит на столе горчица. Желтая. А не знают, что такое. Спрашивают: «Можно даром?» Им отвечают: «Можно». «А что это такое?» Над ними подшутили: «Мед». Ну, первый зацепил чайной ложкой, съел. Глаза на лоб, слезы текут. Еле ожил. Кум спрашивает: «Ты чего?» Тот отвечает: «Я меду попробовал и бабушку вспомнил, так жалко, так жалко, такая хорошая была». Ну, другой кум полез столовой ложкой, за-

черпнул с горкой, хватанул, тут уж вообще чуть не подох. Слезы ручьем. Первый спрашивает: «А ты-то чего, кум, плачешь?» — «Да я, — говорит, — тоже твою бабушку вспомнил. Тоже так жалко, лучше б она жила, а ты бы помер».

И вместе с тем есть какая-то неотвратимость, какое-то проклятие в том, что чем сильнее мы решаем не пить, тем все ближе грех выпивки.

Костя пьет чай с отвращением, бормочет частушки. Например: «Все работаю, работаю, таскаю кирпичи, от аванса до получки не хватает на харчи», или: «Как у тятьки моего во дворе овечушка, девки звали на полати делать человечушка», или же опять вспоминает картошку: «Не зажгете сине море, сине море не горит, не у каждого колхозника с картошки...», и так далее. Потом изрекает, вспоминая изменившую ему с богатым бывшим уголовником проводницу: «Хрен без глаз, но он все видит».

— Чего ты все к хрену да к картошке привязался, — говорю я, — нам уже туда, вниз, пора, а ты духаришься. Я сегодня в сберкассе за дом платил, заполняю квитанцию, пишу адрес и адрес забыл. Какой тут хрен?

— Русский язык без мата, что справка без печати, — изрекает Костя, — а памяти у тебя не стало — давно подшипники не смазывал, уж позеленели.

Я пытаюсь притвориться дурачком непонимающим, но бес под руку толкает, я разбиваю чашку. Естественно, Костя говорит, что это к счастью и предлагает перебить вообще всю посуду в доме и утром проснуться на черепках, зато счастливыми. И снова я сижу Ваня Ваней, изображая вековечную трезвость, но Костя успешно ведет среди меня разрушительную пропаганду.

— Америка во всем виновата, а еще до Америки виновата Испания. Она открыла Америку, но она же ее и закроет. Нет, Россия закроет, она породила, она и будет, как Тарас Бульба — породил и убью.

— Россия-то убьет?

— Надо бы, — заявляет Костя. — Сколько можно терпеть? Россия — терпичная страна...

— Терпеливая?

— Сверх нужного! Зашли мы в Польшу. «Пан, где туалет?» — «Нема, нема». — «Как нема? Без туалета живете?» — «Герман, все герман забрал». — «И туалет герман забрал?» Тьфу! — плюет Костя. — А пришли в Прибалтику, на нас старухи показывают пальцем: курат, курат, то есть черт, черт. Тьфу! А брали Прагу, чехи явились к Коневу: не бомбите, не обстреливайте, жалко архитектуру. И брали только пехотой, и сотни тысяч положили. Пусть десятки. Теперь объявляют: русские ни при чем. Могилы загадили, с-с...

— Не матерись!

— Вынуждают.

— Кто?

— Все. И правительство, и соседи! Эх, перестройка — мать родная, Горбачев — отец родной. На хрен мне родня такая, лучше буду сиротой. Вот ты мне ответь на вопрос: когда мужик строит новую избу, он где живет? На улице? Нет, он живет в старой избе и не рушит ее до основанья, а рушит, когда входит в новый дом. Или вот баня, будем с тобой строить. Мы же не будем жить грязными, мы будем мыться в старой. А посмотри вокруг и вообще представь, — Костя разводит руками, включая в разговор всю окружающую действительность, — все переломали, все бани переломали, мыться негде, народ грязнущий, правители из грязи не вылезают и кричат: идем правильным курсом, а глаза промыть негде, чтобы на дорогу посмотреть.

— Но надо же уважать правительство.

— Надо. Только то, которое не врет. Царь не врал. Убили царя, и погибла Россия.

— Всем русский Иван поперек глотки, а почему? Сами дураки. Жили бы себе, жили, нет, давай в колхоз!

Но и о колхозах я слышал десятки раз, и сам могу кой-чего о них рассказать, да и что толку с наших разговоров. Я машу рукою, что означает: плюнь, сосед, не расстраивайся.

— Повестка мне пришла, — начинает Костя, я перебиваю вопросом:

— Мамаша в обморок упала с печки на пол, сестра сметану пролила, так? — это я вспомнил песню о повестке в армию.

— Повестка на вставную бесплатную челюсть как ветерану. Я не пойду.

— Почему?

— Скоро на тот свет, кого мне там кусать?

— А ты не помирай, живи в деда, ты ж говорил: дед сто четыре года жил.

— Так что он ел, что пил? Сейчас земля на три метра ядом пропитана, — до мертвых добрались. Зубы! Жена зубы вставила, так и похоронили с чужим железом. Мне остатки зубов рвали без заморозки. Выдрали, в рот ваты натолкали: иди. Я пошел и слова не сказал. Зубы! Чего кусать? Скоро траву будем жрать, а сухари можно размочить. Не пойду! Включи телевизор.

Я включаю, но очень неудачно: по всем программам идет «экономическая» трепотня, даже иностранный язык преподается на фоне прилавков и графиков.

— Валюта! — говорит Костя и плюется, — рубль в конверте (он имеет в виду бесконечно склоняемый конвертируемый рубль), тьфу! Долбаки плешивые. Отец говорил: дают зарплату, мужики золотыми монетами не брали, говорили, мол, скользкие, прыгают, как блохи, дай бумажками. Дожили! Синтетику носят, лен Америке отдают, этим кофейникам, шоколадникам, дохнут от синтетики, пусть бы те дохли, кто изобрел, а Россия лен бы свой носила и не износила бы. Лен растет, утром раскроется, поглощает солнечные лучи, дождик идет, дышать легко — вот золото! А конопля в садах — ни тли, ни плодожорки, яблоки все целые. Мак расцветет — у-у! — и никакой наркомании. — Костя разошелся, круг его критики расширяется: — Пивные закрыли, стали одеколон пить, аптеку жрут, людей сейчас больше мрет, чем в войну. Сталина ругают, а Сталин трудягам давал жить, цены каждый год снижались. Молодец был, много не болтал, не то, что эти пустомолоты. Довели народ — призывников в армии служить арканом ловят, какой из него вояка? Партий развелось — все пишут друг на друга, бумаги нет, жалуются. Не печатайте свою трепотню, вот и бумага. А эти, — Костя доходит до особенно ненавистных ему спортсменов, — хоккеисты! Штанги поднимают, гири — ты иди стога метать. Ты иди с утра полгектара травы махани — будешь с сеном, будешь с молоком, будешь с маслом. А сейчас уже и из нефти масла не остается. Я ж тебе говорил, у нас два сорта масла, или не говорил?

— Какие?

— Бакинский и тюменский. Если мажется на хлеб, значит, из Баку, если крошится, значит, из Тюмени, замерзло. Надо утюгом намазывать. Сейчас в Баку нам кукиш показали, а в Тюмени работать некому. Мне вот охота с Распутиным поговорить, он все понимает. Я бы ему рассказал, как Ангару раз с самолетов бомбили, он ведь с Ангары. Пошла шуга, потом мороз, Ангаруásперло, бомбили. Тогда мороз был, о! Аж сейчас передернуло. Все ларьки на станциях перемерзли, я выскочил в Иркутске в одной рубахе, схватил в киоске бутылку, она, как кусок льда, весь околел, в вагоне бутылку трясу, водка замерзла, лед кристалликами в ней, как колокольчики, динькает.

Я вытряс в теплый стакан, стакан весь инеем покрылся, взялся за него — отпечатки пальцев остались. Выпил, холод в животе, во все стороны иголками колет. Потом, как печка внутри.

Рассказывает Костя так живописно, что вопрос о выпивке становится делом естественным. Вскоре сидим, погибаем, Костя учит меня брать руками соленую капусту, учит не теоретически, а собственным примером, запивает из ковша, и снова мы говорим и говорим, а разговоры наши все о том же, все о России, как же так получилось, что она дошла до такого позора, что спички по талонам дают? Дошла или довели?

— И так, и так, — отвечает Костя. — Ты в историях по колено ходишь, а я в них по горло сижу. Тебе за три года не переслушать, что я пережил. Есть дураки в мере, а есть дураки безмерные, это алкоголики. Пьяный прямо свечку не поставит, пьяному одно хорошо — в крапиве спать, пьяных бойся хуже собак, пьяный любое может сотворить... — после такого обличения пьянства Костя оправдывает выпивку: — А почему пьем? Потому что все отравлено, и надо дезинфицировать. Глотаем из воздуха грязь, копоть, газы, жизнь такая напряженная, везде Америка с жуком колорадским, везде химия, все в реку течет, там не только рыбы, там и змеи подохнут, вот попробуй тут не выпей. А я Россию подымал, строил жизнь, пилил тёс продольной пилой, сама не пойдет, ее тянуть надо — с пупка сдернешь, я трудяга был, я верил, что все трудяги, но оказалось, что все в начальстве и все сидят на загривке. Теперь у всех глаза полопались, в телевизор уперлись, а пойти кроликов накормить — это им в тягость. А была жизнь, была! Костры горели, по реке венки плыли, сердце билось. Была Русь святая, стала проклятая. Где слеза милосердия, кругом анархия бюрократов, умерла Россия, и мы умрем, как мухи, без солнца. Нет хозяев у России, царство им небесное, а нас враги окружают без баррикад. Кто нас защитит? Я семь классов кончил, но у меня мозги светлее профессоров. Иди, землю вспаши, удобри, сделай ей благо, она откликнется. Была жизнь, липа цвела, пчелы летали, медом пахло. Надо воздать честь и совесть труду, а не ходить с тарелкой.

Это Костя начинает одну из тем, он не любит церковь. Он осуждает попов. Я защищаю. У Кости три условия к церкви. Вот если она их выполнит, он тогда в церковь пойдет. Первое: батюшка должен приезжать в церковь не на машине, а на лошади. Второе: церковь должна отапливаться дровами, и третье: в ней не должно быть электричества, а только тот свет, что от свечей. Сколько поставят, столько и свету. Попутное, но уже невыполнимое условие — это то, чтобы свечи были из чистого пчелиного воска, а не из парафина, не из стеарина, то есть не из нефти. Также он говорит, что есть три тунеядца: рыбак, охотник и поп. Рыбак ничего не утопил, а в воду смотрит, охотник ничего не потерял в лесу, а ищет, поп не заблудился, а орет. Я защищаю, но безуспешно. Уж лучше нам не разговаривать на эту тему. Есть же и другие. Есть.

— Бог дал три ума: собаке, лошади и человеку. Остальным дал только понятие. Согласен?

— Согласен.

— Жизнь наша прошла в тумане. Туман рассеялся — шестьдесят два года трудового стажа, и жить неохота. Да! На этом свете будем пить, на том опохмеляться.

Какое-то время Костя интересный собеседник. Но, может, так можно и обо мне сказать. Когда через час мы расстаемся, запоздало понимающие, что вышли из строя жизни дня на два, на три, то я печалюсь, а Костя поет: «В союз нерушимых, голодных и вшивых загнали навеки великую Русь». Это, наверное, не очень красиво со стороны — два старика, явно поддавшие, идут по тающей дороге.

Я возвращаюсь в дом, распахиваю дверь, выветриваю табачный

костин дым. В голове крутятся обрывки разговоров, крики Кости о том, что он был террористом, что был во Франции, Америке и Финляндии, что занесли его туда судьба и волнения. «Я во Франции погиб геройски, мое звание было капитан, меня сбил финский самолет, он потом при мне упал в море», — так кричал Костя. Еще вспоминается, как мы спорили, почему не завелись танки Гудериана под Москвой. Я вижу в этом вмешательство сил небесных — ударил мороз, а Костя говорил, что у немцев бензин на воде, его возили как гуталин в банках, разводили в воде, вода замерзла. А потом шла вечная тема деревенского детства; Костя всегда вспоминает жеребца Карого, которого загубили в колхозе. Когда Костя переливает, а сегодня это случилось, он ржет, как когда-то Карый. Ржет и плачет. «Проснусь и плачу. Крикну, бывало: «Карый! — он летит стрелою!» Потом опять его заносило в бардаки Парижа, где он чуть не женился, ну и так далее.

ПОП ВЗЯЛ В ЖЕНЫ КОМСОМОЛКУ, НИ ХРЕНА НЕ БУДЕТ ТОЛКУ.

Просыпаюсь от песни, которой никогда не услышать по радио, хотя теперь по радио и не то услышишь:

— Деньги есть — и девки любят,
Рядом спать с собой кладут.
Денег нету — хрен отрубят
И собакам отдадут.

Конечно, это друг дорогой, Константин. Издалека слышно. Вот он на веранде: «Прихожу я на вечерку, девки семя шелушат. Попросился на колени — посадили на ушат».

— В коммунизме живешь, — говорит Костя, садясь на мои худые ноги и этого не замечая. — Двери нараспашку, заходи, гуляй.

Да-а, хорош я был, упал, как спиленное дерево, и ни калитки, ни дверей в дом не закрыл. Костя меж тем, таинственно помахав пальцем, закуривает.

— Я два раза был на том свете. Один раз в аду, один в раю. Рассказывал?

— Нет. Пересядь на стул.

— Значит, пока не в гробу, чувствуешь, — Костя пересаживается. — Вот. Жизнь мелькнула в тумане, не заметил даже и зореньки на небе, стучала меня жизнь обухом по голове, выбивала мозги. Да! Жизнь — это соломотряска, все вытрясет, оставит солому. У нас солому в могилу бросали, подстилали, а у вас? Эх, вятский ты осинник, а я смоленский дубинник. Умный ты человек, хороший ты человек...

— ... а дать мне нечего?

— Как это? — Костя снова делает магический знак скорого исцеления: — Жил не житель и умер не родитель. Но только не жгите меня в крематории. Ум мой этого не вытерпит. И бочка обручи терпит до поры, до времени. Если обручи через силу набивать, то они лопнут или бочка не вытерпит... Сейчас по радио слушал: растают все айсберги, растает Гренландия, и нас затопит. Но затопит нас не океан, а затопит нас горе народное. Да! Где в Москве самый высокий дом? Не знаешь? Самый высокий дом в Москве — на Лубянке, оттуда Колыму видно. Эх, русская мова — молчи, ни слова!

— Слушай, — я хоть и с трудом, но вспоминаю его обещание рассказать, как он был в раю и в аду. — Как это?

— Было! Пошел в баню, взял банку денатурата, засадил, а дальше не помню. Просыпаюсь, свет горит, лежу голый, потолок черный,

ну, точно — в аду. Еле встал, сообразил, плеснул на каменку, чуть подшипело. Оделся — домой. Всего трясет. А другой раз был в раю. Зять работал на заводе «Спирто-лаки», ну, он понимал, что пить. Пошли с ним, он говорит: давай пойдем к другу в теплицы, совхоз «Первое мая». Пошли. Луку нащипали, укропу, петрушки. Рванули по стакану, зять говорит: куда ты пойдешь, отдохни тут. Больше ничего не помню. Просыпаюсь — свет горит, я лежу в кудрявой зелени, ну в раю и в раю. Да-а, думаю: прощай, родина, завел новую. А оказывается, ночь прошла. Зять домой ночевать ездил, но утром как штык, явился с опохмелкой.

— А ты уж не с ней ли сейчас? Я-то проснулся ни в аду, ни в раю — а в России.

— С опохмелкой, — Костя кряхтит, жалуется на ноги. — Эх, дурень я старый. Пью два дня, потом три дня не ем, на еде экономлю. У меня жена, покойница, была партийная, ругала меня за пьянку. А я ее за взносы. Говорю: отдала ты взносы — и с концом, а я выпью, у меня хоть башка поболит.

По радио передают уроки классики. Но какие-то странные уроки: передают не совсем классику, а что-то винегретно-салатное, какую-то окрошку из знакомых звуков, разбавленных чем-то. Потом выясняется, что это были не просто Бизе, Малер, Шуберт и Чайковский, а еще и обработавшие их Шнитке, Щедрин, Денисов и Стравинский. То есть: с клена падают листья ясеня — ни хрена себе. Это можно дописать за Толстого и будет Иванов-Толстой, «Хаджи-Мурат-сюита»? Такие соображения я излагаю Косте.

— Сюита! — говорит Костя, — я видел сюиты! Я видел таких скорпионов, что посадишь их в круг, по кругу нальешь бензина и подожжешь. Скорпион побегает-побегает, поймет, что выхода нет и себя жалит, себя убивает. Да! Жизнь моя — похождения ветерана войны и мира. Дурак был всю жизнь, дураком живу. Да! С вином мы родились, с вином мы умрем, с вином похоронят и с пьяным попом. Все — всему миру будет крах. Крах! За то, что живем ахом, махом пойдет все прахом. Ду-ра-ки! А дураков бьют и в бане, и в церкви, Россия ты, Россия! Пропала ты, Россия! Сухарь стал дороже золота.

— Это-то очень хорошо, — говорю я. — Будет хлеб — будет жизнь, а будет золото — будет смерть. Где деньги — там кровь. — Костя выучил и меня говорить афоризмами.

— Да, — отвечает Костя, — пока не возьмемся за ручки плуга, нам всем будет очень туго. Надо посылать всех с митинга на картошку. Да!

Костя отлично знает, где у меня что стоит и лежит. Гремит посудой, высказывает желание подать опохмелку в постель. «Костя, это разврат», — говорю я и прибредаю сам. Сидим. Костя косеет на глазах. Может, так и ему кажется про меня.

— Да! Когда народ слезами оплачет кровь, когда народ поймет жизнь смысла...

Приходит зять Сашка, выпивает с нами, начинает кричать на Костю.

— Сталин экономику за счет зэков поднял! Мы прав своих не знаем! Реформа денег проведена неправильно! Ваше поколение юридически безграмотно! В Италии вон из комиссара дуршлаг сделали, а почему? У них мафия везде, они так и говорят! А у нас мафия еще более везде, а нам показывают мафию в Италии...

Я боюсь, что они расцапаются, как уже бывало, и выманиваю Костю на улицу. Выманить легко: у нас все кончилось, надо искать. Выбредаем на вытаявший асфальт. Церковь отдаляется от нас, на нее стыдно поднимать пьяные глаза — до того она хороша, золотые купола вплавляются в небо, вся она как расписной корабль с парусом колокольни стремится к востоку. А нас с собой не берет. Так нам и надо, пьяным рожам. Стоим, качаемся, как тонкие рябины.

К какому нам дубу перебраться? Потом ноги приносят нас к... Чернышевскому. Так мы зовем еще одного пенсионера, Николая Гавриловича. Он знаменит тем, что был великим мастером, делал металлические рубли, делал так искусно, что не знал проблем с выпивкой; да и много ли стоила тогда выпивка, это сейчас с рублями пропадешь. Попался Чернышевский и загремел на три года. Он любит рассказывать про эти года. Мы застаем его в тяжком раздумье о жизни, сидящим на крыльце рядом со старой-престарой рыжей собакой. Нас, она, естественно, знает, нам даже и хвостом не надо махать. Коля все понимает, принимает от нас законные пенсионерские бумажные деньги, в пять минут с их помощью приватизирует натуральный продукт, фабрика рядом, у соседки. И вот мы сидим на теплой террасе. Теплой ее сделало все то же мастерство Коли, он ее утеплил, вывел один из радиаторов отопления наружу. На столе книга «Абай». Костя, никогда не читающий, хочет немедленно ее прочитать, Коля не дает.

— Потеряешь.

— Я? Я совесть еще не потерял, чтоб книги терять. А ты знаешь, кто «Даурию» написал?

— Знаю.

— Кто?

— На что спорим?

— Не знаешь.

— Константин Седых, ядрена мать-конташка, вот кто! Да я три года к библиотекарше ходил и чтоб я не знал. Я Золя и Стендаля знаю; она женщина культурная, ей надо было начитанного, я и начитался.

Костя посрамленно поникает. Коля принимается за любимые тюремные воспоминания.

— На сортировке сидел, приезжают из лагерей, в нас роются, всем же специалисты нужны. Плотники, слесаря, да чтоб шестого разряда, да чтоб срок средний. Вишь, если срок большой, плохо зэки работают. А если маленький, тоже плохо: только втянется — отпускать. А у меня же золотые руки, меня чуть не разорвали. Привезли в Мелекес, но это я не знаю, царское или советское название, я не знаю как сейчас, тогда был Мелекес и шесть атомных реакторов. Там материалы не мерили, не вешали, не считали, не учитывали. Я там столько пропил и продал, что меня можно было еще на пятнадцать лет сажать. Там пожары каждый день, там сварка аргоном, газовая сварка, автогеном, там этажей десять, строили леса полгода — в ночь спалили. Там, о! Там жили правильно. Заказывали с шофером ящик водки, ящик коньяку. Да еще кто и ломается: у меня с коньяку изжога, привези портвейнчику. «А какой колбасы?» — «Да надоела сырокопченая, вези диетической». Вот как жили. В столовую я не ходил, вернулся из заключения, харя — во, как с курорта. Там мастера были, мне еще до них колупаться и колупаться, из подшипника бритву делали, без мыла брились. Такая безопаска, не надо затачивать. Кольцо от подшипника разогреют, разогнут, расплющат, заточат, что ты!

— Немцев люблю и уважаю, — это Костя поднимает голову. — Экономная нация. Гитлер ручку медную со своего кабинета лично отвинтил и сдал в фонд обороны, открывал кабинет без ручки. У них все отходы отдельно: кости отдельно, железо отдельно, тряпки отдельно и все остальное. Побрился — лезвие сдай, получишь новое. А у нас шестая часть суши и порядка нет. Подымайсь, батька Сталин! Мы родились, чтоб сказку сделать былью, чтоб задавить змею! Змея жалит — жало не чувствуешь, но потом опомнишься. Бьют нас исподтишка и называют это перестройкой.

Мы долго прощаемся с Колей. Костя поет: «На прощанье шаль с каймою ты на мне уздой свяжи», потом они перебирают окрестную родню и решают, что они тоже родня, ибо «когда ваш плетень горел, мой тятька руки грел», потом следуют костины изречения: «Жизнь

это борьба, а борьба это жизнь», или снова: «Жили деды, не знали беды, вы поживете, внуки, хватите горя и муки», потом рассказывает про Марсель и Париж. Я скоро поверю, что он там был.

Расстаемся.

Через полчаса Костя приходит и просится на ночлег — разодрался с дочерью. Он валит на нее, но я знаю, что он и сам здоров приставать по пьянке. Костя показывает синяк на руке — дочь ударила костылем, — требует вызвать милицию. У него там есть знакомый милиционер. Я еле его укладываю. Как только уложу — требует вести домой. Поведу — боится: убьют. Укладываю, рвется вставать. Веселенькая ночь. Но, может быть, из-за постоянного напряжения и хлопот я к утру трезвею. Выхаживаю и Костю. Он не отпускает ни на шаг и заставляет меня насильно слушать

ИСТОРИЮ О ТОМ, КАК ПОЛКОВНИК ЖЕНИЛСЯ ВТОРОЙ РАЗ

История эта так прочно застряла в костиной голове, что даже многократно рассказанная, не хочет покидать уютное жилище, но высовывается всякий раз при разговоре о женской породе. Но так как о женщинах Костя говорит однопланово, как Даниил Заточник, то есть отрицательно, то история еще интересна и тем, что в ней появляется положительный образ советской женщины.

Итак.

— Один полковник, — начинает Костя. — Сядь, это надо знать, один полковник был в ОБХСС, или еще где, у него была «Победа», а может, уже «Волга», он был женат. У него была жена Дусенька и отдельная квартира. Дусенька была его жена. Вот он едет в командировку и возвращается. Ему соседи говорят: в вашей квартире горел свет. Он едет в другую командировку, возвращается, ему докладывают: у вас свет горел всю ночь. Вот он сообщает: «Дусенька, я еду проверять работу в другую республику на две недели». И как бы уехал. Вернулся — свет. Звонит — не открывают. Стучит, подает голос, она кричит: «Сейчас, Коленька, сейчас!» Он врывается, вооруженный наганом, шутишь, что ли, — полковник. Но никого нет. Но на столе не убрано. «Коленька, Коленька, были подружки, Марусенька, Ниночка». Он ищет, он же чувствует. Находит. Стоит в шкафу голый. «Кто такой?» — «Слесарь-водопроводчик». — «Становись к стенке, — подумал-раздумал: — Одевайся. Где живешь?» — «Там-то». — «Поехали». Жене говорит: «И ты одевайся во что хочешь». Она вышла в цигеечке, в туфельках. Машина у подъезда, полковник садится за руль, наган в руках. Того, слесаря, посадил рядом, жена сзади. «Показывай дорогу». Приехали. Заходят. Квартира полуподвальная. Жена молодая, но дворник. Еще дочь — девочка. Полковник спрашивает: «Это ваш муж? — «Мой. Бродяга, кобель проклятый, кот!» — «Одевайся, одевай дочь, поедете со мной, ты будешь моя жена». А своей Марусеньке: «А вы, женщина, остаетесь здесь, с утра берете в руки метлу». Девочке семь лет. Так и увез. Привез, распахнул гардероб: все твое, предлагаю стать женой, дочь удочерю. А Марусенька с утра к адвокату. Тот в суд советует. Я на суде был и были полчища народу. Суд постановил: развести и оформить законом республики новый брак полковника. Все хлопали.

Честно выслушав и заверив Костю, что все запомнил, я засыпаю.

КОСТЯ, ПОМИРИВШИСЬ С ЗЯТЕМ И ДОЧЕРЬЮ, ПОЕТ ПЕСНЮ ПРО МАТРОСЕНКА

И поет он ее лет шестьдесят. Давайте примерно подсчитаем, сколько раз он ее исполнил, если он поет ее каждый раз, когда выпьет. А выпивает он непредсказуемо и часто, тут этому делу и повыше-

ние цен, и талонная система бессильны сопротивляться. Ханжа скажет: а почему бы вашему Косте не петь на трезвую голову? Он и пел бы, отвечаем мы, но только он денег за пение не получает, вот и поет. Он чувствует, что надо петь, надо сохранять народную песню, это как обязанность. И какие только различные стены не оглашались пением Кости. С помощью Кости выстояла песня. Названия ее он не знает. Вообще, я когда-то где-то слышал ее и запомнил две строки, которые Костя поет по-своему. Я помню, что героиня песни «сына бросила в реку и сама упала», а Костя не соглашается: десять тысяч раз он пел, что «крепко сына обняла и в море утонула». Приходится согласиться, в конце концов не принципиально, соленая вода или пресная, все равно конец ужасен. Думаю, сотни людей выучили эту песню, слушая Костю. Выучила, например, и дочь Валя и зять. Начинает подпевать Вовка. Я хоть и не подпеваю, но слова запомнил.

Костя созревает для песни как для драки, его надо задорить. Да он и сам готов к этому, и ему важен любой повод, чтобы взвинтить себя, поднять к воспеванию, в общем-то, увы, частного житейского случая. Я прихожу, они сидят за столом, зовут, я сыт, сажусь в сторонке. Костя возбужден, но из своей нормы не вышел. Традиционно ругает порядки, партию и правительство, попов, молодежь, сельсовет и аэробику, соседей и американцев. Это так привычно от него слышать, что никто не возражает. Следует вопрос:

— Ты чего, не согласен? — это мне.

— Возмущаться бессмысленно, — отвечаю я, — много чести аэробике, чтоб на нее нервы тратить. Возьми да не смотри. Ты лучше спой про матросёнка-сына.

— Верно, дед. — Валя зовет отца дедом, — спой лучше. Запевай.

— Эх, взять бы дубину, — мечтает Костя, — да вспомнить бы Русь святую. Пропала Русь, в могилу пала! Россия во мгле и тумане!

— Дед! Хватит дурью маяться! Запевай!

— Выключи! — требует Костя от зятя. Требует ясно чего — выключить телевизор: высокое искусство не терпит оскорбления брехней политических комментаторов. Сашка ворчит и мычит, но не смеет ослушаться: не тестя, а жену. И комментатор на словах: «Япония поставлена перед альтернативой» — навсегда проваливается в бездну мрака сереющего экрана.

Костя серьезнеет, преображается, устремляет глаза в одному ему видимое пространство. Знакомые образы открываются и оживают перед ним:

Плывет морячок по реке, аленькие губки.
— Возьми меня, моряк, с собой, еду в одной юбке.

Припев обязательно повторяется. За этим Костя следит с зоркостью сталинского сокола. История развивается:

—Если хочешь, садись, поедем со мною,
Я на юбку тебе дам, будь моей женою.

— Пойду к матери родной, попрошу совета:
Уезжаю с моряком на край белого света.
Мать совета не дает: «Брось любить матроса,
Матрос замуж не возьмет, только надсмеется».

Но, увы, горе, горе всем девицам, не слушающим матерей:

Не послушала она матери совета,
Уехала с моряком в край белого света.
Живет год, живет другой, тело все приныло.
На руках она несет матросёнка-сына.
— Прими, мать, прими к себе, семья небольшая,

Матросёнок будет звать: бабушка родная.
—Иди, дочь, иди туда, чей совет имела,
Ты совета моего слушать не хотела.

В этом месте Валя хлюпает носом, Сашка отворачивается, Костя клонит голову, мнет сигарету.

— Пойдем, сын, пойдем родной, здесь нас не примают,
Сине море глубоко, там нас ожидают.
К синю морю подошла, глубоко вздохнула,
Крепко сына обняла, в море утонула.

Каждый раз меня ошарашивает неожиданность финала, воспоминание в нем Кавказа и нерусских цветов:

На Кавказе есть гора, там растут тюльпаны,
Не любите моряков: они хулиганы.

Сашку так разбирает песня, что он достает припрятанную даже от жены посудину, опасно гремит ею о поверхность заставленного стола и объявляет:

— Убийство лысого в утробе — и кое-чего добавляет.

— Саш! — кричит Валя. Она немного стесняется меня.

— Без этого, как справка без печати.

— Без чего?

— Без мата, — объясняет Костя. Лицо его заплакано, он очень жалеет, что песня быстро закончилась, что надо снова пить. — И как справка без печати, и как шлея без хомута. А для чего шлея?

—Ну уж я-то знаю. Она не для красоты, а для того вот, когда телега под гору пойдет, так чтоб на лошадь не наехала, чтоб хомут на уши не полез, с лошади не снялся.

Гаснет свет, но у нас, у всех жителей Никольского, свечи всегда наготове, нас не испугаешь, сидим при свечах. Валя звонит на подстанцию, Сашка расплескивает. И какое же это проклятие лить в себя эту табуретовку, этот горлодер проклятый, кто заставляет? Костя ладно, он человек неверующий, но я-то знаю, что это грех, знаю. Но вот ведь что — есть же что-то в этой добровольной гибели, ну не бесы же подвигают к хорошим песням, душевному разговору. Да, до поры. А уж за краем, там — они. Они.

Костя впускает в избу собак. Вся банда четырех, как он ее называет, тут. Кто громко грызет кость, кто чавкает, доедая за кошками.

— Выпей, Шарик, за меня, — просит Костя и начинает чихать. — Все грехи прочихаем и спать поляжем. Чхи! Держут нас в хвост и в гриву, и некому сказать — чхи! — что это несправедливо.

Оказывается, выходят стихи. Пахнет горелой тряпкой. Обнаруживаем, что это у Кости горит рукав рубахи. Он хладнокровно в этом убеждается и говорит, что надо пожарников вызвать. Плюет на горелое место и сообщает, что пожарники приехали быстро.

— Сирота я, сирота, без отца, без матери, нету, нету к сироте ни от кого симпатии. Ешь капусту, — говорит он мне. — Эх, капуста моя, рассадушка! Да! В конце двадцатого века сидим при свечах. А скоро будем при лучине. Догорела лучина, догорела и Россия. Когда, — он ударяет по колену кулаком, кошки и собаки сыплются в разные стороны: — когда проснется честь и совесть без взяток и придаток, когда? Покупаешь из дерьма дерьмо и еще отдай пять процентов, дожили! Нельзя кошку баловать мышкой, пусть ловит сама, пусть...

— Дед, иди спать, — советует Валя.

— Пойду, — внезапно смиренно соглашается Костя, встает, утверждается на ногах и произносит: — А за эти за тяжкие муки в лазарет меня отнесут.

Стоит луна над Никольским. Звезды сыплются на запрокинутое лицо. Как и не было жизни, все так же было вечность назад: снег и звезды, только я был молод, кутал ее в отцовское пальто, милую мою. Она была сиротой, приехала к нам в село. О, те ночи, разве будут они у нынешней похабной молодежи, какая чистота, какой полет времени и вечности над нашими головами, какие губы целовали меня, мне ли страшно умирать. Господи, прости душу мою грешную, прости жизнь мою неразумную, прости слепоту мою нечаянную, спасибо Тебе за все: видел я и горькое, и соленое, видел страшное и грозное, видел гробы разверстые и кресты поваленные, видел измены и подлости, ругань и мерзости, видел церкви оскверненные, дома порушенные, пожары лютые, земли пустые, видел все. Все ли, Господи? Все пройду Тобою приказанное, все, дай только сил смотреть на гибель России, спаси ее, разве зря она столько выстрадала? А не спасешь, Господи, значит, так нам и надо. И некому больше спасти Россию, кроме тебя, Господи!

И хожу, и хожу из угла в угол. Наконец, начинаю читать вечерние молитвы. Заканчиваю, гашу верхний свет, горит свечка. Но не может же быть, чтобы от нее было так светло. Оказывается, стоит над селом полная луна. Подхожу к окну, поднимаю занавеску.

О зимний сад при луне, о!
И больше — ни слова!

МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ ПРОСТО ТАК

То Костя ко мне, то я к нему, так и ходим. Косте, как фронтовику, поставили телефон, он зовет, чтоб я приходил звонить. Но звонить мне почти некому. Прихожу без причины. Тянет. С кем же еще, как не с Костей, обсуждать прожитую жизнь. Куда она ушла, ясно, — в тар-тарары, но зачем жили — непонятно. Непонятно также, почему все стало хуже. Именно всё. За что ни взять: хоть за людей, хоть за животных, хоть за лес, хоть за поле. Воздух и тот стал другим.

— Выходили, за три километра кричали: «Ива-ан!» — «Чего, Кузьма?» — «Дождь будет, надо скорей сено грести». Вот воздух был — прозрачный. А сейчас тяжелый, кричи не кричи — не слышно.

— Да, — поддерживаю Костю, — я ночью в мороз шел по Никольскому, как будто под пленкой шел, дышать тяжело, газовые колонки шуруют, котельные.

— Раньше, эх, раньше! — мечтательно произносит Костя. — Сильные были люди, палицами в сорок пудов бились.

— Да ну!

— Вот и да ну. Один у нас застрял на телеге в овраге, ударил лошадь — не тянет, тогда выпряг, телегу выволок сам, говорит лошади: «Извини, не сердись: сам еле выволок».

Ранняя весна. Пускаю ручейки. Приходит Костя, меланхолически смотрит на мое занятие, вспоминает пословицу про кота, которому нечего делать. А пословица, по его словам, не дуга, не согнешь.

— У тебя смотри, чтоб крыша не протекла, а тут вода русло найдет. А и крыша потечет, ничего, — тут же говорит он, — ложись в корыто, волной укачает. — Тут же он выдумывает: — У нас дед внука на печи держал, крыша худая, ливни хлещут, он в корыте, внучонка в таз, баюкать не надо, плавают.

— Ты чего-то веселый сегодня.

— Анекдот Сашка рассказал. Едет президент, навстречу пожарная машина, столкнулись. Президент выскочил, кричит пожарнику: «Пропусти меня: у тебя в одном месте горит, у меня везде». Я что, у нас были такие говорки, соврут, не заметишь, в каком месте соврут. Евдокимыч был, приходит из лесу, говорит: «Лису видел, хвост три

метра». — «Врешь». — «Ну два». — Все равно врешь». — «А ты что хочешь, чтоб лиса была совсем без хвоста?»

Костя настроен весело. Он сегодня делал смотр строительным материалам, впечатление от смотра хорошее. Немножко надо кой-чего подтаскать откуда-нибудь, а так на баню набирается.

— Вот захотел старик с молодой на старости лет согрешить, уговаривает. А та к его бабке. Бабка: «Ох он, старый хрен. Ну ладно, ты с него возьми подарочек — зеркальце, и зови к ночи на погребню». Вот бабка нарядилась в ее платье, старик в темноте ее не узнал, говорит: «Эх, то ли дело — молодое тело». Домой вернулся, бабка к себе на полати требует. Хошь не хошь, выполняй обязанности. Бабка ему и говорит: «То ли дело — молодое тело», — и зеркальце дарит. Бабы, бабы! — восклицает Костя. Во всех грехах он винит в основном женский пол. — Шли бабы по лесу, нашли хрен три фунта весу. В карман положить...

— Не греши, Костя.

— Бабы любого ранга есть бабы, только одна, я тебе рассказывал, была дворником, стала женой полковника, остальные — яд, отрава, погибель и смерть.

— Для нас с тобой все в прошлом.

— На это и надеюсь. Бабы, да еще тещи — это конец света. Жена — это атомная бомба, дети — короеды, теща — поджигатель войны, а муж — это голубь мира. Вот сделали солдату в госпитале переливание крови. Он был тихоня тихоней, а после госпиталя стал зверь зверем и на своих и на немцев кидается. Стали выяснять, откуда привезли кровь. Такая-то область, район, сельсовет, деревня. «А из какого дома конкретно?» — солдат спрашивает. — «Третий с краю». — «О, это моя теща, она страшней тигра».

Переходим в дом. Трезвый и при иконах Костя не называет некоторые вещи и явления своими именами.

— Солдаты погибли в бою, герои. Их всех в рай. А с ними рвется женщина. Привратники спрашивают: «А эта куда?» — Командир отвечает: «Это наша полковая..., она с нами».

— Пропустили?

— Не знаю, — честно говорит Костя.

Мы начинаем исследовать этот случай. Если она погибла в бою вместе с солдатами, то надо пропустить. Если же живая, то как она рвется в рай? Решаем, что она в бою не была, но умерла с горя.

— Старый — это еще не гарантия от баб. Они любых подберут, то есть лучше сказать, приберут к рукам. Да и мужики хороши — в бороду сивота́, в мужика дурота́. Но всегда все же, — тут Костя переходит на повышенный тон, — всегда все же, я это слышал из их первых уст, они сами...

— Бабы?

— Именно! Они сами сознаются: мы смерть и отрава, залюбим и высушим, разорим и в тюрьму посадим, по миру пустим и споим, от колхоза и от завода отобьем, ты что! Это ж ба-бы! А их Бог наказал.

— Как? — действительно интересно, при Костином безбожии услыхать божественное.

— Бог, он шел как старичок, специально так сделал, пошел людей проверить, шел, спросил бабу показать дорогу, та ответила грубо: «Некогда мне!» Он дальше пошел, мужика спрашивает. Тот: «Сядь старичок, отдохни», — так с ним вежливо. И вот поэтому с тех пор бабам всегда некогда, всегда они хлопочут, а у мужиков установлены перекуры.

Сегодня Костей просто залюбуешься — трезвехонек, веселый, не матершинничает почти. И даже, что на грани невероятного, трезвый поет про Марусю, женщину, не дождавшуюся солдата.

— Здравствуй, милая Маруся, здравствуй, светик голубой,
Возвернулся я обратно с Красной армии домой.

Много писем написал я — все, Маруся, для тебя,
Но ты, милая Маруся, мне ответа не дала.
Иль ты думала, Маруся, что я в битве на войне,
И зарыты мои кости в чужедальней стороне.

Я начинаю вместе с Костей повторять окончание куплета.

Пуля быстрая задела шинель серую мою,
И поэтому вернулся я на родину свою.
По глазам тебя я вижу, что не любишь ты меня:
Кари глазки опустила, сердце бьется у тебя.

— А дальше? — спрашиваю я.

— Все.

— Как все? Ничего не понятно.

— Там вроде чего-то было, — вспоминает Костя.— Вроде того, что он с горя запил, потом залетел по пьянке, сидит в тюрьме и поет: «Прощай, Россия дорогая, за литру пропил я тебя».

— Это, наверно, из другой песни.

— Может, и из другой.

На колокольне слабо раздается первый удар. Значит, четыре часа пополудни. Сейчас завоет соседская овчарка Лота. Завыла — не любит колокольного звона. Костя тоже машет пренебрежительно.

— Не будь ты как собака, за что церковь не любишь?

— Толку нет. Построить бы фабрику, завод, делать пользу, тут только старух травить.

— Чем?

— Разве сейчас свечи! Свеча должна быть из воска, с медовым запахом, сейчас сплошная химия. После службы выходят, шатаются.

— Церковь тут ни при чем. Пчел убили, где воск? А пчел убили фабрики и заводы.

Совершенно нелогично Костя возглашает под колокольный звон:

— Библия гласит: Русь должна царствовать.

— В каком это месте гласит?

— Старики говорили, я сам не читал. Говорили: все предсказания сбываются, небо опутано железной паутиной, земля закована железом, все сбылось, дышать нечем. Хлеб наш насущный высушил душу... Эх, жизнь, жизнь, жизнь, — говорит Костя и курит. — Ходил я по всем краям гибели. В Болшево, еще до армии, поехали с другом устраиваться, там лыжные крепления делали, спортивные снаряды. Идем, надо склад обходить, а двери сквозные открыты. Давай сократим, пройдем прямо. А там ящики, а в ящиках кандалы и наручники. К нам охранник: «Вы как сюда?» Мы подхватились и на станции только очнулись. Вот спорт так спорт, вот спортивные снаряды.

— Жизнь, жизнь, — и я впадаю в тот же тон: — Мама моя говорила так же, как и мы, что и жизни не видела. Как жизнь прошла, говорит, не помню. Помню, говорит, как тяте обед в поле несла. Тепло, весна, босиком. Вдруг дождь. И укрыться негде. Под маленькую березку присела, дождь хлобыщет. И не то, думает, что промокнет, а то, что хлеб для тяти размокнет. За это переживала. И вот так, говорит, ярко помню, будто вчера было. А прошло семьдесят лет, вся жизнь прошла, как ее и не было. А отец говорил: я участвовал в истории жизни своим рождением, жизнь моя, говорил, началась, как у всех, с ошибок молодости, пока я их исправлял — жизнь прошла. Так и у всех: пока научишься жить — пора помирать.

— Э-э, научились, — иронически тянет Костя, — может, ты и научился, а я дурак дураком. Я ж колхозник. А их на всю жизнь запугали.

— Не запугали, — поправляю я, — они сделали вид. В себя ушли.

— В себя? Приходит в колхоз разнарядка — одного в дом отдыха. Еще до войны. А уже знали, какие дома отдыха, никто не хочет. Дом отдыха, значит, на Соловки. Но приказывают послать. Кого? Да-

вай Кузьму, он работник никакой, не жалко. Он просит коня, чтоб на нем ехать. Дали коня. Приехал по адресу, сводили на обмывку, потом в столовую, привели в палату, все белое, объявляют ему: «Сейчас мертвый час». — «Мертвый!» Он раму выбил, лошадь бросил, убежал. Не-ет,— возвращается Костя к началу мысли,— нет, ничему мы не научились. Только и научились себя оправдывать. Едут мужики на ярмарку, охота выпить. А ничего еще не купили, не продали, нечего обмывать. А охота. «Давай кнутами меняться». «Давай». Обменялись кнутами, ну как тут не выпьешь? Это дело надо отметить.

Мимо проходит соседка. Так как не только соседка, но почти все в Никольском не разговаривают с Костей, то он считает естественным, что она проходит отвернувшись. А почему с Костей все ссорятся? От того, что он всем говорит правду, правды не любят, вот и вся причина. Все не без греха, но как-то считается, что раз все не без греха, то и с грехами можно жить. И Костя с ними живет, но их не скрывает, на них указывает. Ворует кто — надо ему об этом сказать, и тому подобное. Костя знает все про всех. Кто с кем, у кого сколько, кто куда и откуда.

— Хотела меня раз объегорить, насчитала в конторе так, что я должен получить полсотни, а сотню ей отдай. Я плечами пожал: «Ты мне мое выпиши, а там как знаешь». — «Тогда не получишь». Ладно, я сел в конторе, сижу на корточках у батареи. А я тогда на бочке работал, «золото» возил. Рукавицы снял, кладу на батарею. Они носом закрутили, я ничего, жду. Закурил. «Здесь не курить!» Ладно, курить не буду, но рукавицы сохнут. Ничего, рассчитали.

БРЕВНО У ДОРОГИ

Это бревно долго торчало около мостика в виде сухого дерева. Зеленым его мы с Костей не помним. Летом оно серело среди зелени, зимой чернело среди белизны. И вот его свалили, сучья и вершинку растащили, а самый ствол остался. Он ничей, лежит на общественной обочине, и мы с Костей мечтаем его приватизировать. Дров из него выйдет примерно на десять бань. Мы ходим к этому бревну, сидим на нем, но все не соберемся с духом взяться за распиловку и транспортировку.

— Успеем,— говорит Костя.— Пусть еще сохнет.

Этой весной снова есть причина — бревно напиталось влагой, стало, как говорят, водопельным, отяжелело, каково с ним возиться? Тем более из некоторых щелей толстой коры появляются вдруг зеленые ростки.

— Жизнь есть жизнь,— философствуем мы, рассуждая, что можно вырубить дерево вокруг ростка, вкопать и — пожалуйста — будет дерево. Не одно, — роща. Сидим. У ног пробегает вреднейший жучок — долгоносик, враг корней, полезных растений. Конечно, я давлю его. Костя осуждает меня.

— Вредитель же!

— А жить-то ему сколько? Одно лето, а ты задавил. И комара не дави и бабочку, даже капустницу.

Размечаем на земле рядом со старой баней основание будущей. Размечает Костя. Вначале он решает, что парная будет так, а печка так, потом дважды переигрывает, и я совершенно сбит с толку. Но Костя видит все уже завершенным. Он смотрит в воздушное пространство и пальцем показывает — тут будет труба.

Остатки снега таятся в тени сарая. Старик Шарик выползает на солнце, а густошерстный Бим лежит пузом на снегу. Бим — отчаянный кобель. Если полюбит какую собачку, даже в отдалении, все равно убежит, держать в цепях бесполезно — побеждает природа. Возвращается потрепанный, искусанный, смирившийся. Но ненадолго.

Отъестся, отоспится — опять убегает. Подвиги Шарика все в прошлом, будущее его однопланово. Ему остались только воспоминания. На боевом счету Шарика пять укушенных: трое незнакомых и два соседа.

Я собираю в лукошко старые гвозди, начинаю их прямить. Им предстоит сослужить последнюю службу — помочь строить баню.

— Да! Посадили Россию на ржавые гвозди! — восклицает Костя. — Кабы из их речей гвозди делались (это он опять о правительстве), а то только гремят без дождя. То пугают, то обещают, — одна тошнота. Горбачев, Ельцин — два ведра на коромысле, оба пустые, оба гремят. Хоть три дня, хоть пятьсот, хоть тыща — один обман. Дожила Россия — сидит президент и ждет: позовут или не позовут капиталисты у порога посидеть, пока они пирог делят. Потом сунут и нам сухую корку, а платить чем? Какие проценты? Ох, поматерят нас внуки, хлебнут горя и муки.

— Но что делать? — я разгибаюсь, спина болит, пот течет в глаза, дерет, уже и не только пот, но и слезы. — У нас есть дело — баню строим, а Россия как? Всех — в баню?

— Всех черных кобелей не перемыть, — отвечает Костя.

Приходит с газетой в руках Сашка. Он хмыкает: видно, изумляется количеству сделанного, потом поет на мотив «Подмосковный городок, липы желтые в рядок» песню, начальный куплет которой звучит так:

— В вытрезвителе уют:
Сапогом по морде бьют.
Два подбросят, раз поймают,
А потом под душ ведут.

При Сашке мы не ведем политических разговоров, у него своя точка зрения. Ему все равно, при каком строе жить, лишь бы жить хорошо.

— Хоть черт с рогами, но чтоб я жил по-человечески. И так все работяги, — говорит он, — а вы, деды, никак в это не врубитесь. Хоть капитализм, хоть социализм, хоть хренизм—какая разница? Видите же, какая нищета кругом, ничего не купишь.

Я не выдерживаю.

— Это вам, дуракам, специально талдычат: за гранью нищеты. Чтоб вы недовольны были. А потом на вашем недовольстве, от вашего имени любое решение примут. Ты что, не видишь, как шахтеров натрели?

— Как?

— Так. Увеличили бардак в стране, обгадили прежнее руководство, себя выпятили: мы вас спасем, мы — демократы, только центр нам мешает, давайте его спихнем, центровку нарушим. А когда ее нарушают, все летит под откос. До чего ж легко дураков дурить. Ну, бараны! — я редко выхожу из себя, и ведь знаю, что буду всю ночь болеть, но не могу — задел меня воспитанный газетами и телевизором Сашка замечанием о нищите. — Бараны и есть! А баранов чего не стричь? Да эти еще лучше, чем настоящие бараны, те хоть боятся стрижки, а эти визжат от счастья — ты посмотри на эти митинги. Это ведь слепому только не видно, что они состряпаны, что кричат по команде. Это как новгородское вече, оно, конечно, было справедливее нынешнего парламента, но даже и там побеждали горлопаны. Саш, тебе ли не знать, что пять организованных человек побеждают толпу.

Мы все молчим. Костя не вмешивается в мой спор с Сашкой, но ясно, что он на моей стороне. С размаху внедряет лом в оттаявшую землю. Работа на сегодня кончена.

Сашка, ничего не возразив, сидит на колоде и снова читает. Ни с того, ни с сего спрашивает:

— Дед, где у тебя плотницкий метр?

— Вот. Зачем?

— Дай. — Сашка встает и отмеряет на углу старой бани две отметки. — Вот. Сейчас прочел: Сталин был ростом сто шестьдесят два сантиметра, Ленин — сто пятьдесят семь. В Горках ему делали вторые перила. Как карлику.

Костя доволен — Сталин все-таки повыше.

Еще рано, и мы навещаем свое бревно. Ростки упрямо ползут из старых щелей. Сидим. Костя курит. Он одобряет, что в разговоре с Сашкой я отстоял честь нашего поколения. Смелый воробей, прыгнувший за обгорелой отброшенной спичкой, напоминает ему частушку: «Мой папаша был охотник, убил чем-то воробья. Три недели мясо ели и насолили...».

Потом, по привычке перескакивать от смешного к грустному, и наоборот, вспоминает войну:

— На Ладоге были, в Кобоне, сопровождали людей и почту. Вернулись — тридцать километров в мороз по воде и льду под бомбами. Упали на пол, я хотел ногу подтянуть, не сгибается, как в трубе, галифе замерзло. Заходит майор: «Встать!» Лежим, спим, нет сил. Он сбавил голос: «Смена не пришла, выходи строиться». Лежим. Пинками сержанты поднимали. Построились. Майор — «Кто может сделать хоть шаг, шаг вперед!»...

— Шагнули?

— Шагнули, — откликается Костя. — Пошли как во сне. — Больше он не рассказывает, я не расспрашиваю. Он сам добавляет для полноты картины: — Собак я ел, кошек ел, ворон, голубей, воробьев, но человечину не ел. А видел. В Ленинграде. Человек хуже зверя бывает.

— Хуже, — соглашаюсь я. — Бога забыли, вот и звереем.

Сидим, потом мерзнем, расходимся. Вечером идет дождь, хлещет он и ночью, а после полуночи начинает резко подмерзать. Наутро все заборы, стены домов облиты сверкающим льдом. Солнце, выскакивая из частых туч, кровавит эту красоту. Стройплощадка залита. Строительство останавливается. Площадка к обеду оттаивает, но вода стоит на ней и не впитывается.

Внезапность мороза после солнца и оттепелей снова вызывает разговоры, что не только люди, но и природа сошла с ума.

— Подохнуть бы скорей, — говорит Костя. — Рвануть перед смертью бомбу, посмотреть на результат и помереть.

— Помереть и дурак сумеет, — отвечаю я, — а вот ты попробуй жить.

Так как основная работа остановилась и так как без работы мы не можем, то идем с пилой и топорами к своему бревну и выпиливаем, вырубаем ростки. Делаем это, таясь от людей, от ветерана-сверстника Феди, чтоб не подняли нас насмех: чем старики занимаются. А старики занимаются вот чем: сажают по берегу речки Малашки будущие деревья.

МЫ РОЖДЕНЫ — ЭТО БЫЛЬ, А ОСТАЛЬНОЕ — СКАЗКА

— Счастье не хрен, в руках не подержишь, — говорит Костя.

Это он не со мной говорит, а отвечает каким-то своим мыслям. У меня пока нет сил говорить, сидим, отпышкиваемся после тяжелой работы — затаскивали страшенно тяжелую стальную плиту-нержавейку на банную печь. Эта плита весом центнера полтора, пудов десять, по-нашему, будет основанием для банных камней, для производства будущего пара. Она и без камней, рассуждали мы, подступая к плите и как бы ей льстя перед ее кантованием, она и без камней одна сможет сколь хошь жар держать. Но как ни льстили, пришлось звать молодое поколение. Сашка пришел с приемником, в домашних тапочках. Перед работой перекурили. Из-за тонкого кладбищенского забора слышался привычный рабочий мат — рыли могилу. Костя сообщил, что

тоже рыл когда-то. Оба они заплевали окурки, и мы под совершенно жуткую нескладуху: «Листья мне обожгло, веток не обломало, день промыт, как стекло, только этого мало»,—но, правда, бодрую, заволокли по наклонным доскам толстенную сталь.

Вот и вышли, и снова сидим, дело сделано.

— Для кого и хрен — счастье, — отвечает Сашка на Костино наречение.

С кладбища раздается музыка — траурный марш Шопена, глушит Сашкин приемник. Вороны, трудящиеся (не в смысле трудящиеся вороны, а трудящиеся над оглодком большой кости), заслышав траурный марш, поднимают головы, переглядываются. Мне кажется, что они приободряются, по звукам оркестра запоминают место, куда вскоре надо лететь, когда оно опустеет, оставив для ворон поминальную закуску. Но нет — раздается троекратный залп, звучит гимн, значит, хоронят военного, поминок на могиле не будет, и вороны еще усерднее начинают трудиться над оглодком.

— Эх-ха, — говорит Костя, — по пьянке родился, по пьянке умру, и с пьяным попом похоронят.

— И что ты все всегда на попов, — говорю я. — Попы бывают разные, но Бог-то при чем?

— Ничего там нет,— отвечает Костя,— одна темнота. Навалят на гроб четыре тонны земли, вот тебе и тот свет.

С кладбища слышится причитание, потом стихает.

— Взяли бедную вдову под белы руки и увели, — говорит Сашка. Обычно он мало сидит с нами, тут, видно, ему идти некуда, а скорее, есть интерес. Он спрашивает:

— Дед, вот ты как-то рассказывал, я плохо запомнил, про неразменный рубль. Чего-то связано с колокольней.

— Взять цветок папоротника и идти в купальскую ночь на колокольню, — инструктирует Костя зятя, — и там сидеть. Страх будет — сиди. Высидишь — будет тебе неразменный рубль. Он раньше много стоил, — это Костя апеллирует ко мне, я киваю, — много. Заходи в любой магазин, бери что хошь, но хоть копейку сдачи... Выходишь из магазина — в кармане опять неразменный рубль. Их, эти рубли, ловили. Поймают, дырочку посверлят и на проволоку. Он по ней ходит как маятник, хочет сорваться.

— Как Бимка.

Наступило тепло, в ограде стало что топтать, собак посажали на цепи.

— У нас лунатик был, — продолжает тему Костя, — ходил домой по реке. На сенокосе жили, ночевали. Он ночью встанет и пошел. Какой ночью паром, никакого, ни лодки, ни бревна, шел по воде.

— Колдун какой-нибудь, — говорит Сашка.

— Колдун другое, тут лунатик. Колдунов я насмотрелся. Они помирают, мучаются, хотят помереть изо всех сил, а не могут помереть. Ставили на окнах кресты, потолок разбирали, крышу открывали, тогда помирал. На лошади их не возят, лошади не увезти, бей не бей, вся в мыле будет, а телегу с колдуном не сдвинет.

Сашка никак не комментирует услышанное, опять прибавляет свою «Европу плюс» или какую-то «Вертикаль», черт их разберет, они одно орут: если иностранное, то еще иногда кажется, что хоть какая-то мысль есть, но если наше, то или глупость, или пошлость. Вот, пожалуйста: «Видно, солнце уронило поцелуй в траву. Чтобы мама не бранила, я чего-нибудь совру». Мы с Костей враз плюемся, отмечая тем самым уровень и создателей, и исполнителей, и вообще уровень нравственности. Слов даже тратить неохота на обсуждение такого нечестивого отношения к родной матери. «Чего-нибудь совру», — тьфу!

— Все они, — тут я пропускаю, кто такие все они по мнению Кости, но с мнением этим согласен. Ну, может, не совсем все.

— А раньше, что они, лучше были,— говорит Сашка.— Вот ба-

бушка внучке говорит: «Внученька, у каждой женщины в жизни должна быть только одна большая любовь».— «Бабушка, а у тебя была одна большая любовь?» — «Да, внученька, была». — «Кто?» — «Моряки». Ой! — тут же переключается он, взывая к пониманию и намекая, что стальные плиты по десять пудов люди таскают не каждый день и как-то надо, чтобы это событие запомнилось.— Ой! Дед, тут что? — он держится за бок.

— Тут печень. Печь организма, пищу варит.

— А тут?

— Тут почки.

— Тут и болит.

— Еще бы не болеть. Пьем бормотуху, от нее медные трубы ржавеют, а мы хотим, чтоб кишки не болели.

— Дед, а зачем селезенка? Жеребцу, я понимаю, она при галопе отмечает темп, а человеку?

— Она как дневальный в организме.

— Чего-то он у меня запросился в увольнение.

Мы упрямо отмалчиваемся. Сашка встает и раздвигает богатырские плечи. Заглядывает в баню, сообщает про плиту, что лежит, не сбежала, но надо уложить еще прочней. Мы молчим. Вороны, видимо, все-таки решают проверить свежее захоронение и улетают. Но одна, поумнее, остается полным хозяином оглодка.

— Дед, ты за сколько плиту достал? — переходит на язык экономики Сашка. — За пятнадцать плюс вывоз десятка, плюс шоферу пятерка. А такая плита в Америке, да даже и в Африке стоит — загнешься считать. Тебе она с неба упала, и ты... — он разводит руками, а ты, мол, жмотишься.

— Поезжай, сдай шкурки, — предлагает Костя. — Половину тебе.

Сашка прикидывает трудозатраты, дорогу, очереди, сумму, и отказывается. Отказавшись, он не удерживается, чтоб не уесть тестя.

— Ты эту плиту по завещанию устрой на могилу, никто не утащит. Мраморные тащат.

— Я раз такую надпись видел, — отвечает Костя, не обижаясь — на могиле: «Убит за буханку хлеба».

— Сейчас за папиросу убьют, — говорит Сашка и уходит.

Встаем, кряхтя, и мы. Разламываем поясницы, любуемся результатами труда: лежит плита, поблескивает. Еще из старой плиты камней перетащить, да там еще и изоляторы фарфоровые от высоковольтной линии — пар будет.

— Будет, куда денется.

— Ну, — заключает Костя, — день пролетел.

— Не зря же пролетел.

— Не зря. Это годы зря проходят, а дни проходят в трудах. А годы, — говорит Костя, — годы летят, как щепки от топора.

— А кто с топором?

— Тут уж сам решай, — говорит Костя.

— А ты чего это про надпись на могиле вспомнил?

— Плиту подымали, в спине что-то хрустнуло, у меня так же отец умер, как тут не вспомнишь. — Костя говорит серьезно, я так же серьезно ругаю его, ругаю в который раз, чтоб не напуекал на себя.

— Ты настраивайся долго жить, а то ведь бес горой качает.

— Да так-то так, но жить неохота, жить незачем, жена померла, никому не нужен. С женой бы помереть в один день, вот бы счастье так счастье. И на похороны отдельно не расходоваться. А то дожили — картошка по три рубля килограмм *,— вот счастье. Не знали, куда телегу картошки за пятерку на старые деньги сбыть, дожили! Вот еще будет каждому по черпаку баланды, каждому: и Горбачеву, и тебе, и Ельцину, всем, вот будет коммунизм.

— Какой?

* Цены до сентября сего года (прим. автора).

— А! — машет Костя рукой. — Ихние машины рядом с нашими лаптями стоять не будут.
— Сейчас их ругать легко, — говорю я. — Все ругают.
— И раньше ругали, — отвечает Костя.
— Это-то да, — соглашаюсь я. — Так нас, русских, паскудят: рабы, быдло, стукачи. Вот мерзость! Изображают, будто мы от страха тряслись, да друг друга закладывали, какая брехня! У нас в селе, может, и не в полный голос, но говорили же: «Серп и молот — смерть и голод, хоть жни, хоть куй — ничего не получишь». Или: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, ешьте хлеба по сту грамм, не стесняйтесь».
— «Голодранцы усих крайн, гоп до кучи», — вспоминает и Костя слышанное.
— Да. А уж частушек! Море разливанное. Про Ленина, Троцкого, Сталина, а «есть штаны у Рыкова, и то Петра Великого», это что? А «сидит Сталин на заборе, Троцкий выше, на елй. До чего, христопродавцы, вы Россию довели?» Вот еще, я посмотрел бы, как на нас лаяли бы, если бы Сталин, Берия да остальная шатия были бы русскими.
— Мы рождены — это быль, а остальное — сказка, — изрекает Костя.

К НАМ ПРИХОДИТ ФЕДЯ

Косте неохота, чтоб кто-то смотрел на процесс его труда. Не любит зрителей. Но от одного не избавиться, от Феди. Федя живет за речкой, по пути на свалку, куда мы часто ходим. Например, надо швеллер — металлический брус, подкладку в основание печи. Идем за швеллером, его не находим, но пустые не возвращаемся, чего-нибудь да тащим. Отдыхаем на обратном пути у Феди. Двор Феди — стеклышко. Федя ничего не строит, не тешет, не пилит, не строгает, он только метет и чистит. Косте подметать некогда, у него труды непрестанные.

Сидим у Феди во дворе, он критически осматривает нашу добычу, навязывает еще чего-либо из своих запасов, например, самоварную старопрежнюю трубу. Мы берем: пригодится. Разговариваем о том, кто какие специальности знает. Костя и Федя их переработали сотни, я десятки.

— А крыши крыл? — спрашивает Федя.

Костю не поймаешь.

— Ты уточни вопрос, — говорит он. — Крыл, конечно, в основном матом крыл, но из материалов чем конкретно? Дранкой крыл и соломой, и тесом, и шифером, и рубероидом. А цинком, о! Цинком это целое дело. Раз струбциной водосток к листу прижал, работу кончили, лестницы сняли, где струбцина? Было мне!
— А бондарем был? — пытает Федя дальше.
— Как не быть? Если в хозяйстве есть бочки, кто-то же их делает. Я тебе на пятьсот литров кадку сделаю, да еще так, чтобы одна клепка дубовая, одна еловая для крепости. А вот какую бочку надо под мед?
— Дубовую? — это я покупаюсь.

Костя хмыкает:

— Из дубовой мед уйдет. Под мед делают липовую, в липовой век простоит. Только кто ему даст век стоять?
— И сбрую шил? — не унимается Федя.
— Все делал, все, — успокаивает Костя. — Уж если я уборные чистил, так остальное само собой. Самое выгодное уборные чистить. Выкачать — бутылку. Везем мимо сада-огорода, владелец просит вылить, опять бутылка. — Костя вертит в руках Федин подарок: — Эх, по деревне шла и пела самоварная труба... Таких работ не осталось, которые я не знаю. Пастушил, телят пас, коров, свиней, овец, лошадей, баранов стриг, пахал, косил, косу отбить все ко мне идут. Пришел

вчера мужик, я ему насадил косу на черенок, ручку подогнал, лезвие на бабке оттянул, несет бутылку, а я не пью. Сашке повезло. Ну чего, поползем?

— Я приду с инспекторской проверкой, — обещает Федя.

— Рано, — отвечает Костя, — у меня незавершенка, комиссию негде мыть, негде принимать. Давай к Новому году.

Но после обеда Федя все-таки прибредает, проникает под лай собак за калитку и смотрит на наши труды. Лучше говорить, на Костины труды, так как я при Косте, как муха при рабочем быке. Он пашет, а муха говорит: мы пахали.

Федин приход — повод для перекура. Костя втыкает топор в порог бани, выражая этим жестом, что топор — шлагбаум перед запретной зоной.

— Чего ты будешь смотреть — в охряпку строю.

В охряпку, то есть кое-как. Но Федя и с улицы видит все насквозь. Не удержавшись, делает общее замечание:

— Не клин бы да не мох — плотник бы сдох.

Понятно, что этим он хочет уесть Костю, чего и добивается. Федя человек скрупулезный, дотошный, а Костя — человек результата, он не находит радости в процессе труда. Но, уев Костю, Федя становится великодушным и говорит в утешение, что халтурная работа присуща у нас не только отдельным личностям, но обществу в целом.

— Не туфта бы да не аммонал, не построили б Беломорканал.

Спрашивает, знаем ли мы, что такое туфта. Конечно, знаем. Как не знать. Туфта — это труд для близира, приписки, обман, обсчет, пыль в глаза, показуха, и все такое прочее.

Федя просит закурить из кисета. Костя гонит внука Вовку за газеткой. Федя садится на тес, видит в траве длинную трубу.

— Труба у тебя дюймовка? — спрашивает он. — Ты ее спрячь, это редкость. Да еще с нарезкой. Спрячь. — Крутит козью ножку.

— Я украл, и у меня пусть воруют, — отвечает Костя.

— Ты не украл, — поправляет Федя, — ты взял необходимую вещь. Для хозяйства взял, не для спекуляции. Это не воровство, это перемещение. Это когда за границу увезут, тогда воровство, а внутри страны это распределение. Чего она тут лежит, она тебе не нужна?

— Лежит на всякий случай.

— Воду в баню качать?

— Я шлангом качаю. Накачал, свернул, а труба зимой замерзнет.

— Тогда отдай мне, если не нужна.

— Тебе прямо сейчас надо? Тогда бери, — говорит Костя. — А если нужна не прямо сейчас, тоже бери, только что ты за нее дашь?

— Ты же говоришь, что украл.

— Украл. Труд затратил. Тащил, надсаживался, могли поймать.

Федя пыхтит самокруткой, слезы на глазах.

— Я тебе, Костя, десять крыс дам на развод. Есть крысы?

— Собаки есть, кошки. Муська родила, назвали котенка Мормышкой.

— Скоро своих собак зарежешь, — пророчит Федя, — и кошек за кроликов съешь. И крысам будешь рад, не отказывайся. Русский народ в бою не победить, не перетерпеть, решили его голодом уморить. Ядрена! — Федя вытирает слезы.

— Не реви, — говорит Костя, — родина не забудет в землю закопать. Только до этого приглашаю разрезать ленточку на открытии бани, зарежу двух кроликов. Приходи. Чистую рубаху приноси. И новые кальсоны. Вымоемся и в гроб. Из половых досок гроб заранее сделаю, железом обобью. Подымут, надсадятся, и еще четыре покойника. Правительству радость — нас не кормить. Нас еще посмертно наградят.

— Подъемным краном поднимут, — решает Федя. — Поднимут. Все, Костя, можно поднять, одну штучку только нельзя поднять.

— Да еще сельское хозяйство, — добавляю я.

Бим притаскивает к ногам Кости совершенно новый ботинок. Даже шнурки новые. Мы рассматриваем ботинок, Костя гладит радостного Бима, велит бежать ему за парой. Бим есть Бим. Куда-то моментально исчезает и притаскивает... женскую туфлю.

— Ах ты, Бимка, Бимка, — журит Костя, — у тебя ж хозяин — мужик, а не баба.

— Сейчас мужиков на баб переделывают, — говорит начитанный Федя, — я в «Собеседнике» читал, одного Сережу переделывают, он просит: «Зовите меня Светланой», — тьфу!

— Видывал я дураков, — говорит Костя, — много видывал, сам дурак, но таких дураков, тьфу! Последний атомный век!

Федя еще долго сидит, долго обсуждает проблемы современности. Курит. Костя и не думает звать его ни в дом, ни в баню. Думаю, именно от своей неприветливости рассказывает следующую притчу:

— Пригласил кум кума в гости, тот пришел. Кум поставил на стол мешок табаку: «Кури, кум». Тот курил, курил, аж в глазах муторно. «А где ж кума?» — «А кума не курит».

Федя, даром что слаб глазами, рассматривает и грудку церковного кирпича, тяжелого, большого, но звонкого, это на корпус печи, груду красного, щелястого, купленного кирпича, который крошится, его наверх, на трубу.

— От большого крошка — не воровство, а дележка, — говорит Костя афоризм.

— Ворованное прочнее, — замечает Федя.

Собаки и кошки колготятся у ног Кости, отпихивают друг друга.

— Вот я еще прочел, — начинает Федя, но Костя его прерывает.

— Читать — это зло. Бог создал три зла: газету, бабу и козла. — Конечно, это он на ходу сочинил. Но вообще Костя последователен в своих убеждениях. Он уверен, что газеты не надо читать, чтоб не расстраиваться, книги не надо читать, чтоб башку ерундой не забивать, даже и письма не надо читать, так как и письмо — это тоже глупость. А если кто помрет из родни, то принесут телеграмму. Вот телеграммы надо читать. Это должно быть единственное чтение. А так читать... что читать? Кабы хлеб от этого подешевел, тогда б читал. А то дочитались — хлеб подорожал.

— Вот слушайте, — говорит Костя, — расскажу вам историю жизни страны, это вам вместо чтения. Организовали у нас колхоз. — Он отпинывает кота Богдана. — Организовали, загнали всех, колхоз — дело добровольное, хошь вступай, не хошь — езжай на Соловки или кури Беломорканал. Организовали, пригнали трактора. Бабы их звали мактора. А до того пахали плугом с предплужником, конями. Навозили царским навозом — конским, называли его царским. Бабы ревут: не надо мактора. Но приехали, вспахали. Рожь колосится, аж падает, намолотили много. Теперь давай с НТС рассчитываться.

— С МТС?

— Ну да. За трактора отдай, за горючку отдай, за работу отдай. Ничего не осталось. На следующую весну опять едут, воняют. Теперь уже все: не хотим ни ма́ктора, ни тра́ктора. Да кто будет спрашивать. Пашут, плату из кассы выдирают. А земля отдала царский навоз, выдохлась, ее верти не верти. Вот вся история жизни.

— Трактор — это пакость, — говорит Федя.

Костя резко гонит прочь всю свою живность, начинает вставать. В завершение вспоминает любимую свою тему:

— До чего я спортсменов ненавижу, тьфу! Развелось этой вшивоты, да еще Америка паскудит, нефтяной доллар подкатила, наши перед ним на пузе ползают, задницу ему лижут, тьфу! И эти — поднял штангу — хлопают. Ура, ура, а жрать чего?

— Еще вчера передавали, — говорит на прощанье Федя, — про газовые камеры смерти. Но того не сказали, что вначале их выдумали

для животных ценных пород. Норок разводили, соболей пробовали. Убивать нельзя, резать нельзя, стрелять — напугаешь, шкурку попортишь: валюта. Придумали травить газом. Шофер заведет мотор и пошел курить.

— Ты на это бельмо смотришь? — презрительно спрашивает Костя, — на телевизор этот, на глаз одноглазый кривой, тьфу!

— Чего-то мы расплевались, — говорит Федя. — Как бы не проплеваться.

— Все уже проплевано, — отвечает Костя. — Погибла Россия.

КОСТЯ ЗАХВОРАЛ

Захворал он, конечно, по случаю запоя. Я думаю, очередного, но Костя сообщает, что был в запое последний раз в жизни.

Но, может быть, действительно последний. Уж очень страшно он из него выходил. Даже скорую помощь вызывали. Я ждал ее на улице, чтоб провести врачей через собак; Сашка спал, Валя все еще с костылем. Приехали врачи, Валя при них кричит отцу: «Допился?» Костя весь отекший, оплывший, глаза красные, руки как подушки. Ни почки, ни печень, ни сердце не работают. Пульс пропадает. Сделали укол, уехали. Костя стонет, клянет себя, просит принести свежей воды. Приношу. Он пьет, организм так отравлен, что ничего не принимает. Спазмы тошноты мучительны, рвать нечем. И все-таки мужается, шутит: «Работаю комиком — топором и ломиком». Опять начинает стонать, опять держится за измученный живот. Отпустило.

— «Эх, пашаницу — за границу, мясо — в каперацию, хрен — на лесозаготовку, ее — на облигацию».

— Чего пил?

— Не помню. Сегодня чего? Суббота? Суббота, да-а. Да-а, вот это попил, суббота. Баню сам топи, я не могу. Да, отель, Марсель, бордель, парле франсе. — В нем сейчас крутится в смутных образах все переговоренное, перепетое в застольях запоя. — «Эх, Брежнев гимны сочинял, а Косыгин ноты, а Подгорный ничего — выгнали с работы»; Сашка спит?

— Спит. Вчера с ним пил?

— Не помню. Суббота, значит? Я к четвергу, посчитал, — триста рублей пропил, а ведь еще пятница. Мопед бы мог купить. — Костя человек не жадный, он не денег жалеет, он просто измеряет суммы разными мерками. Сопоставляет потраченное на гибель, на приобретение болезни с нужными вещами. Хотя сам же, запив, порицает любую трату на что-то иное, нежели на хмельное питье.

Изловчившись, охая, но не давая помогать, садится. Закуривает, затягивается помалу, сплевывать нечем, обирает с сухого черного языка табачинки. Впервые встречаемся глазами. Он крутит головой, показывая, как ему худо, но что так ему и надо. Испуганно поглядывает на распухшие руки.

— Да-а, сколь ни пей, а похмеляться будешь водой.

— Но грамм пятьдесят надо, — советую я как человек не посторонний в деле преодоления похмелья.

— Боюсь.

—Чем заболел, тем и лечись. Надо, чтоб пот прошиб. А в баню нельзя, тогда надо, чтоб изнутри.

И вот я присутствую при последней прижизненной рюмке Константина Эммануиловича. Рюмка кажется маленькой в распухшей великанской руке. Подносится к тонким сморщенным черным губам, увлажняет черный язык, влага проникает внутрь, приживляется и оживляет желудок. Что-то берется в кровь, добегает до головы, что-то ударяет в ноги. Мы выползаем на крыльцо. Банда четырех в восторге. Рад и Костя: поверил, что выживет.

— А ночью жить совсем не хотел, видения, голоса: «Ударься о печку!» — Немного, и щеки у него порозовели. Уже и выпивку он вспоминает не как ужас, а как героический недельный марафон: — Эх, было дело раз большое на колхозном на дворе: собрались мы дорогого в гости Сталина позвать. А он на нас хрен положил, много, говорит, вас, ко всем не наездишься. Нет, нужен батька Сталин, нужен хозяин, сейчас доболтаются, все растащат, я посмотрел телевизор, когда это? Сегодня суббота?.. Примерно в среду, посмотрел, морды семь на восемь, в телевизор не влезают, с похмелья не обдрищешь, а врут! А брешут! Их послушать, так у нас скоро коровы на червонцах будут спать. Тьфу! Ити их мать! Живот кладем с сука на борону, а они все свой талмуд: рубль в конверте, рубль в конверте! Нажрались и гавкают. О, забыл тебе рассказать, не рассказывал?

— О чем?

— Как собака к нам из-за границы идет?

— Нет.

— А от нас идет корова. Встретились на границе. «Ты куда?».— «Ухожу, — говорит корова, — кормов нет, пастухи пьяные, коровник дырявый, а молока давай тонну, ухожу! А ты чего?» А собака говорит: «Я слыхала, у вас тому, кто брехать умеет, портфели дают, вот и иду к вам».

Косте совсем полегчало. Он знает, что это временно, и торопится пожить в хорошем состоянии. Растираем руки вьетнамским бальзамом «Звезда». Припухлость вроде спадает. Костя снимает врезавшиеся в запястье часы.

— А я сам, а я сам ровно в восемь по часам. Сам пилю и сам колю, сам и печку растоплю. — Память его срабатывает безо всякой логики, одно цепляет за другое, цифра восемь вызывает в памяти другую восьмерку. Из куплета. Костя даже рукой себе подыгрывает: «Восемь лет, мужа нет, а Марина родит сына. Чудеса, чудеса, чудный мальчик родился». — Потом Костя обнаруживает, что выполз на свет Божий без курева, я вызываюсь сходить, но Костя решительно отвергает предложение о помощи, встает и уходит со словами: «Эх цветики-цветочки, ромашка-трава, не идет ко мне мой милый, пойду к нему сама».

Сад стоит в полном цвету. Вишни еще не отпустили лепестков, яблони набирают цвет, и много еще бутонов будет являть свою красоту. А уже многие лепестки опадают на мокрые цветущие клумбы. Тюльпаны выплывают из воздуха и распускаются как лилии, зеленые тонкие ножки их не видны на фоне травы. Сирень набухает полными тяжелыми кистями, а впереди еще жасмин, черемуха, рябина.

С Костей обсуждаем запахи. Сложный запах похмелья, исходящий от Кости, в расчет не берем.

— Рябина будет стоять, как пузырьки с одеколоном, — говорит Костя, — а вот когда черемуха зацветала, то пчеловоды пчел запирали, черемуха — яд. Будет похолодание, потом дуб зацветет, опять похолодание. А вот ты видел, как дуб цветет?

— Нет.

— И никто не видел. И даже свинья под дубом не видела. Родятся у свиньи поросята, а не бобрята, родятся розовые, хорошенькие, а вырастают свиньями. Свинье дай рога, всю землю перероет. О-ой, — охает он, — это его начинает прижимать. — Господи, убей того до смерти, у кого денег много и жена красивая. — И уточняет задание: — Его убей, а жену и деньги мне оставь. — Упомянутые деньги поворачивают к теме финансов, что и немудрено, радио и телевидение визжат о деньгах круглосуточно. — Красть так миллион, — говорит Костя, — а из-за рубля не связывайся. Так?

— Так.

— Пойдем в избу.

Возвращаемся в его обиталище, где он долго пьет воду, морщит-

ся, гладит живот, думает, еще пьет, охает. Громоздится на свое ложе.

— Пускай пузо лопнет, с-под рубахи не видать.

— Поспишь?

— Ты куда торопишься?

— Нет.

— Посиди. И я посижу. — Он садится, собирает со стола окурки, выкрашивает их в газетку и вертит цигарку. Табак сыплется, он топает по нему ногой, как бы прощаясь.

— Вот есть такая страна Лимония, не слыхал?

— Нет.

— Есть. Рожь у них под потолок.

— Это страна Беловодье?

— Нет, Лимония. Там шестьдесят лет гудок гудит и тридцать лет на работу собираются. Там ешь, пей, чего хочешь, бостон носи, шляпу, любой маркизет, но туалет за двадцать километров. Вот и живи как хошь, а там туалетов нет и за забор нельзя ходить. Нельзя. Вот и нет там людей, а гудок гудит. Такая страна Лимония. О-й! Пойду Сашку будить.

— Сашка спит вовсю. Все проспал и врачей проспал. Рано его будить.

— Чего это рано? Не на мельнице был, ночь не молотил, от телевизора устал, да карты раскладывал. Я ж его не на расстрел поднимаю, не на войну, на выпивку. Не на барщину. Я тебе рассказывал, как один барин оброк драл?

— Нет.

— Десять лет рассказываю и все никак до конца не расскажу. Вот барин драл оброк, большой оброк. Заплатили. Накладывает второй. И второй заплатили. Третий накладывает, дает разнарядку, крестьяне говорят: платить нечем. Как это нечем, знаю я вас, платите, и все. Они и запили. Барину докладывают: запили. Он: дурак я, дурак, теперь уж не заплатят. Решил крестьян расстрелять. Приехал с милицией, поставил крестьян у сарая, говорит: «Вы землю просили, я землю вам дал, а волю ищите на небе». — Показал вначале на землю, а потом на небо, и расстреляли.

— Все-таки тебе лучше перетерпеть.

— Терплю. Знаешь, почему я по фамилии Голынков? Прадед у еврея в кабаке оставил последнюю рубаху и домой вернулся голыном. Да! Последний атомный век, погибла Россия, сидим на бобах. Доедайте бобы, ложитесь в гробы! По радио говорят: проезд пенсионерам бесплатный. Куда нам ездить? Нам только до кладбища доехать. Так донесут. Нам бы лучше по гробу бесплатно выделили, а то по неделе не хоронят, нет гробов. Надо девятый день отмечать, а еще не похоронили. Дожили. Кладут в болото, в воду. Ставят на землю и сверху четыре самосвала песку. Курган запорожский. — Он прислушивается к себе, взбалтывает живот, еще доливает в него воды. — Вот нарисуй мне две радости и одно горе. Не можешь? Научу. Рисуй волка, козу и лозу. Волк рад козе, коза рада лозе, да не рада коза волку. Не рада она ему, вот и выходит — две радости и одно горе.

Во весь свой рассказ он, я чувствую, прислушивается к себе и неожиданно мрачно и вместе убежденно заявляет:

— Все. Отпился. У кого бочка — мера, у кого цистерна, а у меня состав. А всё американцы. Они. Все зло от них. Они нам подрезали крылья. Обманули нас. Нас легко обмануть, мы всем верим, всех жалеем. Только землю не обманешь, землю-кормилицу. Ее стали пичкать химией, она отказала и опустилась на дно. А выйдет на доброе слово, трудовой пот и царский навоз, тогда спасемся. А была жизнь, — вдохновенно произносит Костя, привставая на своей истерзанной бессонницей постели, — была! Утром встанешь, — туман как море плывет, соловьи поют, лягушки как скрипочки, щук ловил по двадцать фунтов.

Все убили! Не зря Сталин говорил: хороните меня кверху задницей, меня в задницу придут целовать.

Глаза Кости оживляются, может быть, это одна из главных речей в его жизни. Если учесть его полное отсутствие общественной активности, учесть то, что ни в каких выборных органах он не участвовал, то скажу, что присутствую при значительном событии.

— Раньше били сову пнем, а теперь бьют сову об пень, сове все равно больно. А я в жизни спал, как сова на суку, чтоб не проспать работу, и я работу не проспал, а проспал свою жизнь, жизнь моя утонула как в омуте. Наплевало мне правительство в морду, поставило надо мной охранников, подрезало крылья...

— Ты говоришь, что американцы подрезали. И дали вместо сердца двигатель внутреннего сгорания — пламенный мотор. Прожили мы жизнь, чего уж теперь, кого винить, поздно.

— Да, американцы. Разве не видно, как наши шестерки руки по швам, когда эти хари спускаются с трапа самолета, собаки мои лаять начинают, когда это место по телевизору смотрят. Россия воспрянет ото сна, когда воскреснет исторический труд, а болтовне отрежут язык. Надо дерево растить, удобрять, лишние сучья отсекать, но не рубить. А у нас рубили сплеча...

Внезапно появляется встрепанный Сашка. Видно, ему сказали, что тестю плохо, поэтому он, оглядев Костю, не здороваясь, заявляет:

— Живой, дед, так держать! Полный вперед, до самого полного! Шнапс тринкен? О, Боярский! — замечает он. Оказывается, мы и не обращали внимания, у Кости работает радио, Сашка расслышал знакомую мелодию. Слова ее — невыносимая пошлятина, например: «Пускай они сочтут за честь, что их лишаем чести мы». Речь о девицах.

— Выключи, Саш, — говорю я. — А шнапс есть. Сейчас реанимируешься.

— Я — все, — объявляет Костя.

— Это мы слышали, — важно говорит Сашка и, долго не готовясь, ахает в себя похмельную чару. Молодой, здоровый, что ему. О! — радостно восклицает он, опережая возгласом улучшение здоровья. — Дружок на работе машину купил, и жизнь его кончилась. Всех подвози и развози, потом гони в гараж, гараж далеко. А не откажешь, тех подвозит, у кого денег назанимал. Так он что? Он встанет пораньше жены, ошарашит стаканище и — в койку. Жена будит: поехали! А он: куда? Я пьяный. Она орать, а ему что, он себе день отвоевал. Я, говорит, тебе не извозчик, я, говорит, тебе не таксист. Так она что, жена? — Сашка разводит руками, восхищаясь женской живучестью. — Она выучилась и сдала на права. А это же пятьсот рублей, да еще всем гаишникам надо дать, за дарственную надо платить, опять в долги полезли, как лиса в норку. — Сашка видит, что в бутылке осталось, но считает, что это тестю. — Налить, дед?

— Видеть не могу, — устало и проникновенно отвечает Костя, — все тебе, все, пей, не оставляй горечь.

— Ну, дед, потом не жалей.

— Ни потом, ни по за потом, — отвечает Костя, угрюмо наблюдая со стороны хорошо ему известный процесс опустошения посуды.

Выпив, Сашка тоже начинает дымить. Кот Богдан уходит в форточку.

— Вот и я про то же, — ни с того, ни с сего говорит Сашка. — Проверяют очередь, кто за чем стоит. Стоит Абрам за гаражом, он машину уже выстоял, наш Ваня стоит за яйцами, ему накануне хрен достался, так хочет яиц для комплекта.

Косте не нравится, что бедный Ваня оказался в тяжелом положении, и он рассказывает байку времен войны. Как раз в эти дни юбилей ее начала.

— Наши пришли в Германию, одна немка в буфете работала, а у нее мужа на войне убили. Думает: дай хоть одного русского отрав-

лю, отомщу. Глядит, один солдатик, тоже Ваня, подпил, еще требует. Она ему налила серной кислоты, он хватанул.

— И ничего?

— И — ничего. Она испугалась, ждет. Он передернулся, палец большой ей показал и ушел. Через три дня приходит живой, здоровый, она ему налила стакан коньяку. Он выпил, говорит: нет, фрау, это болтушка, мне надо тогдашний шнапс данке шён. Она призналась: я, говорит, тебе серной кислоты налила. Он говорит: что ж ты мне не сказала, я, говорит, пошел вечером за казарму и набрызгал на сапоги. где брызнуло, там дыра. Старшина за порчу имущества три наряда объявил. Вот меня три дня и не было.

— И они полюбили друг друга, — говорит Сашка. — Немцы у нас со времен Петра... — но непонятно, зачем он заговорил про немцев, ибо продолжает совсем иным замечанием: — Такая нам досталась доля — нам не прожить без алкоголя.

Окончилась заутреня, звонят колокола, завыли собаки. Сашка кричит на них:

— Тихо! В солдаты сдам!

Костя, только что бывший фактически на том свете, да еще неизвестно, крепко ли оттуда вытащенный, все-таки богохульствует. Я обычно стараюсь перевести разговор. Но сейчас не получается.

— Я тебе рассказывал, как у нас поп людей обдурил? — И, не дожидаясь моего ответа, рассказывает: — У нас поп был бедный, народу в церкви нет. Приходит к нему еврей, а евреи хитрые, и говорит: «Хошь, помогу? Только деньги пополам». Тот согласился. Еврей взял старую икону, ближе к вечеру зашел вверх по течению реки, поставил на ней свечки и пустил. Старухи увидели — батюшки светы! Что началось! Там гуси в воде плавали, тина, старухи в воду лезут, водой умываются — чудо! А ты говоришь!

— Верят и верят, — говорит Сашка. — Гипноз на том же основан.

— Нет, не на том, — не соглашаюсь я на Сашкину помощь. — Гипноз подавляет, а вера свободна.

— Как свободна? — сердится Костя. — Все лезут, и каждый лезет.

— Ты же не полез.

— Это еще до меня было.

— Ну вот. — Что обозначает мое «ну вот» я и сам не понимаю, и рад, что Сашка выруливает на топтанную-перетоптанную дорогу.

— Я вам рассказывал, что у женщины должна быть в жизни единственная большая любовь?

— Рассказывал. Когда плиту в баню затаскивали, — напоминаю я.

— А, да. А вот еще одно: одна баба два раза выходила замуж: один раз за полк солдат, другой раз за футбольную команду.

Что делать, грешные люди мужики, любят ругать женщин. Как и те их. Так что тут все взаимно. Костя, как ни тяжело ему в первые, начинающие бесповоротную трезвость, часы, тоже шевелится.

— Им, бабам, грабельки дай маленькие, серп дай маленький, а хрен им хоть на тарантасе подвози. Меня столько раз дурили, но я не поддался, женился только в тридцать пять. Правда, из армии пришел в двадцать восемь. В госпитале чуть не женился. Врачихе сильно нравился. Глаза лечил, в землянке взрывом засыпало, засорило, стал слепнуть. Лечила, а я все делал, белил потолки, дрова рубил, на кухне помогал. Обещали отпуск дать. Только я попался — на базаре хлеб лежачим ребятам на табак менял, меня патрули замели. И сразу в часть. Да-а, — тянет Костя, — дурака семь лет в котле варили, достали, смотрят — все равно дурак.

— Нам главное в жизни — покой, — говорит Сашка, — а бабы — последнее дело. Так мы пели.

— Не страшны в саду даже шорохи, — говорит Костя. Это он так иногда балуется переделками песен. Например, поет: «О чем задумался. скотина? — седок приветливо спросил...» Но лучшая из всех его

переделок, это переделка песни «Маруся отравилась». Сейчас ее уже не поют, а в нашей молодости знали все. Даже сильнее, чем «У самовара я и моя Маша», даже сильнее, «молодого коногона везут с разбитой головой». Маруся отравилась из-за любви, иначе бы и песни не было. Финал песни такой, что «рабочие на фабрику идут, а бедную Марусю на кладбище везут». Переделка, вернее, в данном случае доделка звучит так: «Маруся ты, Маруся, Маруся, открой глаза. Маруся отвечает: « Я умерла, нельзя».

О, НЕ БУДИ МЕНЯ, ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ!

Но как сладко ни поют теноры, весна и мертвого разбудит. Сегодня все утро теноры. Почему так отрадно слушать арии о несчастиях и одиночестве? Русские умирают в одиночку, но за общее дело. А объединяться, видно, никогда не научатся. А, может быть, и не надо учиться? Может быть, наше разъединение, одиночество — наша сила, ведь мы же любим одно и страдаем из-за одного. Не ложиться же вшестером на амбразуру.

Притащил от Кости мешок золы. В золе так много гвоздей, будто Костя топит баню гвоздями. Просеиваю золу. Слушаю приемничек. Эх, как ударили в три голоса три добрых молодца: Паваротти, Каррэрос да Плачиндо, ну! Синицы и те веселей заскакали по веткам, ветер веселее защелкал целлофановыми обрывками теплицы. Неаполитанские, конечно, вовсю. Весело им там. О, вернись в Сорренто, о, соле мио, о, Санта Лючия! А на десерт как хватанули «Очи черные»!. Я и решето не смел трясти, гвоздями чтоб не шуршать. Встала моя работа. Так искусство вредит личному хозяйству. Но Косте повредить ничего не может. Пришел звать на отдирание стального листа от бревна с будущей целью приколотить его к потолку будущей парной. Отдираем. Скрежет и пыль.

— Американец хвалится точностью, а немец прочностью,— кричит Костя, налегая на гвоздодер. — Француз хвалится...

Стальной лист так гремит, что я не слышу, чем хвалится француз. Русскому незачем хвалиться, хотя и есть чем.

Из чего строит Костя баню? Из ничего. Как так? А вот так. Какая технология? Никакая. Сейчас журналы печатают схемы и указания. Костя же строит не по схеме, а по наличию материала, чего найдет, то и приспособит. Стены хорошо бы из бревен, а где взять? Костя наколачивает на боковые стояки досок с двух сторон, в середину сыплет опилки, их утрамбовывает. Наращивает доски, изнутри кой-какие, снаружи поприглядней, потом, говорит, покрасит. А не покрасит — так сойдет. Какая-никакая, а баня. Своя. В казенную не ходить, заразу не собирать. «Там вымоешься, да пока до дому вернешься, всего в автобусе перемажут. Или на остановке продует. Своя баня, это своя», — так мы рассуждаем.

Я стараюсь помочь. Не из-за того даже, что хожу к Косте мыться и париться, просто интересно, я ведь — потомок плотников. Что это за мужик, если топор не умеет держать. Но когда работаем, о работе не говорим, это тоже интересно. Это не правило, так получается. Чего о работе говорить, все ясно. «Подай эту штуковину, да приколоти эту хреновину, а не лезет — охреначь кувалдой», — вот и весь разговор о работе. Наши разговоры сводятся все к тем же страданиям за Россию, которая, по словам Кости, погибла, а по моему мнению, еще не до конца.

Кто виноват?

— Начальство виновато, — у Кости нет другого мнения. — Кто у власти, у того и сласти. Депутатов мы выбираем выборных, то есть отборных, а правительство их покупает, глотку им затыкает. Вроде

громко кричат, а послушаешь, за себя кричат. Нам остаются от них водные процедуры.

— Чего остается?

— Чего! По радио тебе говорят: «Переходите к водным процедурам». Вот и переходим. Кто к самовару, кто к чайнику, кто из-под крана, кто из ведра. Мужики все мочевые пузыри испортили, как собаки бегут к каждому столбу, вода же вся отравлена. А надо переходить не к водным процедурам, а к сметане, к творожку, к сливкам. Так же тебе не говорят, говорят: переходи к водным. Надо самим переходить. Надо заводить кладовки, подвалы, там хранить консервы, тогда пересидим. Горбачеву что — он за границу летает обедать, еще бы побольше дармоедов с собой возил, чтоб здесь не кормить, было бы совсем хорошо.

Ну, Костя поехал. Сейчас все соберет в одну кучу: политиков, американцев, спортсменов, молодежь, продавцов... Хорошо еще, если священников не тронет. И не перебьешь — обидится, тем более болеет.

— ... и болтают, и болтают, брешут, как собаки. А перед кем выслуживаются, на кого брешут. От ихнего бреханья телевизоры перегорают, все равно брешут. Картошка от бреханья с колесо вырастет, рожь с оглоблю. Тунеядь грёбаная, порционная. Раньше, кто старый, тот и старший. «Ты, Кузьма, завтра пустошь пахать, ты, Иван, скородить, ты, Петр, на завод на заработки, вы, девки, по хозяйству». Поедут на ярмарку: «Тебе что, Кузьма? » — «Ничего, тятя, не надо». — «Как не надо, надо, знаем чего, надо тебе справить костюм, Петьке обувь, ребятам материи набрать, всем гостинцев». Сейчас всех стариков на хрен посылают. Посылайте, посылайте, вы же стариками не будете, вас же не пошлют. И эти... изображают какое-то несогласие друг с другом, Ельцин да Горбачев, все же видят, как они перемигиваются, мол, давай, дури дураков, вечером соберемся, коньячку выпьем, посмеемся, да Бушу позвоним, поставим в известность...

— А знаешь, почему народ правительством недоволен, — высказываю и я свою догадку, — оттого, что оно все на себя берет. Раньше народ себя виноватым считал в своих бедах. Выбило посевы — плохо Богу молились, настала засуха — много грешили, рушится церковь — на неправедные деньги построена, пришли ляхи — так нам и надо: плохо царскую службу исправляли. Потом руки отбили, ноги связали, языки укоротили, — сиди, все за тебя без тебя решим...

— Черпак — норма, — вставляет Костя.

— Вот. А раз так, народ и думает: все за меня решают, чего ж живем так, что жить неохота? То есть жить надо, но что за жизнь, когда не хозяин в своей стране, а всякие приватизации. Государство строили, строили, теперь долой государство. То кричали о правовом государстве, теперь его нет, теперь будем окончательно бесправны. По закону тебя в гроб загонят, и жаловаться некому.

— Надо бесплатно веревки раздавать, — в который раз находит выход Костя. — Пусть давятся.

Прибегает внук Вовка, зовет деда на уколы. Приехали к матери врачи, заодно и деду вколют лекарство. Костя отказывается решительно и бесповоротно. Давно ли умирал, и лечиться не хочет.

— Не хочу. Будут тянуть на уколах, дольше мучиться, жить будут заставлять, а надо умереть естественно. Это все от лени выдумано.

— Лекарства?

— И они. И вообще любое. Работать не хотят, а жрать подавай. Нечего будет есть — на таблетки перейдут, а работать не будут. Я их знаю. Всё американцы.

— Ишь как! — замечаю я. — Нашел, на кого свалить, и успокоился. Сам не виноват ни в чем, как хорошо! Нет, раньше...

— Раньше их Христофор Колумб не открыл, они тихо сидели.

— Костя! — возмущенно кричу я. — Не придуривайся.

— Американцы, — упрямо говорит Костя. — Колорадский жук почему так называется? Из штата Колорадо. Американцы хитрые, они поняли, что нас силой не возьмешь, они в эту войну очень долго наблюдали, чья возьмет. Поняли, что воевать с нами бесполезно: война злость пробуждает, а русского разозлить страшно, вот и придумали запустить жука. Поставили всех кверху задом, и утром и вечером жука собирают. Всюду американцы, — говорит Костя. — Да и теперешние знают, что разозлить страшно. Поэтому обманывают, изображают заботу. А когда поймут, — будет поздно.

Костя не может сидеть без дела, вырубает из алюминиевой пластинки зуб для грабель. Я смотрю, как маленький паучок ловко и быстро плетет кружево паутины между домом и поленницей.

— И наши, — продолжает свои доводы Костя, — которые в Министерстве иностранных дел, Госплане, Внешторге, им помогают. Руби ту руку по локоть, что к себе не волокёть. Помогают. Их багаж пропускают без обыска, они везут бактерии, один провез гусеницу бабочки, бабочка расплодилась и всю тайгу съела, с самолетов травили ее отравой, остальное все отравили, а бабочка цела. Но главное дело — завезли в спичечной коробке таракана, своих не хватало, завезли иностранного. Шпион из наших, сунул на голубятню. Стали голуби пропадать, завели кроликов — кролики пропадают. Полезли, а там таракан больше теленка. С милицией ловили, я им помогал, по его дому бегал, как по арматуре. А ты говоришь.

— Чего я говорю?

— Я так, для связки. Бросить на всех атомную бомбу, вот и все дела. Все равно никто не работает. Довели народ.

— Так как тебя понять — народ довели до того, что он не работает, или сам народ дошел до того, что не работает?

— Довели, — твердо отвечает Костя. — Травопольная система, до чего ты хороша — в поле цветики и травки, а в кармане ни шиша. Ну что, пойду на сенокос, — он встряхивает готовыми граблями. Вот тебе загадка: Сыр-Дарья, Амур-Дарья, реки. Загадка: кто на Амуре? Комсомольск на Амуре. А кто на Дарве?

— Старый ты греховодник!

— Ладно, — переключается Костя, — другая тебе загадка: крупичатую муку, крупчатку, из какой пшеницы делают?

— Из яровой, — это я знаю. — У деда была мельница четырехпоставная, там же сукновалка, крупорушка...

— Да, мельница, мельница, мельничиха ты моя, ненаглядная русалочка! — Но работа мысли Кости настолько непонятна мне, что я никак не ожидаю, что после воспоминания о русалке юности Костя тут же говорит: — Нужна война, нужна! Нельзя без войны.

— Можно. И нужно, — возражаю я. — В войне лучшие гибнут, а те, что втравливают, остаются и наживаются. Конечно, и они подохнут, но хороших жалко.

— Не нами заведено, — говорит Костя, — так положено, чтобы земля каждую секунду обмывалась кровью. Сколь земля стоит, ни минуты не бывала без войны. Кувейт, Вьетнам, вот и Югославия.. Это... эх! — восклицает Костя. Он встряхивает готовые грабельцы. — Пробовал все клепцы: дубовые, березовые, сучки еловые, даже корни сосновые — все ломаются, сплошь камни и проволока, и железо.

— Ты спал сегодня? — спрашиваю я, имея в виду дневной сон. Спит Костя часа три-четыре в сенокосную пору.

— Со сна шубу не сошьешь, — так отвечает Костя. — Кто за меня сено накосит?

И я в сотый раз задаю тяжелейший вопрос, на который Костя в сотый раз дает свой ответ:

— Почему, — спрашиваю я, — у нас, у работников, дети и внуки — лодыри?

— Все перерождается, — отвечает Костя, — так и люди. И мы ста-

ли хуже, чем родители. Отец мой и пил больше, и прожил меньше деда. Дед умер в сто четыре года. Отец мой умел все, а я уже не все. Сейчас у молодежи всю силу утягивает и телевизор. Они ничего не делают, смотрят его целыми днями и ходят усталые, значит, куда-то сила девается. В телевизор уходит.

СТОИТ ЖАРА

Стоит такая жара, что только ночью хоть немного можно подышать. Даже комары сомлели, зудят еле-еле, сядет на руку, ползает, ползает, а укусить нет сил, взлетает и медленно дотягивает до занавески и висит на ней часами. За окном яблоневые листы умирают, скручиваются без листовертки. На крыльце, на веранде такой пустынный плотный зной, что лоб сразу становится мокрым. В доме чуть-чуть легче. Но и то. Мне давно подарили куколку — раскрашенную восковую свечу, Дюймовочку. Зажигать ее, конечно, дико, она стояла рядом с деревянной другой куклой — древнерусским богатырем. И вот от этой египетской жары Дюймовочка оплыла, наклонилась в сторону богатыря и нежно к нему прилепилась. Теперь это уже навсегда.

Свечки у иконостаса тоже кренятся, и опасно их оставлять зажженными. Гремит и гром, но сухой, далекий, кажется, что куда-то перегоняют самолеты. Вода в моем допотопном душе кипятковая, от нее одна польза, что мокрый и голый могу хоть немного чего-то поделать в огороде. Трудяги пчелки, похудевшие от перелетов под палящим солнцем, ползают по огуречным цветочкам. Шмелям в их щубах хоть бы что, хоть бы что и бабочкам. У меня в огороде много желтых ноготков, забыл, как их по-ученому, говорят, полезно для парфюмерии, а я рассыпал семена по участку, борюсь с огородными вредителями. Среди ноготков и беленькие, и голубенькие, будто детишки у моря в панамках, а бабочка как внимательная торопливая кокетливая вожатая, порхает меж них, поправляя им шляпки.

Жара-а. Никак не могу привыкнуть, что новая луна зарождается и восходит на западе. Изо всех суеверий я не истребил только одно — именно это зарождение луны — увижу молодую луну слева, за плечом, кажется, что две недели лунного располнения будет тяжело жить. Все, впрочем, пустое, все — суеверие, кроме веры. И всякие созвездия, всякая хиромантия, НЛО всякие — все это бесовщина.

И вот ударяет разрядка — резкий ливень. Для огородов плохо — расшлепает почву у корней, превратится земля в корку, задохнутся корни. Одна польза — прибьет пыль, остатки тополиного пуха, и вообще протрясет атмосферу. Сижу на крыльце, подставил таз в привычное место, под протекание крыши. Она и так-то худая, а тут, по жаре, окончательно рассохлась. Побежало в настреке, закапало в таз. Появился, нарисовался из капель женский профиль, превратился в лужу, в луже весело булькает капель.

Идет ко крыльцу друг дорогой, мокрый Костя. Веселый.

— Бей в доску, поминай тоску. Здорово!

— Здорово.

— Эх, расходилася кухарка по избе, эх, захотела Москва жениться, Коломну брать. Да девок нету — замуж ушли. А где мужья? Все умерли. А где гроба? Все порушились. А могилы где? Все осыпались.

— Джамбул Джабаев! — говорю я. — Садись. Вспомним, как в детстве, в юности спали на сеновале и дождь шумел по старой крыше. Сейчас и мы старые, и крыша не обновилась.

— Ты, может, и спал, но чтоб я заснул! — восклицает Костя.

Короткий дождь прекращается, только еще минут десять все реже и реже каплет вода в таз. Начинается не жар, а духота. Вода в тазу отражает деревья и небо. Зелень воспрянула, потяжелела, уплотнилась. Переходим в дом. Тут хоть немного полегче. Орет только, трется об ноги кот Богдан, которого оба мы приговариваем к выкиды-

ванию на свежий воздух. Решение жестокое, если учесть котиную шкуру, но что делать, уж очень противно орет. Жара. Приношу из колодца ведро холодной воды. Пьем. Вода в ведре за двадцать минут согревается. Рассуждаем, что все нам неладно: то тепла не могли дождаться, то ему не рады, то дождя ждем, то и дождь неладен, то еще что.

— Голоден — плохо,— говорит Костя,— переел — хуже того. Видел вчера программу «Время»?

— А что в ней?

— Все разлетелись, тьфу! Кто кланяться, кто в долг залезать, а чем потом платить? Рубля нет золотого, золотом платить да лесом, да льном, да нефтью. Америка ведь как почует, что нефтью пахнет, она как акула запах крови слышит, она уже тут. Орет, что борется за независимость, а ларчик открывается просто — нефть. И эти — летают! Уборка начинается — надо горючее. Сколько они его сожгут, сколько тракторов можно заправить. Да-да, пропала Россия, порядка нет. Подымайсь, батька Сталин, хоть на неделю, наведи порядок. Золотая рыбка, сделай нас русскими!

— К чему это ты?

— Разве не слыхал историю. Все кричат: русские все захватили, всем владеют. Вот один, нерусский, поехал на рыбалку, поймал золотую рыбку. «Чего тебе?» — она ему.— «У меня все есть: дом, машина, дача, кабинет. Вот что — сделай нас с женой русскими». «Это можно». Вильнула хвостом, уплыла. Он поворачивается — машины нет, на которой приехал. Сам в фуфайке, в сапогах. Кое-как вернулся, нет дома, отдан под детсад, в квартиру — в ней другие живут. «Где жена?» — «Вон в бараке». Туда. А ее нет — пошла белье в люди стирать. На работу, к своей секретарше, а та спрашивает: «Вы такой-то? Ваше место у конвейера, гайки закручивать». Побежал к золотой рыбке, и закинуть в воду нечего, денег на удочку нет. Стал русским, радуйся. Или другая история. Один торгаш на рынке зимой жалуется на русских. «Мы тут в палатках, в киосках мерзнем, мучаемся, а все теплые места русские захватили: у домны они, у мартена они, в кузнице они, в шахте, тридцать пять градусов, грейся на здоровье и лежи на каменной пыли,— опять русские. Все теплые места захватили, а мы страдаем, цветочками торгуем, да вишней по пятьдесят рублей». Видел вчера телевизор? Как на рынке мафию показывали, как они у бабок черешню перекупали, а кто не подчинялся, обливали керосином. Да они за деньги отца родного сожгут. А то мы все росли и росли, ах, если бы видел Ленин. Если бы Сталин видел!

За дверью противно орет изгнанник, а Костя рассказывает еще одну историю.

— Началась война, были два соседа. Один, нерусский, перепугался, бегает, суетится: надо мебель вывозить, деньги прятать, вагон доставать, масло, курочек заготовлять. Русскому говорит: «Видишь, как я мучаюсь, как я страдаю из-за войны. Тебе, говорит, хорошо: взял винтовку и пошел». Эх-хо-хо, бьют нас тихо и больно и плакать не дают.

Костя встряхивается:

— Ну, вроде сверху обсох, надо изнутри подогреться, и лезет в карман.

Я пугаюсь, что Костя притащил выпивку, нет, он достает черный, видно, что старый, кисет с красной вышивкой. Развязывает шнурок, раздвигает кисет так, чтобы можно было прочесть: «Дорогой воин, возвращайся с победой, жду тебя крепко-крепко!»

— Сегодня нашел,— говорит Костя, начиная набивать трубку,— ух, пыли сколько, как у меня в голове. Этот кисет пришел в посылке, распределяли на взвод, мне достался кисет. Я молодой был, но уже курил, но я не об этом. Я эту девушку, которая кисет вышивала, полюбил. Веришь, нет?

— Верю.

— Полюбил. Вобрал в голову, что найду. И такой она мне рисовалась, что... что лучше актрис всяких. Красивая! Главное — добрая. Мечтал: сижу на завалинке, она мне в баню белье собирает. Во сне даже слышал, как смоляные стружки пахнут, — дом, значит, мы с ней строим. Или видел, как мы на сенокосе, как она воду несет, я подбегаю, коромысло беру с ее плеч. Смешно, может, тебе — в окопе сижу, рядом мат-перемат, кого-то ранило, стонет, санитара кричат, а я все про нее.

— Зачем ты так говоришь: смешно, я тебя очень понимаю. А адрес был на посылке?

— В том и дело, что не был. Точнее, конечно, был. Но пока посылку разбирали, раздавали: кому носки, кому махорки, кому варежки, куда-то эта белая тряпка, тряпкой обшивали, делась. Кто-то на дело же взял. Только помню, шовчик на ней такой ажурный, такие, видно, пальчики, маленькие, аккуратненькие, старательные, такая, видно, душевная девушка, эх! Я, может, больше и не любил никого.

Костя, понурив голову, уминает табак в трубке, стягивает шнурок на кисете, вышивка надписи теряется в складках, прячет кисет в карман. Взглядывает на меня весело и как бы еще вдобавок извинительно: вот, мол, чего еще вспомнил.

— Вот такая у меня была история. И такой я был стеснительный, что постеснялся замполита спросить, знал же кто-то, из какой области, района пришла посылка. Мне бы только район, я бы с кисетом все деревни исходил, нашел бы! Наше-е-л бы! Сидит у окна, подхожу: ваша, гражданочка, вышивка? Ваша? Вот вы и дождались, позвольте солдату зайти с дороги умыться.— Костя смотрит на часы и резко говорит: — Собирайся, пора! Баня, как теща, ждать не любит.

Сегодня очередная суббота. Костя подбросил в печку перед тем, как идти ко мне, партию дров и, не проверяя, точно вычислил время, в которое они прогорят. Идет в баню — точно, нет сизых огоньков, нет угара. Но трубу на всякий случай не закрываем. Еще выжидаем. За это время Костя затапливает печь новой бани. Она дымит, как он выражается, как линкор «Марат», сохнет. Скоро, голубушка, будешь работать. И опять Костя курит. И сразу после бани будет курить. Уже не бросит. Ну уж это ладно: совершил один подвиг — бросил пить, это важнее. Тем более курит, как он говорит, с... пяти лет.

— Да, с пяти. Прятался от отца. Он когда понял, что курю, меня стегал, я от него скрывался. Пожаловался соседу, тот говорит: вот я тебе заверну самокрутку, иди на сеновал, там дыми. Но смотри! Сам пошел к отцу, говорит: ведь парень деревню всю спалит, тайком на сарае курит. Отец прибежал, стащил с сарая, дает кисет: кури сынок, кури на завалинке, на сеновале не кури, опасно.

ВПЕРЕД, К ВАРВАРСТВУ!

Костя шпигует, понужает печку новой бани, изыскивает, устраняет недостатки строительства, я вожусь в своем огородике. Огородик мой — мой спаситель. В самом прямом смысле. Как бы я без него? Откуда взять доходы на любой пучок редиски, укропа, где деньги на огурцы, на помидоры? Рынок появился, да он для богатых, а богатым у нас все принадлежит, и газеты, и телевидение, вот и устроен радостный вой в защиту рынка. Что выть — рынок всегда был в России, да только он не повышал, а понижал цены, и вопрос о качестве не стоял: если привезли что на продажу, так оно качественное, другого быть не может, иначе тебе хана. Сейчас в почете ворье, перекупщики, сейчас не спекулянты, а предприниматели, сейчас время подлецов и наглецов, их время. И опять же, если они все подомнут под себя, так нам и надо. Так погибал Рим, так гибла Эллада. Изгнивая изнутри, кто от роскоши, кто от разврата, кто от краж и взяток, они за короткое время

становились добычей врагов внешних. Уж на что годилась Македония, кто всерьез ее мог сравнить с Грецией, а что было? А то и было, что было.

По краям огородика смородина, немного нахальной малины, несколько яблонь, сирень и жасмин. Жалко сирень, жалко и жасмин, хотя, наверное, придется с ними проститься, куда денешься, картошка нужна. Пойди-ка, купи ее. Летом постоянно лажу в подполье, перебираю старую картошку. Ростки обильно лезут из нее, просится картошка в землю, но земли нет. Расширяться некуда; соседи, забор и кладбище за забором. Попросить бы сотки две в сельсовете, думаю, не откажут ветерану труда, но дадут не около дома, негде, дадут далеко, в поле, туда не находишься. Ладно, уж как-нибудь.

Это русское «как-нибудь» не от бесхарактерности, наоборот, оно от терпения, от выносливости. Ничего, ничего. Прижмет — вздохнешь, да перекрестишься, да и дальше живешь.

И до чего же дико слушать наших митинговых ораторов, которые хрипят и визжат одно и то же: страна за гранью нищеты. За гранью? Какая грань — нищеты они не видели. А я видел. Нищета! Нищета — это черные оладьи из прошлогодней, из-под снега картошки (а осенью не давали собирать — воровство, под статью!), нищета — это лебеда, крапива, хорошо еще, если отруби, жмых, куколь, заваренные кипятком. Ну-ка, господа демократы, вы же под народ работаете, что такое жмых да куколь? Знаете. Хорошо. А ели? А мелко-мелко измельченные опилки липы, смешанные с пылью от мучных мешков, испеченные в банной печке, вы ели? И не надо, и не ешьте, но о нищете не орите. Нищета! Хлеб на улицах валяется. Нищета! Да вы пойдите, подайте нынешним нищим, выцыганивающим у вас подаяния, кусок хлеба, подайте,— нет, не в жилу будет ваше подаяние, деньги гоните. Вот дооретесь, накаркаете настоящую нищету, будут вспоминать это время как благословенное. Вспоминаем же застой или, по-демократически, стагнацию как время, неплохое для желудка. Не гибла же тогда Россия, не гибла. Да, была мафия в торговле, всякие хлопковые, наркотические коррупции, продажность чинов, ложь идеологии, но это были излечимые болезни. Нет, объявили: все плохо, все под откос. А-а, опять у меня стариковское. Лучше Господню молитву читать. Помилуй мя, Господи, грешнаго.

Поправляю теплицу, заменяю изорванную пленку, перекапываю землю, добавляю перегноя. Какая же это тихая, умная, радостная работа. Вот подбавлю немножко золы, разбросаю, рассею поверху, постоит немного, прогреется, и сажай. Костя обещал рассады.

Вот и он, друг дорогой.

— Здорово!

— Здорово, заходи. Мой дом — твой дом, твоя жена — моя жена, моя жена — моя жена.

Костя — человек ревнивый, он считает, что производство юмора это его дело и мне нечего вторгаться в его пределы, сбавляет мой пыл:

— Здоровье как?

— Да вроде еще могу пожить. Или нельзя?

— Живи,— разрешает Костя,— но помирать от чего-то готовься.

— Готовлюсь. Боюсь умереть без покаяния, без причащения, без исповеди, без соборования, без отпевания, без «церковного пенья, без ладана, без всего, чем могила крепка».

Костя, уважая смерть, не обрушивается на священнослужителей, но и не поддерживает разговор, переходит к цели своего появления:

— У нас страна Советов, так?

— Вроде так, говорят. Говорят даже, что Советы должны иметь власть.

— Тогда дай мне совет: как сделать, чтобы советская власть досталась тем, а не этим?

— А всегда будет не этим?

— Как это?

— А так: она же не достается, ее захватывают. А раз захватил, надо держать. Как держать? Доказывать, что ты лучше всех. А другие тоже хотят командовать, тоже хотят урвать, они доказывают, что нет, они б были лучше. А люди — дураки, их обмануть — раз плюнуть. Им надо обещать, они верят.

— Да уж не верят,— говорит Костя.

— Не верят одному, верят другому. Вера — потребность. Все же кричат, надо во что-то верить. Доходят до того, что никому не верят, верят только себе. А кто каждый сам по себе?

— Мешок с дерьмом,— коротко говорит Костя.

— Скорее, с ошибками, с сомнениями, с недостатками, полный корысти и зависти, самомнения, гордыни, мыслей, что если б он был у власти, уж он бы...

— А вот еще дай совет,— прерывает Костя,— как сделать так, чтобы за ворованный мерседес презирали.

— Никак. Кому презирать? Все завидуют. Украл — молодец, нас научи. И все это, Костя, в России! В России! Россия ползет на брюхе к французам, немцам, японцам; придите и владейте. Иди, доллар, мы на коленях, иди, милый, мы думаем не головой, а желудком, мы жрать хотим. Беда, Костя, беда. Славяне бьют славян, ридны украинцы нас в кацапах держат, бесов тешим, лаемся. Чего ж антихристу не приходить, ему облигациями да всякими акциями путь выстелют. Нет, друг дорогой Костя, пусть я останусь с бедными, да зато с добрыми, а не хочу к богатым и злым. Пришло время подлецов и ловкачей.

— Да я согласен,— охлаждает меня Костя,— согласен. Я могу на своей трубке чай кипятить. Кто перестрадал, того не сломишь, а кто не страдал, пусть пострадает. Пока котенка мордой не ткнешь, он себе же пакостить будет.

— Прогресс! — Я все никак не могу успокоиться,— да кто это выдумал, что мы идем по дороге прогресса? По пути улучшения жизни. Внушили дуракам, и верят, что феодализм светлое будущее для рабовладельчества. Все признаки озверения людей, все признаки варварства. Россия, Россия, души моей мать! Матушка ты моя, вся злоба на тебя за то, что всегда жила по душе, все, милая, накинули на тебя удавку, ведут на рынок, привяжут к прилавку, да будут тобою торговать. Ах, великая торговля наступила, главное богатство мира с торгов пускают, Божье достояние в кабалу сдают.

— Будет, будет война,— гнет свое Костя.

Но ссориться мы не хотим, я веду Костю в дом, угощаю телевизором. Парламентарии наши опять чего-то не поделили. Доносятся слова: конверсия и инвестиции, индексации и приватизации, рейтинги и рейганы, коммерциализации и, что вообще уже и не только не выговорить, но и не вышептать, — разгосударствливание!

Костя кроет такие речи матом. Я хоть и одергиваю Костю, но все-таки его мат гораздо более понятен, нежели птичий язык парламентского, явно недемократического крика. Почему «явно недемократического»? Там же что хотят, то и говорят, это демократия. Но демократия — власть народа. То есть, хотя бы язык должен быть народным, а он непонятен народу.

— Они нерусские,— твердо говорит Костя,— они не знают русского языка, они на каком-то другом языке говорят. Цветки душистых прерий!

ЧТО ЛАПОТЬ НА НОГЕ, ЧТО НОГА В ЛАПТЕ

Мой телевизор обезголосел, беззвучен, звука нет, немое кино. Включаю раз в сутки смотреть погоду, хоть раз в сутки чего-то дельное передают. Костя напряженно смотрит, как в безвоздушном пространстве, за звуконепроницаемыми прозрачными стенами машут руками ораторы, и показывает на них как на диковинных рыб в аквариуме.

— Вот.

— Вот именно, что вот. Чем больше они машут руками, тем больше жизнь идет сама по себе. А я, Костя, рад, что звука нет. И радио, если не музыка и не погода, выключаю.

— Правильно, — говорит Костя, — не дочь бы, да не зять, и я бы не смотрел.

И опять, и опять мы говорим, что обманули Россию, в который раз обманули, использовали ее доверчивость, опять зарятся на ее богатство, опять всем не по нутру, что живем не по уму, а по душе, опять нас не понимают, хотя что нас понимать! А язык у этих парламентариев, у этих торгашей и экономистов, и политиков, всяких дипломатов оттого непонятный, что это язык их клана, их мафии, не народный язык. Кому есть что сказать, тот по-русски говорит, то есть лучше сказать, кому нечего скрывать, тот понятно говорит. А всякие ротации да акции — это для своих. И ненавидят нас, и без нас не могут. Пустили заморских лис на русский порог, посмотрите, что скоро эти лисы за стол русский сядут и ноги на стол. Нас за людей не считают, да и пусть бы не считали, не лезли бы только в душу. Нет, лезут: сами грязны и других измарать хотят. Приватизаторы, мать их за ногу.

Я уж не знаю, кому принадлежит последнее выражение, Косте, наверное, да я тоже могу под горячую руку.

— Россия ты, Россия, — нагнетает Костя, — в будни ненастье, в праздники дождь.

— И язык этот их, — договариваю я, — почему он непонятен, это специально. Тут, может, три причины: они по своей фене ботают, как раньше ворье, такой жаргон блатной, чтоб их не понимали, чтоб они только друг друга понимали; или, может, как врачи у больного шпарят по-латыни, чтоб не знал, сколько еще они над ним собираются издеваться. А, скорее, они или нерусские, или русский язык им ненавистен, а еще самое вероятное, что русский язык ими брезгует и не дает себя употреблять.

МЫ ВЫХОДИМ НА КРЫЛЬЦО

А выходим не просто так, а обсудить достоинства и недостатки новой бани. Да, товарищи, дамы и господа, мы только что в ней имели честь париться и мыться. По мне — лучше не надо, но Костя считает, что баня могла бы быть лучше. Пар поднимает сильный, но держит кратко, вода греется чересчур быстро, а пол медленно. Но это все дела поправимые. Баня есть, она стоит среди огорода, над ней легкое марево прозрачного жара, вороны боязливо, но нахально обживают крышу, ничего!

А еще новость — мы перетащили, испилили и раскололи наше бревно. Те росточки, закопанные нами по берегу Малашки, прижились, и это будет нам память. Мы их обошли все, пока выстаивалась протопленная печь. Обошли, поправили, я в конце ряда сказал: «Слава Богу, все прижились». И Костя, и Костя повторил вслед за мной: «Слава Богу, прижились».

Костя курит, лицо его, посвежевшее в бане, довольно улыбается:

— У нас с тобой теперь начнутся по субботам чайные запои.

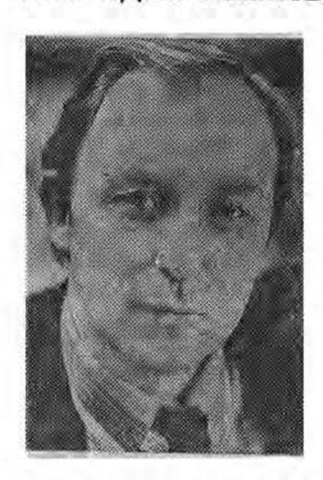
Это он таким образом делает мне комплимент: я специально заваривал по случаю первой новой бани несколько разнотравных чаев. Будто детство вернулось — так легко вспоминается оно при запахе смородины, земляники, мяты.

— Вчера передавали, — говорит Костя, что в России народ пошел на убыль. Рождается меньше, умирает больше. Так что умирать нельзя.

— Нельзя, — говорю я.

Хорошо спится после бани. Так хорошо, что просыпаться не хочется.

ГЕННАДИЙ ИВАНОВ



ЗЕМЛЯКИ РОДИМЫЕ МОИ

Ветеран

Русланову слушает старый солдат,
И вольно в душе, как в долине.
Да, он консерватор и он ретроград,
Но был в сорок пятом в Берлине.

И песня, как ветер, летит сквозь
года
Из дали поверженной прусской —
Русланова пела в рейхстаге тогда
С великою удалью русской.

Шумите, витии, не знавшие бед,
В герои себя возводите.
Не знали ни бед, ни великих побед,
Что вам остается? — шумите!

* * *

Эх, тверские, псковские,
рязанские,
Земляки родимые мои!
Наши избы — башенки пизанские
Посреди порушенной земли.

Полосу мы пережили скверную,
От безлюдья начали дичать.
Нам сейчас бы передышку верную
Эдак лет на восемьдесят пять.

Чтобы жены нарожали детушек,
Полюднее стало на селе,
Чтоб, как раньше,
много было девушек
И парней — но не навеселе.

Чтобы церкви красотой украсились,
И по всей родимой стороне
Избы ставились да квасы
квасились,
И скакалось в поле на коне.

ИВАНОВ Геннадий Викторович родился в 1950 году в городе Бежецке Тверской области. Детство провел в деревне. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор поэтических книг «На высоком холме», «Любовью живы», «Утро памяти», «Красный вечер». Член Союза писателей СССР. Живет в Москве.

Не впадаю, право, я в иллюзии —
Нам бы лишь разбогатеть чуток,
Ну не так,
как в дружественной Грузии,
Но чтоб здесь затеплился дымок...

Ничего нам лишнего не надобно,
Мы свое другому отдадим,
Обойтись бы только нам без атома,
Ненадежно и тревожно с ним.

Эх, тверские, псковские,
рязанские,
Земляки родимые мои!
Наши избы — башенки пизанские
Посреди порушенной земли.

* * *

Ты говоришь о вечном и простом:
Спасти Россию можно
лишь терпеньем —
Ты говоришь: молитвой и постом!
Но я добавлю: волей и служеньем!

Не просто жить —
как по теченью плыть,
Не просто жить —
как лебеда и тополь...
Служить России,
«рваться ей служить»,
Как в «Выбранных местах...»
отметил Гоголь.

Так много туч...

Так много туч, так много
черных туч.
Но все-таки отчаиваться рано.
«На нас падет
пассионарный луч», —
Сказал мыслитель нам
с телеэкрана.

Так много туч, так много
черных туч.
Но кое-где уже сквозит и просинь.
На нас падет пассионарный луч,
И будет Свет и Золотая Осень.

По всем приметам что-то
началось —
Стремленье и попытка
к возрожденью.
И в лицах недругов я вижу злость
И страсть к насилию
и преступленью.







АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ

РОМАН

Глава двадцать вторая

После всех штабов и планёрок, утомленный кабинетной работой, Горностаев совершал обход строительства. Все усилия бригад и техники были перенесены на третий, зарождавшийся, блок — в рыжие котлованы, на зубчатые свайные поля, к парным основаниям фундаментов, из которых начинался рост угрюмых корпусов. Второй, завершенный, блок был безлюден и тих, взят под охрану, обнесен оградой с чуть заметными нитями сигнальных систем, с вооруженной вахтой у проходных. В гулком пространстве, окруженная туманным свечением, застыла турбина. На пульте в диспетчерской вспыхивали и гасли цветные огни, белые квадраты табло. Операторы в стерильной одежде давили кнопки и клавиши, ощупывали невидимый, вмурованный в толщу реактор, дотягивались незримыми щупальцами до громадных машин и насосов, до крохотных хрупких приборов.

Станция дремала, пронизанная слабыми токами контрольных систем, искрилась индикаторами. Еще несколько дней ожидания, и замкнется последний контакт, соединит в могучую цепь машины, насосы, моторы, станция задрожит, загрохочет, и прозрачный бестелесный поток энергии польется в мир, омоет бесчисленные, сотворенные человеком изделия.

Горностаев обходил опустевшие гулкие залы, вглядываясь в водопады серебряных труб, наполненных застывшим, еще не прозвучавшим звуком. В шершавые косматые кожухи агрегатов, похожих на огромных спящих животных. В крохотные хрустальные циферблаты приборов, напоминавших лужайки со стебельками стеклянных цветов. Станция была второй, рукотворной, природой, не уступавшей в красоте и величии первой.

Он чувствовал станцию, как осмысленное грандиозное целое, собранное из мельчайших разрозненных по земле элементов, свинченное, сваренное, состыкованное его, Горностаева, волей, его упрямой неутомимой силой, направленной в творчество. Мощь станции была и его мощью. Ее разумность и совершенство были и его совершенством. Ее готовность к неустанной работе была и его готовностью. Он испытывал молчаливую радость, которой ни с кем не мог поделиться, делился со станцией. И она отвечала ему сиянием стали, напряженным синеватым туманом высоких пролетов.

Окончание. Начало в №№ 10, 11 за 1991 год.

Но в радости его присутствовала тревога. Сконструированная им громада, готовая ожить от легкого нажатия кнопки, таила в себе опасность, угрозу крушения, возможность взрыва. Малейшая неточность конструкции, крохотный свищик металла, малая щербинка покрытия — и слепые угрюмые силы, закупоренные в оболочках, рванут котлы, разорвут трубы, и на воды и земли, на окрестные поля и селения прольются яд и огонь. Проходя по станции, он чувствовал тончайшую пуповину, соединившую гору металла с его собственной жизнью.

Непомерный труд был закончен. Сотворенное диво возвышалось кубами и башнями среди топей и плоских равнин. Молчаливо и замкнуто озирало пространства в грозной красоте и величии. Но люди, его сотворившие, израсходовали в работе свои жизни и силы, состарились, утомились, разрушились, передали громадине упругость своих мускулов, зоркость глаз, румянец щек. Изможденные, раздраженные, не испытывали радости от содеянного, не видели красоты и величия. Роптали, волновались, сходились на злые шумные сходки. Горностаев чувствовал недовольство рабочих, подымавшуюся смуту. Раздражался, пугался, презирал. Винил сновавших по стройке невесть откуда взявшихся агитаторов, винил верховную бездумную власть, допустившую смуту в стране, винил бездеятельных, окружавших эту власть лицедеев, боящихся высказать правду о грозящем стране разрушении.

Он совершил обход станции, сумрачных отсеков и залов, и вышел на вольный свет. Увидел, как в небе черно, громадно колышется скопище птиц. Несметная воронья стая собиралась в угольные сгустки, рассыпáлась на длинные шлейфы, сматывалась в клубки, опадала к земле стремительными космами.

Казалось, птицы летят со всех сторон — из-за лесов, из-за озера, из-за дальних полей, из-за черты горизонта. Собираются вместе по какому-то таинственному клику, послушные чьей-то созывающей воле. Древнее, страшное чудилось в этом колыхании неба, в грае, карканье, в свисте и хлопанье крыльев. Словно высь разрывалась на отдельные волокна и клочья, рассекаемая острыми перьями.

Птицы летели на город, сталкивались, клевали друг друга, стая на стаю, полчище на полчище. Отдельные рати вдруг выпадали из битвы, рушились вниз, покрывали черными жирными комьями высоковольтные провода, стальные мосты, крыши домов, разрушенные колокольни. Отовсюду слышались хрипы, стоны, смотрели мерцающие злые глаза, разевались алые клювы, топорщились металлически-черные перья.

Казалось, вся биомасса Земли, воплощенная в птицах, слеталась сюда, ожидая поживы, невиданного по обилию кормления. Люди, ошеломленные, задирали вверх лица, смотрели на бесконечные вороньи карусели, на темные турбулентные вихри, составленные из поднебесных птиц и воздушных течений.

Горностаев вдруг испытал необъяснимый ужас, леденящий озноб. Смотрел на желтую жестокую зарю, испещренную метинами обезумевших птиц.

Вечером он возвращался на «Волге» в коттедж. Выруливая по бетону, увидел Антонину. Она одиноко стояла на остановке, поджидала автобус. Дорога пусто уходила вдаль, мокрая, блестящая, в последнем вечернем свете. Ее приподнятые плечи, непокрытая голова, руки, держащие сумочку, показались Горностаеву такими сиротливыми, беззащитными, родными, что он пережил мгновенную нежность к ней, вину, сострадание, мучительное непрошедшее влечение, не ослабнувшую за месяцы размолвки страсть. Почувствовал, что любит ее, стремится к ней, думает о ней поминутно.

Остановил машину, приоткрыл дверцу, голосом усталым, будничным, почти равнодушным, чтоб не спугнуть, не ожесточить, произнес:

— Подвезти? Заиндевела, замерзла...

— Подвези,— неожиданно согласилась она, и ему показалось, она рада встрече, охотно подсела к нему.

Ехали в город в шелесте, блеске.

— Опять задержалась, в магазин не успела. Хлеба не успела купить,— пожаловалась она.

— И я не успел, и у меня дом без хлеба,— сказал он, исподволь, быстро взглянув на нее, на ее близкие губы, знакомый подбородок, легкую дымку волос у лба. Боялся спугнуть ее своим жадным и нежным взглядом.— Опять ужинать, чем Бог послал.

— Да что Он тебе может послать-то, холостяку!

— Слушай, пойдем в ресторан, поужинаем. Целый день на этой работе кромешной, ужин-то хоть заслужили!

И так просто и искренне он ей это предложил, такие усталые, чуть ироничные интонации были в его голосе, что она согласилась. Вдруг захотелось оказаться на людях, за красивым столом, среди музыки, разговоров. Не идти в свое одинокое, пустое жилище. И легкая досада на Фотиева, обида на него,— уехал, оставил ее. Так вот же она не будет одна, хоть немного, да развлечется.

Они сидели в ресторане за уютным столиком. В оркестре электрогитары были, как перламутровые ракушки. Саксофон выдувал медленные золотые пузыри. Официант, узнав Горностаева, старался услужить. Из каких-то особых потаенных запасов принес прозрачно-янтарную копченую рыбу, маслянистые оливки, свежие помидоры. Картинно развернул из салфетки бутылку шампанского, заслоняя ее от зала. Наполнил узкие, с выбегающей пеной бокалы. И это великолепие стола, медово-ленивые блюзы восхитили Антонину, казались праздником, волшебством среди будней, тревог, огорчений.

— За тебя,— сказал Горностаев, поднимая бокал.— За нашу встречу.

Она улыбнулась, чокнулись. Медленно пила, чувствуя бесчисленные лопающиеся на губах пузырьки, его долгий, внимательный, нежный взгляд.

— Очень давно не виделись,— сказал он.— Вижу тебя издалека, мимолетно. Хорошо, случай помог.

— Да, случай,— сказала она, чувствуя, как слабо, сладко пьянеет.

— А помнишь? — лицо его стало мечтательным, робким, словно боялся, что воспоминание покажется ей неприятным, что он вспоминает запретное.— Помнишь, как в это же время ездили за тетеревами? Целый год прошел. Помнишь?

Она кивнула. Их поездка в дальние угодья, в лесную сторожку. Болота разлились синей бескрайней водой, и из стылых, студеных разливов подымались березовые острова, отражались, как облака. Вся земля, все небо, все мироздание полнилось тетеревиным гулом, звоном. Звенели частицы голубого воздуха, капли синей воды, каждая древесная почка. Проводив охотников, она гуляла по розовой тропке среди весны, тетеревиных гулов, и за ней увивалась рыжая, похожая на лисицу собака.

— А помнишь, как ездили по старым деревням, в какое забрались захолустье? — он продолжал спрашивать, и уже смелее. Видел, что воспоминания ей приятны, она не гонит их прочь.— Помнишь тот малиновый клевер, те зеленые копешки у речки?

И это помнила. Тихую речку, зеленую, в заросших берегах, остекленелую под полуденным солнцем, душистые, наполовину сырые копешки с розовыми головками клевера. Сбросив платье, она входила в теплую недвижную воду, видела, как ноги, колени покрываются серебряными пузырьками, а он смотрит на нее, кусает травинку.

— Помнишь, осенью, когда отворили окно, влетела в комнату птица? Как ты испугалась, а она пошумела и улетела обратно!

И это запомнила. Осенний вечер, красная рябина за форточкой, и в коттедж влетела трепещущая птица, заметалась, ударяясь о люстру, о стену, о висящие на стенах картины. Напугала их, оглядела темными глазками и вылетела в окно; словно вестник, занесла им какую-то весть.

— Помнишь?

— Помню,— сказала она.

Она смотрела на его бледное, утомленное, красивое лицо, печальное, почти болезненное. Изумлялась — еще недавно любила его, ловила его мысли, слова, была с ним рядом, стремилась к нему. И все это кончилось, и об этом теперь вспоминают — о той птице, о синих разливах.

Он видел, что ей приятно. Не было в ней былой вражды. Старался ее развлечь, быть забавным, рассказывал смешные истории.

— А Лазарев-то наш в своем репертуаре! Приходит и говорит: какие-то маги, мистики призывают человечество создавать вокруг Земли психическое поле. Защитный экран, сквозь который не прорвутся инопланетяне. Он считает, что инопланетяне пьют нашу энергию, и мы вынуждены ее восстанавливать — строим заводы, станции, развиваем науку, культуру, и все это пьют вампиры. А нужно, говорит он, создать энергосберегающую психологию, и все устроится. Призывает меня принять участие в создании психического поля Земли!

Она улыбалась, внимала ему. Он смешно копировал Лазарева, его бурливую речь, выпученные глаза, возмущенно оттопыренную губу. Смеялась этому маленькому, для нее устроенному спектаклю.

— А Менько, представляешь, со своей бабкой Маней решил в крестьяне податься. Избу в деревне купил, собирается перевезти на участок. Говорит: «Козу куплю, хочу молоко пить парное!» Представляешь — Менько и коза!

Он комично изображал Менько, выводящего козу на лужайку. Коза упирается, крутит рогами, а Менько тонким раздраженным голосом уговаривает козу подчиниться. Это было смешно, напоминало дни, когда все собирались у Горностаева, жгли камин, слушали музыку, подшучивали над раздражительным Менько.

Было легко, хорошо. Еда была вкусной, шампанское сладким, пьянящим. Заиграла музыка — медленная, с переливами перламутровых ракушек, с колыханием саксофона, похожего на золотое морское животное.

— Потанцуем,— сказал он, подымая ее, уводя от столика в сумеречный, мягко-красноватый круг, где кружилось несколько пар.

Он обнимал ее осторожно, бережно, не приближая лица, глядя мимо ее виска. Не сжимал ей пальцы, а когда увлажнилась ладонь, незаметно взял ее за запястье. Она чувствовала, как он окружает пальцами ее запястье, мимо плывут лица музыкантов, их струны, клавиши, трубы, и было ей хорошо. И одновременно возник в ней смутный ропот на Фотиева — оставил ее, кинул, умчался куда-то в своем безумном нетерпении, в своей одержимости. Не спросил о ее тревогах и страхах,— только о себе, о своем.

Кончился танец, он отвел ее бережно к столу, отодвинул стул, дождался, когда она сядет. Сел напротив, продолжая смотреть на нее нежно и пристально, стараясь угадать ее желания, мысли. И она чувствовала, что ей хорошо, что досада ее справедлива.

— Мне так тебя не хватает,— сказал он.— Не хватает встреч с тобой. Иногда говорю вслух, и кажется, что говорю тебе. Без тебя одиноко. Так хочется с тобой поделиться, рассказать.

— Что же тебя мучит? — она вглядывалась в его худое, со следами огромной усталости лицо, испытывая к нему сострадание.— Что тебя так изводит?

— Такое чувство, что все на волоске, на тоненькой ниточке. Ты

сам, стройка, людские отношения, вся страна. Такая тонкая ниточка, она проходит в тебе самом, и уже рвется, лопается, и ты знаешь, если она лопнет в тебе, то лопнет и весь остальной мир, разлетится вдребезги. И ты держишь эту ниточку, бережешь, но она все тоньше, на последней паутинке!

— Мне это знакомо. Так сейчас все живут. Чувство, что вот-вот все порвется.

— Губят и рушат! Немного осталось дураков таких, как я, кто согласен работать! Все только рушат и губят! Такую страну развалить! — он побледнел, в его глазах, мгновение назад мягких и нежных, зажглись две яркие злые точки.— Кто они? Головотяпы? Предатели? Женщины, бабы безумные, по всей стране химзаводы позакрывали! Экология! Чистое производство! Теперь лекарства выпускать негде! Их же дети мрут без лекарств!.. Ядерная энергетика! Станции! Их закрывают! Чем моторы крутить? Дома согревать? Их же дети в домах замерзнут!.. Конверсия! Пацифисты! Разоряют драгоценные производства! Золотой фонд индустрии! На ветер, в помойку! Вместо перехватчиков вилки алюминиевые!.. Германию объединили, а Союз развалили!.. Курилы японцам отдать?.. На Украине своя армия!.. Без единой пули такую страну уничтожить!.. Гитлер не смог, а они смогли? Кто за это ответит? Предатель на троне! Опять его вниз головой, с колокольни Ивана Великого, как Гришку Отрепьева? Или за «бэтээром» на тросе по брусчатке по Красной площади! Ненавижу!

Она испугалась злого, беспощадного выражения его лица, судороги, пробежавшей по скулам, безумия, которое на мгновение открылось в глазах. Он заметил ее испуг, умолк, закрыл ладонью лицо.

— Устал! — сказал он, убирая ладонь с бровей.— Если б ты знала, как я устал!.. Слушай, давай уедем, ненадолго!.. В Париж, на недельку!.. К черту от этой грязи, голодухи, гнилого жилья, непроваренного бетона, от этих работяг, от злых и дурных прорабов!.. В Париж!.. Мечтаю увидеть центр Помпиду, хрустальный, из драгоценных сплавов, современное искусство, красоту, взглянуть на это диво, восхититься, омолодиться, и снова сюда, в нашу прорву!.. Поедем! Я все устрою!.. В Париж на неделю!

— Ну что ты, куда я! — сказала она.— Какой там Париж! Да и мне с тобой невозможно... Это ведь так мы, сегодня...

— Вздор, все возможно!.. Это твое ослепление, это бывает у женщин!.. И я виноват, не сумел тебя привязать!.. Но это пройдет!.. Что ты в нем нашла?.. Восторженный, говорливый бездельник! Никчемный неудачник! Обожает себя одного, не замечает тебя!.. Только я смогу тебя сделать счастливой! Забудем все, уедем! И к черту этого недоумка, слюнтяя!

— Не брани его, мне неприятно! Ты же сильнее его, у тебя власть, влияние, а он слаб! Ты используешь свою силу против него!

— Ты ослеплена, обманута! Не любишь его! Его невозможно любить! Связалась с ним мне назло! Чтобы унизить меня, оскорбить!.. Ну, унизила! Ну, оскорбила!.. И хватит!.. Каюсь, виноват! Прощенья прошу! Хочешь, сейчас на колени встану! Хочешь, всему залу крикну, что виноват, что люблю тебя?

— А я люблю Фотиева!

— Капризная дура!

— Я сейчас уйду!

— Прости, умоляю, не знаю, что говорю!.. Мне плохо, страшно!.. Не могу без тебя!.. Давай поженимся! Завтра пойдем и поженимся!.. Должен был сказать тебе раньше! Понимаю, было для тебя унизительно! Теперь мы поженимся, ты переедешь ко мне, мы будем вместе, а его след простыл, он уедет, убежит, покатится дальше по ветру, как пустой бумажный пакет! А мы будем вместе, вдвоем!

— Ухожу, прощай!

— Не пущу!

— Ухожу! — она стала подниматься, пугаясь его крика, его близкой истерики, едкого, на нее направленного страдания. Пугалась уверений в любви, в которых слышалась ненависть, пугалась мольбы, в которой была готовность истребить.— Не вернусь к тебе!

— Заставлю вернуться! А его сотру! Вор, предатель! Что ты знаешь о нем? На него досье в кадрах! За ним хвост тянется! За ним КГБ следит!.. Да и ты хороша! Знаешь, что про тебя говорят? Шлюха, потаскушка! Взятки берешь за квартиры, путевки!.. Вернись ко мне, и все заткнутся. Слова не посмеют сказать!.. А этого побирушку, бездарь добром просил: «Уйди!» Нет, не ушел по-доброму! Начистили ему рыло, может, теперь поймет.

— Неужели это ты приказал его избить? — она ужаснулась, видя в его глазах бешеное веселье.— Ты своим прихвостням, бандитам приказал избить Фотиева! Ты отвратителен!

— Люблю тебя!

— Ты мерзок, оставь нас в покое! Если есть в тебе хоть капля добра и совести, оставь нас! У меня скоро будет ребенок, я беременна! Мы уедем отсюда, с твоих глаз долой, но покуда не трогай нас!

Она встала, отцепила от своих рук его руки, била его по рукам. Шла, бежала прочь сквозь танцующие пары, вниз по лестнице. Второпях надела пальто, выбежала на улицу, торопилась по городу, простоволосая, забыв повязать платок. В темном небе шумело, клокотало, скрипело. Хлопали, секли воздух тысячи крыльев. Свистящая стая, будто ее швырнули к земле, пронеслась над ночными крышами. Мелькнули в фонарях вороньи клювы и крылья, дунуло хриплым карканьем.

Глава двадцать третья

Отец Афанасий жил в Старых Бродах, в бревенчатой осевшей избе, где снимал угол у пожилой, мужеобразной хозяйки. Он поднялся легко и бодро после прозрачного чудного сна. А приснилась ему его церковь, золотые огоньки свечей, голубоватый кадильный дым, и он в праздничном, изумрудно-золотом облачении выходит на проповедь; пасхально-белые, заполнившие церковь платки, лица прихожан, у икон среди бумажных цветов — крашенные луком яички, и такая радость, любовь, и слова, которые он произносит, легкие, ангельски-чистые и простые.

С этим чувством он и проснулся в своей комнатушке среди старушечьих обветшалых вещей, где был создан его руками малый островок благолепия. На столике, на белой скатерке лежало Евангелие, серебряное, на тяжелой цепочке Распятие, семисвечник из разрушенной Троицкой церкви, икона Смоленской Божьей Матери, которую возил с собой неотступно, а также свернутая епитрахиль и шитые золотом поручи на случай свершения треб.

Он вышел из дома в холодный утренний воздух, где бугрились крыши соседних домов. Первым делом прошел на колодец, принес на двор два ведра воды, донеся их осторожно на коромысле, задевая ряской лужи, раскланиваясь с обитателями соседних дворов.

Немного отдохнув, глядя, как успокаивается в ведрах вода, затолкал рясу под ремень, взялся за топор, принялся колоть дрова. Колун был тяжелый, от его ударов сухая крепкая плаха звонко разлеталась, и отцу Афанасию нравился стук разлетавшихся поленьев, длинные волокна древесины, холодный запах березы.

— Батюшка, да нехорошо тебе мирскую работу делать! — упрекнула его хозяйка, выйдя в полушалке на стук топора.— Я Кольку, племянника, попрошу, он поколет. Все одно мне пятерку должен, на

вино занял. Вы уж зря себя утруждаете! — но было видно, что она довольна: вода наношена, дрова поколоты, и ей с ее ломотой в пояснице осталось работы поменьше.

Наколов дров, отец Афанасий часть их внес в дом, скинул на железный лист у закопченной печки. Другие поленья, накладывая себе на грудь до самого подбородка, оттащил в сарай, где в сумерках пахло сырым теплом и в углу на подстилке вздыхала, водила разбухшими боками корова, готовая вот-вот отелиться.

Отец Афанасий подошел к ней, увидел лиловый слезный светящийся глаз, зайчик света на шерстяном золотистом боку. Услышал ее протяжный медленный выдох, запах большого, страдающего, доброго тела. Умилившись, подумал: вот так же в Вифлееме дрожал на коровьем боку зайчик света, сидели на насесте куры, стояли в углу вилы, лопаты, грабли — знамения крестьянского труда, возвещавшие о простоте и смирении.

— Дай Бог тебе, милая, побыстрей отелиться, чадо свое узреть! — отец Афанасий пожелал корове благополучного разрешения от бремени, вернулся в дом и позволил себе прилечь. Хотелось немного отдохнуть, ибо после обеда путь его был, как обычно, в лечебницу, на вечернее и ночное дежурство.

Спокойная поза, ладони, лежащие на стеганом одеяле, тепло от печки, золотистое сияние иконы — это было краткое мгновение покоя, когда в одиночестве, без людей, он мог предаться своим размышлениям, любимым, напоминавшим откровения мыслям, согласно которым Христос ежесекундно, в каждое мгновение, продолжает совершать подвиг своей земной жизни, искупительное бытие. Здесь, в России, в захолустной гибнущей слободе, вблизи от атомной станции, Христос являет свой евангельский подвиг, ежесекундно спасает гибнущее человечество.

Эти мысли, подобные мечтаниям, сочетались с воспоминаниями о своем собственном греховном пути. На этом пути он впадал в заблуждения, и в каждом таилась погибель, которую чудодейственным образом удавалось ему избежать. В этих спасениях он угадывал охраняющий его промысел, божественный перст, указующий ему сквозь все заблуждения путь к благодати. Два жизненных пути — его собственный и Христа — переплетались в его сознании. Путь Христов пролегал не в далекой Палестине, не в библейские времена, а теперь, в этой русской реальной жизни, на нынешней грешной земле.

К хозяйке зашла соседка, такая же, как и она, стареющая одинокая женщина. Отец Афанасий слышал из-за занавески их неяркие, блеклые голоса, представлял, как сидят они, сгорбившись, в своих телогрейках среди чугунков и ухватов. Их разговоры не мешали ему, лишь усиливали ощущение покоя.

Он представил себе, как в синюю морозную ночь, когда в небесах бело от звезд, в Старых Бродах вдоль заснеженных черных заборов, в ребристой от гусениц колее идут волхвы. Долгополые расшитые шубы, с песцовыми и куньими воротниками. Отороченные мехами высокие шапки. Посохи с резными набалдашниками. Несут дары, золотую утварь, чаши и блюда, рулоны материи. Огибают трактор, стоящий у соседских ворот. Винный магазин с огромным амбарным замком. Сугроб с застывшей золой, с очистками мерзлой картошки. Заходят сюда, во двор, звякнув калиткой, поскользнувшись на синем ледке от пролитой утром воды. Над белой кровлей застыла лучистая, с серебряным хвостом звезда. Волхвы заходят в сарай. В темноте, в теплом сенном гнезде Богородица, умиленная, утомленная недавними родами, держит на простынке младенца. Он сжимает кулачки, сучит крохотными тонкими ножками, лежит у Нее на руках, и вокруг Его головы — тончайшее золотое кольцо. Из всех углов выглядывают с кроткими ликами овцы, кони, коровы, Ангел в прозрач-

ных одеждах с острыми дрожащими крыльями влетел с мороза, принес Богородице с Сыном алую небесную розу. На улице рокот, мерцание. Прошумел ночной грузовик, бросил в сарай сноп хрустальных лучей.

Отец Афанасий в своем воображении писал икону Рождества Христова, молился ей, чувствовал, как чудно теплеет в душе.

— Фрося-то на меня не глядит, не здоровается! — жаловалась соседка подруге на житейские свои неурядицы.— Сама обругала и сама не здоровается! Чуть что, ко мне бежит: «Аня, дай соли!.. Ань, таблетки от головы не дашь?.. Ань, рублевку до завтра не ссудишь?..» А теперь не здоровается. Вот и помогай людям!

— Фроська гордая,— вторила хозяйка, утешая гостью.— А ты жди, терпи, первая к ней не ходи. Сама придет! Куда ей еще и идти-то, к нам только!

Они осуждали строптивую соседку, а отец Афанасий вспоминал то время, когда он начал свои искания, пошел за звездой Вифлеемской, не ведая, что она приведет ко Христу,— пошел в путь свой.

Он учился в университете на истфаке и вошел в студенческий тайный кружок, изучавший Бакунина, Кропоткина и Нечаева. «Союз молодых анархистов» — так они себя называли. Собирались на свои посиделки то в общежитии, то у кого-нибудь на квартире, то в Серебряном бору у реки. Строили конспирированные планы по созданию партии, намеревались начать агитацию против продажной, кровавой власти. В кружок входила девушка-однокурсница, которой он увлекался. Его революционные мечтания, готовность к борьбе и жертве были одновременно и любовью к ней. Ее искренность, чистота, красота были той очистительной силой, что подвигала его на жертву.

Их всех арестовали, весь кружок разом. Посадили в тюрьму, возили на допросы. Следователь, молодой, обходительный, с любопытством, с симпатией выспрашивал у него об учении русского анархизма, выведывал способы, коими они намеревались действовать.

Просиживая месяцы в камере, не зная ничего о товарищах, не называя никого на допросах, он думал о ней, о любимой. Мысль о ней поддерживала в нем мужество, не давала сломиться.

На суде она выступила против него, показала его записи, письма, его дневник, где он предсказывал всеобщую революцию народа. Не смотрела в его сторону, была спокойна, красива. А он потерял на минуту сознание, пережил первое в жизни предательство, вероломство любимого человека.

Это воспоминание породило в нем панику, боль. Но он заслонился незримой иконой, молил Господа простить ее вероломство.

Искушение Господа в пустыне. Сырые русские поля, без деревни, без путника, без птичьего крика.. Холодные туманы осени. Кирпичный заброшенный храм, разрушенная колокольня, и на кровле храма Христос зябко кутается в сырую ветошку. Искуситель в блестящем плаще, умный, веселый, протягивает ему красный в мучнистой известке кирпич, предлагает обратить его в хлеб. Вкус хлеба на холодных губах. Холод камня в ладони. Пролетевший листок березы. Как печальны образы Родины, как бессловесны поля, сколь огромны снега, уготованные этим равнинам. Зябнет спина под ветошкой, близкие слезы в глазах. Высоко в моросящем дожде улетающий гул самолета.

— Болею, Шура, болею. Думала, зимою помру. Ан нет, дожила до тепла. Летом не помру, мне зимой помирать. Холодно хоронить будет, никто не пойдет провожать,— голоса за занавеской ровно звучали, звякали чашки.

— А и кто знает, когда помрем,— отвечала хозяйка.— Может, чай попьем и помрем. Как раньше на крестах писали: «Мы, говорят, милые, уже дома, а вы еще в гостях засиделись». Так раньше писали, а мы теперь вечно жить хотим.

Отец Афанасий чувствовал слабое тепло от печи, успокоенность тела, вспоминал свою жизнь, объясняя ошибки удаленностью от Христовой истины, а успехи и просветления неустанным к ней приближением.

После суда и краткого содержания в тюрьме его признали умалишенным, посадили в психушку, где держали вольнодумцев. Укрощали психотропными средствами. В палате с зарешетчатыми окнами и электронными дверными запорами их лечили уколами и травили таблетками. Его ум, собранный в жаркий ком ненависти и протеста, расслабляли, разжижали. В размягченном, раздвоенном сознании появилась растерянность, непонимание мира, сквозь который его проводили, как путника, показывали случайные, не принадлежавшие ему зрелища жизни.

Среди больных содержался писатель, издававший рукописи за границей. Священник, проповедующий приход Антихриста. Еврей, желавший уехать в Америку. Военный, протестовавший против испытаний оружия. Здесь были художники, философы, изобретатели машин и приборов, основатели партий и религиозных течений. И все они после уколов корчились на железных кроватях, испускали слюну и слезы, молились, проклинали, стонали.

Отец Афанасий вспоминал их всех, молился за них, за тех, кто остался жить, и за тех, кто в могиле. Благодарил Создателя за мученический, ниспосланный ему венец.

Икона, незримо им создаваемая, была «Въездом в Иерусалим».

Вдоль бетонки по мокрой обочине, обгоняемый самосвалами, на белом забрызганном ослике Спаситель въезжает в Броды. Ослик с полосатой попонкой. Наездник в сырой ветошке, без шапки, с березовым прутиком. Шоферы кричат из кабин: «Эй, цыган!» Детишки бегут за ослом, кидают горсти песка. Он въезжает в сумрачный город. Хвосты у винных прилавков. Продымил милицейский фургон. Плакат рабочего с молотом. Люди смотрят, как въезжает Спаситель. Кто зевает, кто тычет пальцем, кто идет, не замечая его. Только древний старик с клюкой увидел и снял свою шляпу, хотел поклониться, не смог. Да старая женщина сорвала с головы платок, постелила под ноги ослу, накрыла грязную землю блеклой линялой тканью. Копыто ступило на ткань, и зажглись, расцвели золотистые, красные розы.

— Манька-буфетчица гуляла с кем ни попало. Аборт за абортом, аборт за абортом! Чего у ней в нутре-то осталось, одни обрезки! Нынче бабе рожать невозможно. Ей туда понакидали железа, откуда здоровому человеку родиться! Вот они и родятся, дурачки малахольные!

— Мы другими были. Я как в церкви со своим Николаем обвенчалась, так больше в жисть ни на кого не смотрела, а он неверный был, к ткачихам на нитяную фабрику бегал. Уж после, как помирать, прощения у меня просил.

Отец Афанасий думал, что жизнь его укладывается в несколько евангельских притч. О гордыне, о блуждании впотьмах, о прозрении, об оскудении веры. Его путь есть неверное робкое восхождение, где каждый шаг грозит падением и пропастью. Только один поводырь, ангел небесный, способен его охранить.

После психушки, больной, напуганный, страшась любого окрика, пристального строгого взгляда, он скитался, не находил себе места. Работал мусорщиком, убирая помойки. Грузчиком, разгружая вагоны с цементом. Почтарем, разнося газеты в поселке. Пробовал давать уроки истории нерадивым школьникам. Пробовал шабашничать, строя кирпичный коровник. И все искал, куда бы приложить свою мятущуюся поднадзорную душу. Читал книжки по оккультизму и йоге. Одно время зачастил в баптистскую молельню, где в чистенькой светлой зальце собирались верующие, распевали на слова старинных романсов свои религиозные песнопения. Однажды зимой, на Смоленщине,

в раскаленных белых снегах он забрел в разрушенный храм. Стены обвалились, в оконшках торчали ржавые прутья, столпы были в копоти и сквернословии. На полу валялся скелет убитой собаки. Но под сводами храма высоко сохранилось деревянное распятие. Христос смотрел с высоты на оскверненный храм и на него, замерзшего путника, не имевшего на земле отцов своих ни угла, ни приюта. И там, в разрушенной церкви, среди мерзости запустения, он пережил прозрение. Ему открылся смысл Христа, Распятого, подобно России Распятой, и он сам в своих бедах и муках был частичкой Христовой судьбы. Он крестился и уже не искал для себя иной веры и иного прозрения, кроме веры и прозрения во Христе.

Христос был образом сегодняшней русской жизни. Рождался в ней поминутно, проповедовал, был предаваем, восходил на Голгофу, умирал на кресте, воскресал к жизни вечной. Отец Афанасий писал свою нерукотворную незримую икону, ставил в невидимый иконостас, окружал золотыми виноградными листьями, развешивал пылающие лампады. Икона была — «Тайная вечеря».

Христос собрал учеников в крохотной комнатке общежития. Тянет с коммунальной кухни подгорелым луком, кричит за стеной ребенок, бранится внизу комендантша. За тесным столом уместились — рабочий-монтажник, раненный в Афганистане солдат, спасатель, облученный в Чернобыле, бездомный лимитчик, отпущенный из колонии «зэк», и он сам, недостойный, приглашенный к последней вечери. Нетронута трапеза — клубни картофеля, бутылка с подсолнечным маслом, остывший в стаканах чай. И еще им побыть всем вместе, насладиться последней беседой, последней зарей за окном. Пока не настало несчастье, не взревели дикие толпы, не забили в дверь кулаки, и крытый «воронок» у порога не стреляет голубыми дымками.

— Корова, должно, сегодня к ночи отелится,— говорила хозяйка.— Третий отел. В мои годы трудно корову держать. Последние луговинки застроили. Думаю, сведу на продажу, а потом смотрю, что есть-то буду? В магазине пусто, на одном молоке держусь. Вот и держу, и кормлю!

— Нынешний год большой голод будет,— отвечала соседка.— Озимые померзли, а весна — ни воды, ни травы. Что кушать будем, не знаю. В магазине продукт весь порченый, от него все болезни. В хлебе катышки синие, не пропеченные. А макароны в кипяток бросишь, черный сок пускают. Чего едим, сами не знаем.

— Вот и говорю, молоко-то свое. К ночи, должно, отелится.

Он крестился в маленьком сельском храме у больного священника, стоя босиком в холодной купели, видя, как льется дождь за окном, как клонится, падает обгорелая отекшая свечка. Остался при храме служкой. Растапливал печь, закладывал в кадило алые угольки и кусочки душистого ладана, стоял в алтаре на пасхалиях, помогая облачаться священнику в блеклые старые ризы. Учился обряду. За год экстерном сдал в семинарии курс, был рукоположен владыкой. Целовал его пухлые руки, чувствуя запах духов, слыша бархатный благостный голос. Получил в окормление самый дальний нищий приход, где на службы собирались десяток старух, два костлявых немощных старца и кликуша, испускавшая пену из губ.

Он служил, проповедовал, совершал требы, отправляясь по бездорожью в дальние деревни. Однажды зимой на сани, в которых ехал, напали волки. В другой раз утонул в половодье, долго болел, мучился кашлем. За чтением книг, за ночными молитвами пытался пробиться сквозь собственную глухоту, слепоту, к горнему свету, ко Христовой истине, прислушиваясь к душе, где вот-вот шевельнется, затеплится благодать. Но вместо этого — пустота и холод.

Христос не приходил в его сердце, а вместо благодати вдруг поразило его дикое пьянство. Он запил безобразно, страшно, извергая

прилюдно хулу на храм и на веру. Он не мог понять, что это было, откуда пришло к нему окаянство, словно вселился бес, наказывая за редкие благодатные в молитве минуты. Он убегал из села в лес, забивался под куст и тихо выл по-волчьи, чувствуя, как шевелится в душе косматый могучий зверь. Вставал на колени, молился среди болот и лугов, вымаливал себе спасение. И пьянство его миновало, как поветрие. Оставило без следа, словно жарко и чадно выгорела скопившаяся в сердце смола.

Прихожане простили его, не попрекали грехом.

Икона называлась «Несение креста».

Христос сгибался под тяжестью черного, пропитанного креозотом креста, сбитого из железнодорожных шпал и телеграфных столбов. Спотыкался, волочил по бетонке Распятие. Сзади медленно катил грузовик, и в открытом, с опущенными бортами кузове стоял тесовый гроб. Вдоль обочин толпились солдаты, дружинники в красных повязках, удерживали толпу. Христос волочил свою ношу мимо бензозаправки, кинотеатра, дома культуры. Репортеры выбегали перед ним на дорогу, делали снимки, пятились, освещали блицами исцарапанное с запекшейся кровью лицо.

Он двигался в гору, туда, где в тумане, в едких угарных дымах блестела и топорщилась свалка, покрытая строительным сором, обрезками металла, изношенными автопокрышками.

Люди из-за солдатского оцепления смотрели молча, тупо. Кто-то ел хлеб, кто-то сморкался. Матери поднимали детей на руках, чтобы им лучше видеть. И вдруг молодая женщина с тонким криком прорвала цепочку солдат, выскочила на бетон, протянула Христу полотенце. Не выпуская ноши, Христос наклонил лицо, припал к полотенцу, и на вафельной ткани открылся лик — слезы, раны и пот. По краям полотенца проступили неяркие васильки и ромашки.

— Ночью, говорят, на станцию вагон пришел с атомом. Рабочие пьяные разгружали, в озеро один ящик столкнули, а от него вода закипела. И сейчас кипит. Щуки, говорят, из воды на берег выпрыгивают, ошпаренные, без чешуи, с белыми глазами!

— Спаси Господи! Построили чудище нам на беду. Раньше по берегу малинник рос, за малиной ходили, варенье, компот делали. А сейчас в ту сторону смотреть страшно. Веришь, нет — я ее спиной чувствую! Сквозь стены мне спину жгет!

Послужив на сельском приходе, он был переведен в город, в кафедральный собор с великолепным золотым иконостасом, с голубыми струящимися куполами. Любил зимой в темноте по мягкому снегу идти пешком через город, обгоняя богомольных старушек, и когда подходил к собору, начинало светать, кресты слабо румянились в зимней заре. В его доме стал собираться православный кружок,— верующие учителя, инженеры, местный писатель,— малая община, посвятившая себя Христу. Они обсуждали положение православной церкви в России, гонения, разорения храмов и будущее неизбежное возрождение, когда воскресшая, подобно Христу, православная церковь снова станет светочем для русского народа, наполнит русскую жизнь высшим смыслом, спасет народ от погибели. Они, верующие русские люди, обратились к епископу с посланием, призывая его возвысить голос в защиту православия, против поборов и угнетения церкви. Он был тотчас вызван к епископу, отказался принести покаяние, был отлучен от храма, выставлен с прихода.

Христос висел на кресте. Его длани, стопы были пробиты железнодорожными костылями. Кувалда валялась рядом. Тонкие белые кости торчали из ран. Мухи сидели на ранах и пили кровь. Воронье кружило в дымном небе вялую карусель, дожидаясь, когда он умрет, чтобы сесть ему на лицо и клевать глаза и губы.

Огромная свалка серебрилась тусклым металлом, обломками ма-

шин и приборов. Дымились кучи мусора, чадно, жирно горела резина покрышек. Ватага подростков насиловала женщину, задрав ей на голову платье. Пьяные бродяги дрались и визжали, кидали друг в друга каменьями. Молодая мать рыхлила землю ножом, закапывала сверток с мертворожденным младенцем. Дефективные дети с водянистыми, раздутыми, как пузыри, головами кучкой сидели на корточках и смотрели, как едят лягушку муравьи.

Христу с высоты, сквозь обморок, слезы и кровь, открывалась окрестность. Лагерная зона, где теснились бараки и выстроились на поверку «зэки» в бушлатах. Дощатые казармы, где размещался стройбат, и солдаты разгружали для котельной уголь. Бурьянное поле, где работал роторный экскаватор, вытачивал бесконечную, уходящую за горизонт траншею.

Христос смотрел на людей, молил Отца, чтобы все они были прощены и помилованы, приняты в Небесное Царство. Но небо над Его головой было пустынно, в нем кружилась вялая карусель темных птиц.

— Кланька Ладошкина вчерась ко мне приходила, лавку в дом брала. Степана-то у нее две недели как током убило, а хоронить не дают. Каких-то судей ждут, вторую неделю в заморозке лежит. Кланька к санитарам сходила, два литра водки дала, они ей мужа и выдали. Завтра хоронить собирается.

— Мне Степка Ладошкин десять рублей остался должен. «Дай, говорит, тетя Шура, червонец, а Кланьке не говори, я тебе после занесу». Вот и занес. А я и не говорю. Чего ей теперь говорить про деньги, она и так вдовой с ребятишками сделалась. Ей теперь копейки считать.

После изгнания из храма он начал странствовать, ходил по земле, кормился, чем Бог дал. Иной раз подаянием, иной раз мелкой требой, иной раз нетяжелой работой. Он не томился своим скитанием, томился одним — не была ему дана благодать, небеса сохранялись закрытыми, и все его посты и молитвы не были услышаны Господом. Душа оставалась пустой, вера в душе чуть теплилась.

Он шел по летней дороге среди теплых цветущих полей, над которыми летали белые вялые бабочки. Впереди поднималась гора, зеленая на вершине, лиловая в подножии от множества ярких цветов. Был зной, хотелось пить, пить, ноги горели. Дойдя до горы, он увидел, что в синих цветах краснеет земляника. Он нагнулся, чтобы сорвать сочную, созревшую на солнцепеке ягоду. И то ли слишком резко нагнулся и закружилась голова, то ли вихрь стеклянного теплого воздуха оторвался от дороги, вознесся к прохладной вершине, но вдруг раскрылось над горою небо, и на вершине среди колеблемых трав встал ангел, высокий, прозрачный для света, с голубыми, развеянными в полете крылами. Сквозь его прозрачное тело голубели дали, озера, текли в высоте облака, и ангел, могущественный и прекрасный, нес ему небесную весть. О том, что он услышан, что муки его не напрасны, путь его верен, и дано ему проповедовать в людях мир и любовь. Ангел исчез, как явился. Вершина была пуста, таяло в небе лучезарное облачко, лежала на ладони красная ягода.

Отец Афанасий слышал, как уходит соседка, как охает, убирая со стола чашки, хозяйка. Улыбался, был светел и бодр душой.

Легкий, радостный, освеженный молитвой, отец Афанасий старался уберечь в себе чувство приближавшейся радости, благодатное, коснувшееся его дуновение. Вспомнил гору в цветах, явившегося на вершине ангела.

Услышал, как звякнула дверь, затопали за занавеской шаги. К нему заглянула взволнованная, возбужденная хозяйка.

— Кажись, телится!.. Батюшка, помоги Христа ради! Лампу будешь держать! — она протягивала ему керосиновую зажженную лампу.

Они вышли в сени, по ступенькам спустились в сарай. В темноте

стонала, шевелилась корова. От нее исходили густые теплые запахи. В свете лампы было видно, как страдает большое, отечное тело. Выпученные глаза, влажные дышащие ноздри, прикушенный розоватый язык — все было исполнено муки.

— Ну что ты, милая, что ты!.. Поднатужься!.. Господи, кажись, воды отходят!..— хозяйка схватила охапку соломы, трусила вокруг коровы.

Отец Афанасий поднял выше лампу, видел, как пульсирует, надувается жила под шелковой шерстью, как сжимается, перекатывается упругий ком живота. Корова вытягивала ноги, зарывала копыта в солому, длинно, тягуче мычала.

На солому, на белую шерсть живота, на тяжелое отвалившееся вымя вдруг хлынул поток, шумный, липкий, студенисто-блестящий. За ним толчками поплыла гуща, похожая на рыхлое красное тряпье. А затем возник пузырь, наполненный жидким стеклом. Прорывая его, показались крохотные, стиснутые вместе копытца. Они шли толчками вперед, просовывались, пробивались, выталкивались из горячего страдающего нутра. И вдруг плоский, липкий, золотой, в мокрых шерстинках теленок выскользнул на солому, поливаемый горячей, брызгающей вслед ему влагой.

Отец Афанасий наклонил лампу к соломе. Среди кровавой студенистой жижи увидел расплющенное, одноглазое, с голым костяным черепом существо, чьи передние крохотно-острые копытца были вытянуты вперед, а задняя часть безногого, усеченного тулова кончалась ластообразными отростками. Во всем облике новорожденного теленка было что-то лягушачье, земноводное, недостроенное и ужасное.

— Господи! — охнула хозяйка.— Дракончик родился!

Отец Афанасий глядел на одноглазое, безносое, выброшенное из коровы создание, изуродованное неведомой, проникшей во чрево силой, слепившей Божью тварь по какому-то другому, жуткому, присутствующему в мироздании закону. Рассудок его, еще недавно устремленный вслед за верой и молитвой на познание красоты и гармонии, вдруг помутился.

Он стоял, держа керосиновую лампу над уродцем. Корова лизала свое мертвое, истерзавшее ее внутренности чадо, тяжело вздыхала. Хозяйка прижимала руки к груди, протяжно выла.

Глава двадцать четвертая

Клавдия, вдова убитого крановщика Ладошкина, неделю ждала, когда вернут ей бездыханное тело мужа, чтобы оплакать его, наглядеться в последний раз на его суровое горемычное лицо и предать земле. Каждый день она ходила в больницу, где в маленькой кирпичной пристройке содержался мертвый крановщик, обивала пороги врачей, умоляя вернуть ей мужа, не живого, так мертвого. Но врачи, сначала сочувственно, а потом все жестче и строже, отказывали ей. Объясняли, что еще предстоит судебная экспертиза и люди, виновные в смерти ее мужа, должны отвечать по закону.

Дни шли, экспертизы не было, холодец, сваренный для поминок, таял, детишки изводили Клавдию вопросами, отчего не отдают им мертвого папу. Наконец, терпение ее лопнуло, и горе подсказало ей лукавый, но действенный ход. Она отправилась в морг, достучалась до глуховатого, заросшего щетиной, опухшего санитара, с поклоном поднесла ему кошелку с бутылками водки, и тот принял гостинец, а когда стемнело, выдал ей застывшее тело мужа, предварительно расчесав его редкий скомканный хохолок.

Всю ночь плакала и причитала Клавдия над безвременно ушедшим супругом. Винила бессердечное злое начальство, сначала погубившее мужа, а потом мешавшее семейству выплакать свое горе,

похоронить с миром успокоившееся навеки тело, из которого излетели навсегда буйство, пьяные куражи, мудреные затеи, среди которых последняя — полет на воздушном шаре — особенно тревожила и волновала Клавдию.

Утром знакомый водитель подогнал к дому самосвал. В железный кузов с прилипшим песком и гравием поставили гроб. Клавдия и двое ребятищек уместились рядом с гробом, прижимаясь к исцарапанному измятому железу. Самосвал медленно, осторожно, чтоб не растрясти «поклажу», двинулся через город на кладбище.

На автобусной остановке, поджидая транспорт на стройку, стояла толпа рабочих. Самосвал проезжал мимо толпы, и Клавдия, увидав из кузова множество живых, устремленных на нее лиц, среди которых мог бы быть и ее супруг, не ударь в него злополучная стрела электричества, запричитала, застенала, тонко, зычно, выкидывая вверх руки.

— Володечка, родненький мой, голубчик!.. Да что же они с тобой, злодеи, наделали!.. Какое же у тебя личико стало черным и побитым, а было оно веселым и красивым!.. И как же ты мне пел, да плясал, на гармошке играл!.. А теперь твоя гармошка на комоде лежит, и никто на ней не играет!.. И что же мы будем теперь с ребятками делать, им и башмачки теперь некому купить!.. И за что на нас свалилась така беда!..

Рабочие слышали крик вдовы, видели, как проплывает мимо кузов самосвала, как стоит в нем тесовый светлый гроб и виднеется из-под белой накидки синеватое лицо крановщика. И все, кто ни был на остановке, поснимали свои ушанки, кепки, подшлемники. Михаил Вагапов, стягивая шапку, вспомнил, как бился в застекленной кабине насаженный на острие Ладошкин, а он, Михаил, кинулся к его страдающему, убиваемому лицу, получив из кабины слепящий удар. Михаил почувствовал, как пробежала по телу судорога, поклонился крановщику, огорчаясь, что нет времени проводить его до могилы,— пусковая стройка звала бригады.

Самосвал медленно огибал толпу. Синеватое остроносое лицо покойника выглядывало из кузова, когда на бетонку, мигая вспышкой, с воем сирены выскочила милицейская машина. Обогнала самосвал, встала перед ним, оглушая толпу воем. Плотный грудастый сержант взмахом жезла остановил самосвал, закричал на испуганного шофера:

— Стоять! Стоять, кому говорю! А ну поворачивай! Следуй за мной!

Водитель мигал, разводил руками, пытался понять, в чем вина. Сержант был известен своей неукротимой энергией, с которой отлавливал на трассе подвыпивших шоферов, технику без путевых листов, беспощадно штрафуя, отнимая права, принимая иногда отступные в виде червонцев и трешек.

— Люди добрые! — заголосила вдова, вытягивая руки к толпе.— Да что же это они сотворяют! Над мертвым глумятся! Жить Володеньке моему не давали, полгода без прав ходил, семья на воде, на хлебе сидела, и после смерти покою не дают! До могилы довезти не дают!

— А кто тебе дал право брать тело? — кричал на нее сержант.— Где документ? За самовольное похищение тела тебя еще к ответственности привлекут!.. А ну поворачивай! — приказывал он шоферу.— Следуй за мной!

Детишки встали в кузове, тонко завыли. Вдова кинулась на гроб, на белую накидку, под которой твердо, окостенело лежал крановщик.

— Люди добрые, помогите! При жизни мучали и похоронить не дают! Да где же она, правда, в какой стороне! В какую могилу за ней спускаться? Да пусть нас вместе с Володенькой обратно в морг забирают, лучше нам с детишками в морге быть, чем с мучителями оставаться!

Толпа слушала, сжималась, сдвигалась на бетон, к самосвалу, к мигающей милицейской машине. Худой коротышка-парень в мохнатой шапке, в расстегнутом на груди бушлате выскочил из толпы, побежал к сержанту, глядя на него снизу вверх, закричал:

— Оставь женщину! Калым сшибить хочешь? На, клоп, соси нашу кровь! — он выхватил из кармана десятку, совал сержанту. Его лицо с вытаращенными ненавидящими глазами, с болявыми белыми губами дергалось лиловой вспышкой.

Из машины выскочили еще двое милиционеров, бросились на помощь сержанту. Сержант, отшатнувшийся было от парня, вдруг сильно ударил его в грудь. Парень не устоял, упал, мохнатая шапка его отвалилась от головы, покатилась. Бритая бугристая голова в болячках, залитых зеленкой, ударилась о мокрый бетон.

— Люди! — кричала из самосвала вдова.— Помогите!

Михаил Вагапов почувствовал, как горячая слепая ярость плеснула в глаза, вспыхнула, сжигая хрупкие перегородки страха и осторожности. Тяжелое душное бешенство превратило мир в два ярких белых бельма. Он шагнул на бетон, видя, как вместе с ним шагнула толпа, с рыком, хрипом, с кашлем из простуженных глоток. Поднимала тяжелые кулаки, пихалась локтями, валила к самосвалу. Поставили на ноги упавшего парня, раздавив его шапку. Схватили за шинель здоровяка-сержанта, в десять рук, пихая, тыкая под ребра, понесли к обочине, кинули в кювет, в мокрую лужу, швыряли ему вслед грязь, щебень, материли, костили.

Другие милиционеры, не добежав, бросились обратно к машине, сели, захлопнули дверцы. Но толпа была уже рядом, вокруг. Ревели, плевали, хватали за бампер, били кулаком в двери. Слепо, мощно подняли, отнесли к кювету, кинули вниз. Машина, перевертываясь, мигая вспышкой, шмякнулась на крышу, давя и гася пульсирующий лиловый огонь. Вращались беспомощно колеса, внутри ее колотились, стараясь выбраться, милиционеры.

— Езжай куда ехал! — приказал Михаил Вагапов водителю самосвала.— Все пойдем хоронить!

Набились до отказа в подошедший автобус, подстроились в хвост самосвалу. Останавливали проезжавшие грузовики, наталкивались в кузовы. Остановили «Беларусь» с ковшом, гусеничный бульдозер, бетономешалку, летучку со сварщиками. За гробом Ладошкина выстраивалась колонна машин. Все, кто катил на работу, на стройку, вставали в хвост, встраивались в колонну. Она протянулась далеко по бетонке, а к ней все пристраивались, врастали самосвалы, миксеры, колесные краны. Дымящий, грохочущий хвост окутывался гарью и копотью.

Михаил Вагапов подсел в кабину к водителю:

— Трогай!

Тяжелая медленная колонна, давя бетон, двинулась к кладбищу, подавая тягучие воющие гудки. В открытом гробу, удовлетворенное, строгое, со стиснутыми губами, твердыми, как орехи, веками, синело лицо Ладошкина. Дети ухватились кулачками за борт. Беззвучно подвывала вдова. Погребальная процессия, лязгая гусеницами, чавкая протекторами, вращая бетономешалками, разносила по округе угрюмый тоскливый вой.

На кладбище два полупьяных ханыги только приступали к рытью могилы. Тыкались в грязь, поглядывали на пустую мокрую бутылку.

— Вали отсюда, мокрицы! — прогнал их Михаил.— Эй, командир! — звал он водителя «Беларуси» с зубчатым ковшом.— Царапни здесь пару раз!

Народ высыпал из кабин и автобусов, смотрел, как экскаватор дерет грунт. Блестящие зубья ковша черпали рыжую глину, отекали жижей. Дергались, лязгали сочленения, напрягались поршни гидрав-

лики. Могила раскрывала свой зев, и Ладошкин, стиснув твердые веки, прислушивался к рыку механизма.

Гроб спустили с кузова, поставили на кучу земли. Вдова поправляла накидку, стряхивала с нее комочки упавшей глины.

— Товарищи, люди дорогие, все, кто пришел и доехал! — Михаил Вагапов видел, что люди смотрят на него, ожидают слов, указаний.— Мы прощаемся, опускаем в могилу нашего друга, коренного рабочего Ладошкина Владимира Тихоновича. Он был нам хорошо известен, вся его жизнь была на виду, ничего не скрывал! Работал на кране, подтаскивал нам, что нужно, давал фронт работ. Был безотказен, делал, что кто попросит. Бывало, видели мы его и веселым, под газком, как говорится, шапка набок, и тогда он нам рассказывал, какая у него жизнь и семья, какая у него надежда! — Михаил со своей земляной трибуны видел строгое, синевато-стальное лицо Ладошкина, похожее на отливку, рыжие стенки могилы со следами зубьев, молчаливо внимавшую толпу.— А надежда на жизнь у него была одна, чтобы было в ней больше правды, чтоб не гоняли нас, как баранов, чтоб уважали рабочего человека, чтоб не совали в нос мятую деньгу, а дали бы вздохнуть грудью. Он хотел Родину свою, детишек, жену обеспечить красотой. А для этого надеялся построить шар и взлететь в небо. Но вместо этого попал под ток, и его сразило! И вот теперь он, сраженный, уходит от нас в землю, и нам завещает не покоряться! Потому что рабочий человек — не кнопка, на себя давить не позволит! И знай, Владимир Тихонович, мы еще полетим в небо!.. Пусть земля тебе будет пухом! Спи, отдыхай от работы! О детишках твоих позаботимся!

Вагапов сошел с земляной кучи, а вместо него вскочил парень, тот, кого ударили на бетонке. Он был без шапки, на бритой бугристой голове пестрела зеленка. Вывороченные болявые губы дергались слюной:

— Ладошкина убили нарочно!.. Под ток подставили, потому что знал, как начальство ворует!.. Вагонами отправляют ворованное!.. Дома хрусталями, коврами набиты!.. Мы как свиньи живем, три дня зарплату не платят!.. Почему? Куда рабочие деньги идут?.. Жрать нечего, одёжи нету, бутылку и ту не купишь!.. Жить не хочу! И меня вместе с Ладошкиным! И меня закопайте! — он забился в истерике, стал заваливаться. Его подхватили на руки, отнесли, и он лежал на чьей-то постеленной робе, бился, сучил ногами, и из губ его лилась пена.

— Закрывай! — скомандовал Вагапов. Двое рабочих накрыли гроб, стараясь не задеть, не толкнуть вдову, стали вколачивать в крышку длинные гвозди, а вдова хватала худыми руками строганые доски.

— Опускай!

На железных тросах, осыпая глину, стали опускать гроб в могилу. Все столпились, смотрели, как рукавицы перебирают плетенку троса. Сальная, в заусеницах сталь впилась в тесовые доски. Гроб опускался в рытвину с драными кромками, косо садился на глыбы земли.

— Володя, прощай, и мы там будем! — пожилой рабочий в ватнике кинул на гроб горсть песка.

— Давай, Володя, отдыхай,— другой, закопченный, весь из жил и костей, пустил вниз шмоток мокрой глины, держал над могилой открытую ладонь, липкую от грязи.

— Прости что не так! Ссорились много, а доброго друг другу сказать не успели! — бригадир в собачьей шапке нагнулся, ссыпал вниз несколько горсток земли.

— Володя, Володечка, да куда же ты от меня убегаешь!.. Да побудь со мной хоть маленько!.. Да как же я здесь без тебя проживу!.. Да кто же с Валечкой, с Петечкой будет теперь заниматься!..

— Засыпай! — Михаил Вагапов махнул в кабину бульдозера.

Толпа расступилась, давая ход грязно-рыжему гусеничному трактору с блестящим избитым ножом.

Бульдозер дернулся, опустил нож, двинул вперед груду земли. Груда ахнула с шумом в могилу, гулко накрыла гроб. Закричала громче вдова, и, заглушая ее стенания, загудели сигналы, мощно, хрипло, так что враз взмыло воронье над кладбищем. Несметный вороний грай, опустившийся накануне на город, взлетал с деревьев, крыш, помоек, высоковольтных мачт. Наполнил небо черным живым месивом, водоворотами, клиньями. Сшибались, орали, возносились черными протуберанцами, осыпались ворохами до земли, снова взмывали, исчеркивая небо бессчетными рваными траекториями.

Бульдозер ходил взад и вперед, наполнял могилу, набивал ее до краев. Въехал на холм и стал трамбовать, крутиться на гусеницах, поворачивая нож во все стороны, словно завинчивал огромную гайку, закупоривал навсегда. Люди стащили с голов шапки, слушали гудки и сирены, воронье карканье, смотрели на пляшущий бульдозер.

Сварщики вытащили из летучки баллоны с газом, открыли вентили резаков. Наспех сварили из арматуры памятник, похожий на маленькую нефтяную вышку. Поставили на могилу.

Стихали гудки, разрывало свой черный полог воронье. Детишки смотрели на рыжую, в следах гусениц землю, укрывшую их отца, прижимались к матери. А та ловила расходившихся по машинам людей, зазывала:

— К нам на поминки, пожалуйста!.. Холодечка, холодечка откушать!..

Той же колонной, с лязгом, выбрасывая синюю гарь, возвращались с кладбища. Михаил Вагапов сидел в головном самосвале, оглядывался на железный хвост машин, на тупые радиаторы, переполненные автобусы. Чувствовал — люди за баранками смотрят на головную машину, ждут указов. Достигнуть ли развилки, двинуть по бетонке на станцию, рассосаться по котлованам и свайным полям, продолжить угрюмый труд среди бетонных теснин и провалов. Или отметить тризну, помянуть убитого товарища.

В колонне среди железа и гари перекатывались волны негодования, сгустки раздражения, вспышки ненависти и протеста. Михаил был волен рассеять их, распустить по блеклым полям, тощим осинникам, свалкам железа и мусора. Или охранить и умножить, защититься ими от жестокого, тупого бытия, выстоять перед слепой, сгибавшей их силой, той, что убила Ладошкина.

Они приближались к перекрестку. Водитель косился на него, безмолвно, как и все, вопрошал, что делать, куда рулить,— на станцию? В город?

— В город! — приказал Михаил. Водитель крутанул руль, радостно двинул к домам, прочь от туманной станции. И вся колонна, вываливаясь на бетон, с лязгом, стоном двинулась в город.

Прошли по центральной улице к площади. Запрудили проезжую часть, тротуары. Люди выскакивали, клубились вокруг моторов. Ждали слов, искали глазами какой-нибудь знак и сигнал. И уже отбрасывали борта у грузовика, уже подсаживали Михаила на дощатый, усыпанный кирпичными крошками кузов, протягивали ему жестяной самодельный раструб, в какой кричат у железнодорожных переездов обходчики. Стоя над толпой, поверх голов, он прижал к губам кисловатую жесть, набрал в легкие воздуху, выкрикнул:

— Не пойдем на работу!.. Хватит пахать!.. Пускай начальство придет, и мы его спросим!.. Кончено, забастовка!..

Толпа откликнулась ревом. Завыли гудки. Окна домов сотрясались от воя. Выглядывали женские лица. Из дворов и подворий сбегались люди. Очереди у магазинов рассасывались, вливались в толпу.

— На стройку сообщить бригадам — пусть бросают работу!.. Приказ забастовочного комитета!.. Бросай работу к чертям!

Вибрировал металлический раструб, превращая дыхание в мембранные, нечеловеческие, записанные на железе слова. Михаил чувствовал, что он одолел последнюю преграду робости, в ней пробита дыра, и в эту дыру, толкая его вперед, устремилась жаркая, сокрушающая воля толпы. Не он управляет этой волей, а она подхватила его мощно, несет впереди себя. И уже появился первый, намалеванный красным плакат: «Забастовка есть!», и второй, намалеванный черным: «Рабочий, ты не кнопка, а человек!»

Выли гудки и сирены, разнося по Старому и Новому городу, по стройке и железной дороге грозную весть.

Глава двадцать пятая

Вначале был мертвый закостенелый Ладошкин, его коричневые, как грецкие орехи, веки. Потом вокруг Ладошкина возникла кучка милиционеров и кричащая вдова с ребятишками. Потом их окружила стоящая на остановке толпа. В нее влились катящие по трассе машины, утренняя смена рабочих. Потом железные машины, клубящийся люд заполнили кладбище, сдвинулись к могиле Ладошкина. Теперь же на площади вокруг открытого кузова, на который забирались ораторы, кричали в железный раструб, скопилась громадная черная масса. Своей гравитацией, своим могучим магнитом затягивала в себя бегущие группы людей, торопящихся на металлический зов одиночек.

Толпа на площади разрасталась, невидимая помпа высасывала людей из домов, выкачивала из магазинов, контор, оголяла стройплощадки, бетонный завод, автохозяйства, железнодорожную станцию. В воздухе неслась горячая, раскаленная весть, будила сонных, трезвила хмельных, пьянила бодрых и трезвых. Люди, еще не ведая, что их влечет, что гудит и глаголет жестяная труба, кидали машины, вибраторы, отбрасывали резаки, шлифмашинки, отпускали рычаги и баранки. Мчались, торопились на площадь, вливались в толпище.

Машины и бульдозеры залипли в толпе. Люди стояли на радиаторах, на крышах кабин. Уже не жестяная труба, а цветной мегафон был в руках у ораторов. Трепыхался над трибуной прибитый к двум тесинам плакат: «Бастуем до упора!» Милиционеры толпились в стороне, хоронились за углами домов, что-то шептали в маленькие усатые рации, рапортовали, доносили, просили указаний и помощи. Но их слабые сигналы не достигали цели. Все глушил ахающий, улетающий в небо гул мегафона.

Протолкалась, пробилась, проточилась сквозь толпу, оставляя клубящийся след, женщина в едкой лиловой косынке. Взобралась по стремянке на трибуну, выхватила у Михаила мегафон. Маленькая, в брезентовых штанах и куртке, раздутая в груди и бедрах, забрызганная известкой, похожая на тряпичный мяч, из которого выглядывало косоглазое злое лицо.

— Чего жрем!.. Чего в магазине купляем!.. Кости, гнилушки тухлые! Языки синие, во! — она отвела мегафон, высунула синий раздутый язык. — А начальство с черного хода на машинах подъезжает, кульки с ветчиной таскает!.. Завмагша шесть кошек держит, икрой кормит, а я детишкам третий месяц капли молока не найду!.. Что ж, мои ребяты хужей ихних котят?.. Глаза ей выдрать когтями! — она замахала растопыренной пятерней, словно выскребала ненавистные, на сытом лице, глаза.

Другая женщина, в пуховом, как цветок чертополоха, платке, в клеенчатом негнущемся пальто, в сапогах с расстегнутыми молниями, сменила первую:

— Одёжи нету!.. Одёжу под прилавком держут, требуют наценки

сто рублей!.. Где взять?.. Они за прилавком стоят, жопы в джинсы одели, на тебя не глядят!.. А чем срам прикрыть?.. Ниток нету, иголков нету!.. Страна Россия самая богатая в мире, а русскому человеку неча в рот положить!

Выскочил растрепанный, растерзанный мужичок, огрызался, как кобелёк. Перехватил мегафон, стал бить себя в грудь, в красный свитер:

— Вы, комитет! Наказ от народа! Ступайте в продмаг, в промтовары, пошуруйте в кладовках, тряхните воров!.. И нам сюда доложите, что нашли!.. Будем судить торговлю и начальство, которое торгашами куплено!

— Воров к ответу!

— Колбасу в зад!

— Завмага на ветчину!

Михаил Вагапов подчинялся веленью людей. В очереди к мегафону стоял дюжий плечистый монтажник; щуплый, продрогший до синевы инженер; щетинистый в оранжевой куртке дорожник. Михаил Вагапов тыкал им пальцем в грудь:

— Ты, ты и ты!.. Берем машину! В продмаг! Нарукавники из красной тряпки!.. Вперед!

Подкатили к стекляшке магазина. Михаил в кабине с водителем, поправлял красную повязку на локте. В кузове битком рабочие, штукатурщица в лиловой косынке. Спешились у магазина. Завмаг, молодая, с маленькой красивой головкой, с пышным, раздающимся книзу телом, откормленная, сдобная, преградила им путь.

— Не имеете права!.. В милицию буду звонить!.. Сигнализация!.. Это разбой!

— Молчи, корова! — штукатурщица надвинулась на нее морщинистым лицом, коричневым от солнца и ветра, теснила ее жестяной забрызганной робой, ненавидящими глазами, торчащими скулами.— Рабочий контроль!.. Веди, жаба, в кладовку!

— В милицию позвоню! — хватала заведующая телефонную трубку. Но железная ручища ударила рычажки.

— Веди в кладовку! Некогда с тобой брехать!

Снаружи раздавался ровный рокот. Отдаленно, бессловесно гудел мегафон. Заведующая затравленно озирала столпившихся угрюмых людей.

— Будете отвечать!.. По закону! — она достала из шкафа связку ключей, отдала Михаилу.

Все вместе прошли мимо пустых прилавков, где под стеклами на нечистых подносах запеклась сукровь и слизь, мимо ящиков с остатками гнилого зловонного лука. Миновали выложенный кафелем коридор, спустились по бетонным ступенькам, прошагали по гулкому подземелью, остановились перед железной дверью с навешенным амбарным замком. Михаил, угадав, выбрал из связки ключ, отомкнул, и они шагнули в озарившееся светом пространство.

Пахнуло сладкими дымами, горьковатыми тминными ветерками, нежной дразнящей остротой приправ и солений. На шестах, крюках, на протянутых веревках висели смуглые окорока, золотистые копчености, розоватые колбасы, мясные кренделя, слоеные мясные рулеты, поросячьи головы с поджаренными ушками и дырчатыми засмоленными рыльцами. Связками, вниз головами, свисали серебристые рыбины. Пестрели на полках консервы крабов, высились банки с иностранными наклейками. Грудились картонные ящики с винными и пивными этикетками. В кладовке было тесно от выставленных богатств. Каждый кус мяса, каждая прокопченная косточка излучали нежный янтарный свет, источали аромат, от которого у вошедших кружилась голова, туманились глаза, вязко, влажно становилось под языком.

— Матушки! — ахнул рабочий в картузе, потянув к рыбине расто-

пыренную ладонь, как ребенок тянет руки к елочной игрушке.— На зубок бы попробовать!

— Стоп, убери грабли! — оборвал его другой, тощий, с дергающимся кадыком.— Опись, до последнего грамма!.. Пусть народ знает, что жрут живоглоты!

Михаил Вагапов, как вошел, окунулся в дымные ароматы и запахи, уткнулся глазами в невиданные прежде яства, в зрелище заморских ярлыков и наклеек,— испытал подобие страха. В этом потаенном хранилище среди укрытых от света богатств таилась огромная пугающая тайна, скрытая изнанка жизни, которую ему не показывали. Он со своей шлифмашинкой, брезентовой робой, комнаткой в общежитии, с тесным дребезжащим автобусом, был по одну сторону бытия, где обитало большинство известных ему людей. А другая сторона, скрытая от него замками, засовами, запретами, бесконечным гулом уговаривающих, увлекающих, лгущих ему голосов,— эта изнанка была невидима. Здесь, в темном чулане, лишь показала ему свой малый золочено-янтарный ломтик.

Точно так же, в Афганистане, после месяцев грязи, голодухи, снайперских пуль, поносов, гепатитных обмороков и кровавых бинтов, они сошли на аэродроме, где стоял под заправкой самолет генерала. На борт грузили ковры, сервизы, ящики с магнитофонами, шкуры пушных зверей, и один из тюков распался, и из него посыпались шкатулки и вазочки, усеянные драгоценными камнями. Трофеи, добытые на войне генералом.

— Все на карандаш! — приказал Михаил.— Взвесить, пересчитать!.. А этой,— он кивнул на белогрудую, пышущую ненавистью заведующую,— расписку от забастовочного комитета!.. Распределить по детским садам, в больницу, матерям-одиночкам, многодетным семьям, а остальное — рабочим в столовки!

— Не дам! — заголосила заведующая, открывая в крике свой маленький в перламутровой помаде ротик.— Через суд!

— Молчи, сука! — штукатурщица хлопнула ей на губы свою заржавленную с изъеденными ногтями пятерню, запечатала ее крик, резанула по ней синими косыми глазами.

Сырая толпа колыхалась на площади. С неба осыпался мельчайший дождь, наворачивался мглистый туман. Но тучи вдруг распались, и в пролетающий синий прогал бил одинокий слепящий луч. Выхватывал из толпы лица, шапки, стекла машин, говорящего на трибуне оратора. Обегал толпу огненным нетерпеливым зраком, облучал, поджигал и снова скрывался в тучах. Небо смыкалось, наступала мгла. Но толпа хранила прикосновение луча, кипела, светилась, словно в тигеле бурлил расплав, сжигал края тигеля.

В кузове топтался огромного роста сварщик. Защитные очки его болтались на груди. Он прижимал мегафон к квадратным губам, хрипел, скрежетал, и казалось, он грызет мегафон зубами.

— Потряси начальство, пусть скажет, сколько на лапу берет! Квартирные взятки хапает! Я двадцать лет железки варю, дома сдаю под ключ, а живу, как бродяжка! Пусть скажут, за сколько исполком купили, профком, партию! Повыкидывать их из домов! По адресам пойдем, у меня в бумажке записано! Мы поживем в коттеджах, а они пущай углы поснимают!

Всклокоченный, похожий на облезшую птицу бульдозерист, тот, что засыпал могилу Ладошкина, вылез, захлопал себя по бедрам:

— Пусть про экологию правду скажут, а то врут, скрывают! Щуки без чешуи в озере плавают, лысые на берег выпрыгивают! Вчерась у тетки в слободе теленок родился без ног, с лягушачьей пастью! Топливо на блок завозили, стержень в воду спихнули, вода как ртуть

светит, а мы эту воду пьем! Пусть счетчики раздадут, чтоб воду из-под крана простукивали!

Луч вырывался из неба, прочерчивал по стиснутым головам, рисовал на них вензеля и иероглифы, уносился в поля. Михаил Вагапов чувствовал, как накапливалась в толпе гремучая едкая страсть, была готова рвануть, ударить по соседним домам, коттеджам, магазинам, складам горючего.

— Михаил! — к нему протиснулся Накипелов, озабоченный, взволнованный, поворачивал по сторонам исхудалое, плохо выбритое лицо.— Народ со стройки ушел. Машины брошены, пар, электричество, инструменты. Беды бы не было! Надо взять под контроль объекты. Отряди людей, мои мужики из треста помогут!

И опять Михаил покинул бурлящую площадь. Похватал людей, приказом, взмахом руки посадил в автобус. Там же рвали на лоскутья заляпанную чернилами скатерть, мотали на локти. Объезжали затихшую, обезлюдевшую стройку, выставляя у объектов пикеты: у ворот цехов, автобаз, у покинутых экскаваторов; брали под охрану склады, материалы, электрощиты, колодцы с паропроводами. Станция уступами, цилиндрами, пирамидами вздымалась в серое небо, обнесенное защитной сеткой. В проходных, блокируя входы, стояла вооруженная вахта. На бетонной башне с вмурованным, ожидавшим пуска реактором светлело, как фреска, пятно. Огромный медведь поднялся на задние лапы, навис над стройкой, раскрыв свой зубастый зев.

На озерном берегу среди черной ноздреватой земли работал японский бульдозер, оранжевый, в мягкой попоне, с клыками, дерущими грунт. Упирался стальными мышцами, дрожал гусеницами, вел сквозь землю драный бугрящийся след.

— Глуши! — Михаил встал перед носом бульдозера.— Кончай работать! Бастуем!

Машина отражала Михаила в металлическом зеркале, отпечатывала на синей стали ножа его изогнутую, с поднятыми руками фигуру. Бульдозерист заглушил мотор, спрыгнул, держа ключи зажигания.

— Бастуем? А жрать что будем? Мне начисляют с кубометров и человеко-часов, а вы мне с человеко-хренов начислите! — разогревшийся в теплой кабине, бульдозерист ворчал, ежился на ветру.

К ним по лужам, залипая в глине, подбегал человек. Лазарев, в съехавшем берете, с поднятым воротником, в перепачканных туфлях, задыхался, хрипел:

— Почему прекратил работу?.. Вы кто такие?.. А ну пошли со стройки!..

— Не кричи,— дружелюбно, примирительно ответил пожилой монтажник, выгибая локоть с красной перевязью.— Покаместь бастуем, власть комитета. А вот отбастуем, придем на работу, командуй нами, пожалуйста!

— Как фамилия?.. Уволю к чертовой матери!.. А ну, заводись! — набросился он на бульдозериста, гневный, несчастный, простуженный, чувствуя свое бессилие, ненавидя этих бестолковых, бездельных, здоровых людей, готовых по недоумию и прихоти остановить не просто бульдозер, а все строительство, всю энергетику, всю индустрию, сложные, мучительно создаваемые проекты и замыслы, на которые ушла его жизнь в стремлении возвести среди унылых тусклых пространств, гибнущих гнилых деревень, бесцветного, разучившегося жить и работать народа,— возвести из последних усилий могучее диво станции. И теперь этому возведенному диву грозит опасность. Стомерное, могучее, мудрое, очутилось во власти безмозглых тупиц с красными грязными тряпками. Он ненавидел их, кричал на ветру:

— Заводи, кому говорю!.. Саботаж!.. Уволю!.. Солдат позовем работать!..

Михаил Вагапов вспомнил недавнюю встречу с Лазаревым, свой

обморок. Испугался, что в ответ на оскорбляющий крик испытает слепую ярость. Но ярости не было, а было презрение. Синий от холода, перепачканный в земле человек был не страшен. Не в его руках была теперь власть, не он сжимал рычаги управления, не он владел ключами от жизни.

— Дай сюда ключи зажигания,— сказал Михаил бульдозеристу. Тот кинул ему на ладонь звонкую связку.— Кончим бастовать, зайдешь в комитет и получишь.

И снова бугрилось на площади косматое толпище. Два мегафона, красный и желтый, были в руках выступающих, дули, брызгали на две разные стороны. Ораторы стояли спиной друг к другу, посылали над головами свои клекоты, стоны, проклятья.

Луч прорывался из неба, впивался в толпу, в ватные телогрейки, мохнатые шапки, и казалось, пропитанная маслом и бензином одежда вспыхнет, и толпа загорится.

Выступал худощавый мужчина в джинсах и кожаной кепочке, показавшийся Михаилу знакомым. Видел его то ли в конторе, то ли в очереди, то ли в автобусе,— мелькали его бородка, джинсы и кепочка.

— Граждане России! — торопливо говорил человек.— Наступает великий час нашего пробуждения! Падают цепи коммунистической диктатуры! Освобожденный прозревший народ требует для себя конституционных прав и гарантий! На развалинах большевизма создадим цивилизованное государство, достойное человеческой личности! Долой партократию, угнетающую народ! Да здравствуют парламентские свободы, право на труд, на землю, на здоровье, на свободу вероисповедания! Заводы — рабочим, землю — крестьянам! Власть — народному фронту!

Другой человек, спиной к первому, в долгополой шинели и кирзовых сапогах, без шапки, с копной раздутых волос, тоже казался знакомым. Михаил видел его то ли в общежитии, то ли в кинотеатре, то ли в бытовке,— его военную со споротыми погонами шинель, его кирзовые солдатские сапоги.

— Братья, русские люди! Сбросим с многострадального тела России сионистских клопов, кровопийц, сосущих наши соки и жизнь, повинных в наших национальных катастрофах и бедах. Пусть скажут сионисты-торговцы, почему они устраивают саботаж с продовольствием и морят русский народ голодом! Пусть скажут сионисты-инженеры, почему они учиняют аварии на атомных станциях и нефтепроводах, заражая на сотни лет исконные русские земли! Пусть скажут сионисты-писатели и музыканты, почему они наполняют экраны телевизоров и страницы журналов отвратительной разрушающей нас музыкой и литературной блевотиной! Россия для русских!

Толпа, обдуваемая этим двойным, на разные стороны распахнутым вихрем, гудела, урчала, возносила вверх кулаки.

— Слушай, Серега,— Михаил обратился к брату, стоявшему внизу у кузова, молча, истово внимавшему выступающим.— Бери ребят из бригады, поезжай в Старый город, в винный магазин. Опечатай всю водку, запрети торговать вином. Поставь двоих наших, которые понадежней. А я в микрорайон смотаюсь, там замок повешу. А то быть беде!

Брат послушно кивнул, и машина с дружинниками покатила в Старые Броды опечатывать винный лабаз. А сам Михаил с дружками на второй машине заторопился к винной стекляшке.

Торговля водкой еще не начиналась, магазин был закрыт, перед дверью вытянулась корявая нервная очередь. Михаил протиснулся к дверям, ударом кулака стал вызывать продавщицу. Та появилась, прижала к стеклу толстое сплющенное лицо, вглядывалась в смельчака, посмевшего нарушить неписаный закон ожидания.

— Чего расстучался? — хрипло крикнула торговка.

— А ну открывай! Рабочий контроль! — Михаил сунул ей в нос красную повязку.— Открывай, а то снимем с петель!

Торговка, привыкшая к подобострастному служению и подчинению, угадала чужака, на которого не распространялось ее владычество. Открыла дверь, и дружина, слыша напутствие очереди: «Давай ее, толстозадую, пощупай! Торопи ее, мымру, пусть открывает!» — вошла в магазин.

Пол был заплеван, в углу громоздились деревянные ящики, и на них стоял грязный, бурого цвета стакан. Полупьяный грузчик трясущимися руками перетаскивал ящики с ячейками, в которых звенели бутылки. Тут же топтались два бородатых горбоносых цыгана, принимали у грузчика бутылки, перекладывали в кожаные кошелки.

— Что за торговля? Кто такие? — Михаил надвинулся на цыган, заслоняя дверь черного хода.— Отовариваетесь левым товаром? Опять на вокзале нелегальный разлив устроили?

— А ты сам кто будешь, хороший? — цыган улыбнулся, показывая в черной, как гудрон, бороде желтый блеск золота.— Хочешь выпить, налью!

— Торговлю не открывать! — приказал Михаил продавщице.—Магазин на замок! Складскую дверь — тоже! Давай ключи!

Та набрякла тяжелой дурной злобой, собираясь кричать и спорить. Но вошедшие были не похожи на тех, кто клубился перед ней у прилавка, умолял, заискивал, отвечал на ее грубость льстивыми смешками. Эти были угрюмы, жестки, от них исходила враждебность, красные нарукавники горели во тьме.

— Да что вы, мужчины! Зачем закрывать! Вы мне план собьете! — заулыбалась она, раздвигая сизые щеки, показывая маленькие желтые зубы.— Правильно цыган говорит, нальем гостям! Для хороших людей коньячок найдется и конфетка «Белочка».

— Неси обратно в склад! — приказал Михаил грузчику, звякнувшему на прилавок полный ящик.— Давай, мужики, вешай замок!

Под брань и протесты продавщицы они затащили в склад приготовленную для продажи водку. Навесили на дверь железный замок, забрали ключи.

Вытеснили цыган через черный ход на улицу, отняли набитые до отказа кошелки. Михаил стал вытаскивать одну за другой бутылки, колол их об угол дома, отбрасывал горловины.

— Не воруй!.. Не спаивай!.. Не кормись на нашей беде!.. Не пей рабочую кровь!..

Цыгане молча улыбались, скалили в бородах золотые зубы, смотрели, как льется водка, натекает на асфальт прозрачная лужа. Михаил достал спички, чиркнул, кинул в лужу. Она оделась прозрачным голубым пламенем. Старик-алкоголик с тонким воплем кинулся на горящее зелье, обжигался, хватал голубое пламя, облизывал, обсасывал смоченные водкой ладони.

Глава двадцать шестая

Узнав о забастовке, Антонина в первый момент испугалась, решила оставаться на месте, не покидать профкома. Но за дверями в коридоре звучали шаги, крики. Под окнами пробегали группы людей. Машины и автобусы подбирали их, уносили в город. И она, влекомая этим общим потоком, захваченная силовыми линиями невидимого магнита, вскочила, наспех оделась, выбежала в серую знобящую сырость.

Она оказалась на площади, затянутая, закрученная в плотный рулет толпы. Не могла шевельнуться. Люди стискивали ее, кричали, гневно дышали, толкались. Она вслушивалась в мембранный рокот мегафона, старалась понять, в чем смысл грозного, окружавшего ее

действа. Хотела найти в нем место и одновременно пугалась, искала защиты.

Сначала говорящие подносили к губам мегафон, но потом поставили микрофонную стойку, подкатила, раздвигая толпу, машина с ретранслятором, и голоса отлились в колокольные со множеством отражений звуки, полетели над городом.

Антонина видела — на грузовик поднялся секретарь райкома Костров. Небрежно одетый, в какой-то полурасстегнутой куртке, в неновой истертой шапке. Лицо было бледным, больным. Прямая, уверенно-твердая фигура сгибалась. Казалось, он перенес тяжелый недуг, еще хвор, встал с больничной койки, чтобы влезть на этот открытый помост.

— Это я виноват, что народ забурлил! — его неуверенный голос, проглоченный металлическим рыльцем микрофона, был выброшен из рокочущей пасти ретранслятора.— Виноват, что в городе мало квартир, мало детских садов, плохое снабжение. Все внимание уделялось строительству блоков, сначала производство, а люди потом! — его голос окреп, в нем появилась страстная торопливость, словно боялся быть прерванным, сброшенным с кузова.— Виноват, что сгубили кругом природу, отравили леса, речки. Дал добро на строительство третьего блока, не выступил в обкоме с протестом. Виноват, что поддерживал силовые методы управления, не поддержал «Вектор», по-человечески не понял его. Виноват, что сегодня утром не вмешался, когда хоронили Ладошкина, милицейский наряд покатил на кладбище. Виноват!

Он медленно стянул с головы шапку, смял в кулаке, прижал к сердцу. Стоял с расстрепанными волосами, прижав к груди ком шапки.

Антонина испытала острую боль, сострадание.

— Виноват, что бросил учить детей, ушел из троицкой школы на партийную работу, а школу в селе закрыли. Родное село пустил под воду, затопил дом родной, и отец мой, Гаврила Васильевич, умер от горя. Я во всем виноват!

Он был похож на Пугачева или купца Калашникова, как их изображали в учебниках. Перед тем, как лечь на плаху, так же стояли на дощатом помосте с непокрытой головой, кланялись народу.

Антонина чувствовала, как он мучается, какой он несчастный.

— Не я один, партия виновата, за нее говорю. Всегда и во всем давила на народ, не слушала, считала себя выше, умней. А на самом деле не любила народ, не понимала народ, играла народом ради своих партийных заскоков. Виновата, что у народа отняли землю — разорили крестьянство. Отняли небо — веру в Бога. Отняли прошлое — народ темен, некультурен, беспамятствует. Отняли будущее — пьянствуем, болеем, тоскуем, уходим с земли. Партия пролила кровь народа, и в этом виновата страшной виной!

Антонина думала, что толпа взревет, прогонит его, закидает камнями, наградит проклятьями. Но было так тихо, что слышалось мембранное эхо, отраженное от дальних домов, крик воронья, витавшего над площадью, плач ребенка.

— Простите меня, если можете, а сам я себя никогда не прощу!.. Ухожу из города, из райкома, может, малую каплю долгов отдам. В сельскую школу детишек учить...

Он поклонился людям, стал слезать на землю, и кто-то из толпы помог ему слезть. Антонине было жалко его до слез, и люди кругом молчали.

Она увидела, как вскарабкался на грузовик Менько, почти неузнаваемый, не жалкий, не больной, не сутулый, не затравленно озиравшийся. А распрямленный, розовощекий, помолодевший. Голос его, обычно трескучий и жалобный, сейчас был молод, свеж, усилен громозвучным металлом.

— Правильно говорил Костров, партия во всем виновата! Нет ей прощения народного! Пусть заплатит за кровь, за кости, на которых стоит! За отца моего, которого в лагере вот на этих болотах палками насмерть забили! За дядьку моего, которого где-то здесь же на гверских болотах, в штрафбат загнали и на пулеметы пустили! Пусть партия ответит за революцию, в которую втянула народ! За гражданскую, на которой убили лучших людей России! За коллективизацию, где уморила голодом, переморозила миллионы кормильцев русских! За вторую мировую, которую по тупости и по злобе сама же и спровоцировала! За бедность, за дикость, за рабство, в котором нас держит! Чернобыль, Афганистан,— все она, партия наша родная, ум, честь и совесть эпохи! Надо судить ее, как судили в Нюрнберге!

Он говорил, растягивал рот, и казалось, он смеется, и смех его был жуткий, безумный. Антонина пугалась, чувствуя, как металлический смех пронизывает ее всю, достает сокровенного нежного центра, где таилось дитя, проходит сквозь него металлической вибрацией.

— Они держат нас в рабстве, потому что мы их боимся! Мы в страхе от них! Нам нужно сбросить страх, и пусть они нас боятся! Надо изжить из себя страх, который в нас проник от убитых и замученных отцов! Я боялся, а теперь не боюсь! Стреляйте, гоните в тюрьму, подвешивайте над огнем! Не боюсь! А вы, мои палачи, боитесь! Боитесь, что народ растерзает вас! В ваши золоченые кремлевские кабинеты, на ваши черноморские виллы будут водить экскурсии! Люди будут плевать на вашу драгоценную мебель, мочиться в ваши золоченые вазы! Вас ненавидит и презирает народ!

Антонине было страшно. Слова Менько были правдой, но правдой страшной, ненужной, обращенной против нее, против ее нерожденного чада. Преображение Менько было преображением раба в разрушителя. Его смех и радость были радостью мстителя. Она искала защиты, не находила ее.

— Пускай они натравят на нас милицию, пусть пришлют войска, наведут пулеметы! Мы больше не боимся! Нас поддержат в больших городах, на заводах, на железных дорогах! Мы хозяева, а не они! Если они сунутся сюда с пулеметами, мы захватим станцию и взорвем ее! И пусть они надевают свои бронежилеты и каски, пусть напяливают черные очки — мы им выжжем глаза! Превратимся в огонь и выжжем глаза палачей!

Он слез, упал в глубину толпы, и там, где он рухнул, открылась яма; где он шел сквозь толпу, взбухали черные буруны. Антонине вдруг померещилось страшное, неизбежное. Оно началось той чудной звездной прогулкой по белой ночной дороге, когда от вершин, от морозных светил что-то прянуло к ней, голубое, стремительное, овеяло ветром, словно счастливый ангел, а теперь превратилось в черное клокотанье толпы, в кричащее воронье, в неистовые жестокие силы, реющие над толпой. И уже не уйти, не спастись — эти силы ее настигли, нацелили в нее острие.

На помост выскочили размалеванные, разукрашенные люди, разнаряженные скоморохи, артисты клубной самодеятельности. Стали танцевать, ерничать, ходить ходуном. Исполняли какие-то смешные полускабрезные частушки, высмеивали начальство. Толпа хохотала, свистела, хлопала. Артисты, довольные, счастливые, не хотели уходить, повторяли свои куплеты.

Вышел местный поэт, напечатавшийся в многотиражке. Прочитал стихи о гласности, о том, что хватит молчать, хватит поддакивать, пусть все говорят, и тогда станет видно, кто есть кто. Ему аплодировали, ободряли. Он тоже не хотел уходить, читал стихи про любовь, про космос, про родную деревню.

На трибуну медленно, грузно поднимались старики в зимних шапках, в тяжелых застегнутых пальто. Вместе с ними — баянист, тощий,

носатый, с водянистыми, будто из пластмассы, глазами. Баяниста под руки подвели к микрофону. Старики встали за ним ровным строем. И с первыми стенающими звуками баяна запели. Расстегнули свои пальто, и под ними блеснули сочной латунью ордена и медали. Хор ветеранов, вторя слепцу-баянисту, пел:

Наверх вы, товарищи! Все по местам!
Последний парад наступает.

И толпа, сначала оцепенев, затаив дыхание, налилась этим грозным стенанием. А потом подхватила песню:

Все вымпелы вьются и цепи гремят,
Наверх якоря поднимают.

Единым дыханием и стоном, последней верой и отчаянием, обнявшись, тысячеликая, среди сирых полей, обшарпанных многоэтажек, промышленных складов и свалок, отрывалась от бренной земли в неведении путей, в своей обреченной молитве, неслась в поднебесье.

Антонина пела со всеми, и слезы текли по щекам.

К вечеру вдруг что-то случилось в природе. Весенний оттаявший мир с набухшими ожившими лесами, с сиреневыми опушками, на которых начинали зацветать золотые лучистые ивы, этот мир дрогнул, испуганно стал отступать, сжимать свои мягкие, наполненные листьями почки, останавливать струйки сока в стволах, прятать под коряги и пни проснувшихся бабочек. С неба из открывшейся полярной дыры повалил ледяной тяжелый воздух, клубящийся черный туман, от которого стало невозможно дышать, ораторы кашляли, задыхались у микрофона, а над толпой от множества дыханий клубилось облако непроглядного пара. Включили свет грузовики и трактора, сноп ртутного, направленного на помост света искрился разноцветным колючим инеем, и во тьме над черной толпой пролетали лезвия голубых лучей, в их перекрестии метался маленький гневный человек, вскидывая вверх кулачок, кричал: «Судить их, судить!». Голос, громогласно усиленный, был как вопль небесный, возвещавший Страшный суд; тень, отброшенная прожектором на стену дома, была как танцующий великан.

Ударил мороз, бетонка покрылась черным стеклом. Сталкивались с хрястом машины, перевертывались, летели в кювет. Несколько грузовиков с вывернутыми прицепами вяло крутили в воздухе колеса, из смятых кабин со стоном выползали водители.

Убегали из города несколько легковушек с цыганами, и все разом столкнулись, вертелись, ударялись одна о другую, вышвыривали на обочины бородатых златозубых людей, кипы материи, картонные ящики с пачками денег.

Замерзло озеро, стало тусклой вороненой гладью. В воду вморозились ветка цветущей ивы, желтые бабочки, рябые дуновения ветра.

Зима пришла посреди весны, и митинг на площади оказался среди зимы. Лучи, достигая ораторов, переливались спектрами льда. В воздухе от фонарей, от высотных прожекторов возносились ртутные колонны света, превращались в кресты, в кольца, в шаровые молнии. Над городом в дымной мгле возникли видения света.

Лазарев, пробиравшийся со стройки в город, без машины, без автобуса, увидел: из клубящейся мглы, опираясь на чуткие щупальца, явилось студенистое небесное тело, встало над станцией, пульсируя полупрозрачным нутром, и он ужаснулся, бежал по обочине, оглядываясь на огромную плавающую в небе медузу, приплывшую из бездонного Космоса.

Чеснок, улизнувший из толпы, злой, веселый, радуясь поднявшейся смуте, рыскал по микрорайонам, надеясь сшибить стакан водки. И вдруг увидел — по небу, прозрачный для лучей, созданный из тумана, как дух, скачет огромный пес. По крышам, по трубам, по про-

водам, волоча за собой полусодранную мохнатую шкуру. Гонится вслед за мучителем, хочет напасть. Чеснок бежал от него, спасался, а пес настигал бесшумными по небу скачками.

Горностаев внутренним слухом, височной костью слышал треск разрушаемой стройки. Словно скрытые в бетоне крепи, железные, опоясывающие реакторную башню, начинали рваться, хрустеть. Лопались стальные волокна, трещина бежала по монолиту. Было слышно страдание разрушаемых корпусов и машин.

По мере того, как пустела стройка, оголялись рабочие места, переполненные автобусы увозили бастующих в город, этот треск становился слышнее. Горностаев слушал звуки крушения. Они вызывали в нем не ужас, а угрюмую ярость отпора. Построенная им махина выходила из повиновения, люди, собранные для огромного коллективного дела, теряли волю и разум, становились неуправляемыми. И он искал способ вернуть их в разумное управляемое состояние.

Он звонил в милицию, надеясь побудить начальника отделения к решительным действиям. Но дежурный взволнованным голосом сообщил, что весь личный состав вместе с представителями рабочих осуществляют дежурство в микрорайонах, обеспечивают безопасность митинга.

Он звонил в автохозяйство, требуя, чтобы запретили автобусам курсировать между стройкой и городом и тем самым прекратился отток рабочих. Но ему отвечали, что водители поломали все маршруты и графики, сами курсируют от станции в Броды, помогая добираться бастующим.

Он звонил в исполком, надеясь получить информацию об истинном положении в городе. Но испуганная секретарша ответила, что предисполкома с утра покинул кабинет и больше не появлялся.

Он связался с дирекцией работающей атомной станции, убедился, что ритм работающего блока нормален, персонал обслуживает агрегаты, на диспетчерском пульте находится полный штат операторов. Просил усилить все вахты, полностью перекрыть доступ ко второму предпусковому блоку, обеспечить режим охраны всей зоны, прилегающей к станции.

Он связался с областью, проинформировал о событиях, но ответ был иронично-успокоительным: что-то о демократии, о неформалах, о временной митинговой болезни.

Он вышел на связь с министерством, разговаривал с Дроновым. Но тот, раздраженный, усталый, торопился на коллегию, упрекнул его в попустительстве бездельникам, в неумении обеспечить дисциплину.

Все звонки были попусту. По зданию управления прошумел вал голосов, топот и шарканье ног. Инженеры отделов покидали кабинеты. И когда все стихло, и не было слышно телефонных звонков, треска селектора, стука моторов за окнами,— все отчетливей, громче начинал раздаваться хруст разрываемых крепей, соединявших элементы конструкций, стягивающих стройку и город, землю и небо, его, Горностаева, с возведенной стомерной громадой.

Глава двадцать седьмая

Чеснок скучал и томился, работая на ржавых железных лесах, свинчивая кое-как мокрые шаткие трубы, подбираясь к лысому, расплывшемуся на бетоне пятну, напоминавшему медведя. Он кинул надоевшие трубы, гаечный ключ, когда увидел убегавших со стройки людей, услышал о забастовке.

Его вовлекла, закружила толпа, замотала в свой рулон, поставила на площади, и он, слушая стенание мегафонов, испытывал нараставшее возбуждение, восторг, будто в продрогшее тощее тело вливался хмель,

пьянил, ударял в голову, и он, не понимая причины этого возбуждения и счастья, откликался на проклятия, стоны, на вибрацию воздуха, на тысячную, единым духом дышащую толпу, исторгавшую ревы и гулы.

«Дураки!.. Ну, суки горбатые!.. Дождались!.. Ну, теперь заваруха!» — радовался он, всасывая сквозь зубы воздух толпы, словно пропитанный спиртом, присоединял свой крик и вопль к общему хрипу и грохоту. И когда выступала какая-то женщина, то ли врач, то ли медсестра, рассказывала о высокой детской смертности в городской больнице, о том, что за неделю при родах умерли два ребенка, Чеснок не удержался, сорвал с себя скомканный красный шарф, стал им размахивать:

— Гады!.. Палачи!.. Кровососы!..

Возбуждение его было столь велико, что хотелось пробиться к грузовику, вылезти перед толпой, бросить в нее яркие, поджигающие, дразнящие слова. Подпалить ее, напоенную едким спиртом, пустить по ней гривы огня. Хотелось действовать, быть на виду. Однако он не полез к трибуне, а, орудуя локтями, выбрался из гущи, хмельной, растерзанный, улыбающийся, двинулся в город, бормоча: «Ну, дураки!.. Ну, суки!.. Заварухи нам не хватало!»

Он кружил по микрорайонам, зыркая на окна домов, на пробегавших людей, чувствовал в себе буйное, не находившее применения веселье. В Старом городе он натолкнулся на винный магазин, на обшарпанный кирпичный лабаз, перед которым волновалась очередь. Магазин был закрыт, на дверях висела железная скоба с замком, и очередь, уткнувшись в этот замок, роптала:

— Валька, жопа толстая, тоже бастует?

— Работает, с Витькой-грузчиком под одеялом!

— У меня со вчерашнего капли не было. Если не выпью, умру!

— Динамит принесть, рвануть дверь!

Чеснок углядел в хвосте дружков Лошака и Гвоздя. Оба синюшные, в пупырышках холода и ядовитой алкогольной тоски, переминались, тоскливо смотрели на дверь.

Чеснок веселым, все понимающим взглядом обежал толпу, висящий замок, продрогших дружков. Испытал прилив вдохновения, то случавшееся с ним удальство, что искупало уныние, тусклые дни, никчемный бессмысленный труд, пьянство, унижение, полуголодную, полубольную жизнь, из которой не было выхода. Все это искупалось мгновенным, посещавшим его вдохновением, подвигавшим на удальство, на бескорыстный поступок.

Он поманил дружков, увел их за угол, достал нож. Стянул с шеи замызганный красный шарф.

— Держи! — приказал Лошаку. Ловкими ударами рассек шарф на ленты.— А ну вяжи на локти, дружина! — он кинул обрезки шарфа приятелям. Сам намотал, завязал узлом красный налокотник.— Ступай за мной и смотри! — ухмыляясь, в мелких судорогах нетерпения, скаля беличьи резцы, Чеснок направился к очереди.— Граждане! — крикнул он, впрыгивая на шаткий ящик.— Сообщение!.. От имени забастовочного комитета!.. Меня прислал комитет с требованием достать народу согреться!.. Народ озяб, народ митингует, народ должен поддерживать настроение!

Люди в очереди чутко прислушались, поглядывали на его красную перевязь, на двух дружков с такими же красными перевязями.

— Начальство закрыло магазин, желая нас наказать! Оно держит под прилавком колбасу и копчености, чтобы было откуда брать, а рабочему человеку шиш! Пятый день нам не платят зарплату, чтобы нас побольше помучить, сморить голодом, а в горкоме, исполкоме спрятана касса с нашей зарплатой! Когда они ввели свой сучий алкогольный закон, и наш брат пил клопомор, мешал в стакане зубную пасту, с блевотиной кишки выплевывал, они в своих коттеджах жрали

коньяк и над нами смеялись! Именем забастовочного комитета приказываю взломать замок, каждому по бутылке, и кто сколько может тащить на площадь! Тащи лом, мужики!

Его тонкий голос, ужимки, смешки, злые метины в глазах, превращавшиеся в огоньки смеха, все это возбудило толпу. Он угадал ее суть, ее яблочко, ее сердцевину.

— Кто озяб, согрейся! Кто простыл, полечись!.. Тащи, мужики, лом!

Лом появился мигом, будто его принесли с собой в очередь. Заостренный, стертый о лед конец продели в скобу. В несколько рук надавили, и скоба с корнем, с мясом выпала из двери. Толпа с гиком ринулась в магазин. Так же поддели вторую, складскую дверь, выволокли ящики с водкой. Давясь, чертыхаясь, отпихивая друг друга локтями, цапали бутылки, засовывали в карманы, за пазуху, стискивали в гроздь между пальцами. Тут же, едва пробившись на воздух сквозь встречное стремление толпы, распечатывали, пили кто из горла, кто из стакана.

— Они, суки, думали от нас на замок замкнуть! От нас не замкнешь!

— Ты ее в стену от меня замуруй, я ее пальцем выковыряю!

— Теперь бастовать можно! Еще бы закусь в продуктовом нашарить!

— Водка горькая, а жизнь сладкая!

— Дай мне, вша, стакан! Бей меня, не могу из горла!

— Гуляй, мужики, забастовка!

Чеснок с оттопыренными карманами, из которых торчали бутылки, пил, булькал из горлышка, проливал за ворот, кашлял, задыхался. Вливал в себя ядовитую струю, жгущую гортань и кишечник. Чувствовал, как светло в голове, как силен и удал, и нет ему больше помех и преград. Душа, еще недавно боящаяся, угнетенная, сморщенная, вырвалась на свободу, и не было такой силы, чтобы могла ее согнуть и унизить.

Он кинул скользкую бутылку об угол лабаза, и она в сумерках брызнула синими искрами.

Кругом галдела толпа. Угощали друг друга, обнимались. Бог весть откуда появилась гармошка, запиликала, и какая-то хмельная баба с бурачными щеками пошла отплясывать по лужам, и какой-то долговязый малый в кирзе вторил ей, шлепал по грязи, норовя схватить ее за подол.

— Ты, Гвоздь, мать твою, как истребитель танков! — Чеснок хмыкнул, глядя на дружка с бутылками, срывая красную повязку.— Давай, Лошак, двигать отсюда. Пошли, где веселей!

Хмельные, яростные, пошли прочь от разгромленного магазина, где еще урчала толпа, и черные в сумерках люди растаскивали бутылки по городу.

К ночи в Старых Бродах на нитяной фабрике, расположенной в храме без куполов, с замурованными проемами, с кирпичными складами, пристроенными к колокольне, случился пожар. Сначала возник в темноте за забором косматый огонек с сыпучими колючими искрами. Комочек огня, похожий на снующего лисенка, покатался, поелозил у стен фабрики, нырнул внутрь и исчез. Через некоторое время из крыши повалил багровый подсвеченный дым. В щели от огненного сквозняка полетели рыжие растрепанные жгуты. Бело, светло схватилась часть храма, словно в нем зажгли все люстры и праздновали праздник. Над кровлей шипело, искрило, отлетало кометами, звездами. И вдруг глухо ударило взрывом, растворилась крыша, и оттуда вылетел кольчатый черно-красный змей, оттолкнулся когтистыми лапами, перепончатыми чадными крыльями и взмыл. Стало светло, как

днем. Старый город озарился своими срубами, стеклянно-мокрыми садами, липкими улицами, и в светлое небо устремились тысячи птиц. Кричащий обезумевший грай вылетел из огня. Птицы летели, охваченные пламенем, обугливались, падали кувырком на озаренную землю, скакали, открыв дымящиеся клювы, шлепая обгорелыми крыльями, каркали, кричали, а по небу, как головни, неслись другие птицы, покрывали небо красными секущими росчерками.

Народ из соседних дворов валил на пожар, бестолково топтался, боялся сунуться в пламя.

Из фабричных ворот вырвалась визжащая подпаленная собака, и следом, в тлеющем пальто, опутанный нитками, с красными угольками на шапке, выскочил человек, тощий, кособокий, со слюнявым ртом. Тыкал на пожар тощим пальцем, колотил сухим кулачком себя в грудь, читал стихи, рождавшиеся на слюнявых губах.

Вылакомо наворот,
Исполкомо поворот.
Було в коленьком огонь,
Не поехал на рамонь.

Его схватили, стали заливать на нем тлеющее пальто, выпутывать из ниток. Кто-то признал в нем дурачка из сумасшедшего дома. А тот улыбался беззубым ртом, позволял себя тушить и вдруг наклонился, схватил розовую от огня грязь, стал есть, повторяя:

— Кисель!.. Кисель!..

Жар достигал соседних домов. Высохли лужи. Земля на грядках покрылась сухой коростой. Дымились и обугливались заборы. Обитатели сбегались с ведрами, выстраивались в зыбкие цепочки от колонок и колодцев. Передавали плещущие, с розовой слюдяной водой ведерки. Босой парень в белой навыпуск рубахе шмякал ведро в бревенчатую стену дома, вода шипела, превращалась в пар, мокрые венцы казались стеклянными.

Голосили женщины, тащили из домов грудных и малых детей, уносили подальше от пожара в темноту за огороды, и оттуда слышался заунывный многоголосый вой. Выводили под руки стариков. Мужчина в белых кальсонах, в галошах на босу ногу вынес на руках маленькую растрепанную старушку, и та беззвучно чмокала ртом, вцепилась ему в плечо. Трещало дерево перекрытий, брызгала огненная жижа. Шар света катался вокруг церкви, был готов оторваться, покатиться по деревянным посадам.

Шумная пьяная ватага вывалилась на пожар. Ослепились, отрезвились, встали, ошпаренные.

— Псих поджег, его, психа, в огонь кинули!

— Сам псих! Кладовщик подпалил! Наворовал и решил списать, пожар все спишет!

— А я бы, мать твою, все сжег! Надоело! Гори все!

— Эх, хуч погреемси! Ботинки просушим!

Среди пьяных был и Чеснок, в сбитой шапке, улыбающийся и счастливый.

— Маленько и я помогу! Я ведь пожарным был!

Он расстегнул штаны и бесстыдно, поглядывая на близких, кричащих баб, стал мочиться, дергая слюдяной розовой струйкой.

Первым, кто увидел пожар на митинге, был Сергей Вагапов. Он стоял на открытом дощатом кузове, слушал, как какой-то старик, шамкая, сбиваясь, жаловался на сына, выгнавшего его из дома, просил у народа защиты. Фары грузовиков, направленные на трибуну, слепили Сергея, и он сквозь ртутный холодный пар с блестящим снопом лучей вдруг увидел за домами красное зарево. Оно увеличивалось, колебалось, выстраивалось в небе столпами.

«Станция! — подумал он в страхе. — Авария!.. Как в Чернобыле!.. Топливо завезли, и пожар!»

Его тело, его кости и кровь ужаснулись, словно сонные, дремлющие в крови яды вспыхнули, обожгли. Его нелепые, исполненные ужаса мысли передались толпе. Кто-то завизжал, кто-то пытался пробиться прочь. Толпа колыхнулась, навалилась на грузовик, отпрянула. Орали, стенали. Старик продолжал говорить в микрофон, жаловался на сына. По небу, как полог, растягивалось красное зарево. И в нем летали, метались птицы. Снижались над толпой, сбивали с крыльев огонь. На доски кузова, громко ударившись, упала ворона. Ее перья были оплавлены, она раскрыла алый, в лучах прожектора, зев, нацелила на Сергея черные, полные поднебесного ужаса зрачки, сипло дышала. Сергей смотрел на упавшую с неба птицу, принесшую ему страшную, витавшую в небе весть. Толпа разваливалась, разбегалась, обнажая пустую липкую площадь, и на ней, как мохнатые кочки, валялись черные шапки.

Фабрика сгорела дотла. Со стен старой церкви осыпались тесовые пристройки, и на ней на мгновение открылась старая роспись — ангел с трубой, летящий сквозь дым и пламя.

Примчались воющие пожарные машины. Пожарные раскатали шланги, ударили в несколько струй по догорающему строению. Вонзали водометы, расшвыривали водой угли и пепел. Машины стояли, оскаленные, блестящие, дующие в пламя. Пожарные в касках отгоняли зевак от пожарища.

Отец Афанасий ночь спал скверно. Ему снилось, что его подхватили под мышки две цепкие лапы, понесли со свистом в темноте. И нет ни земли, ни неба, а только свист полета, два незримых, могучих, отвратительных существа, влекущих его в темноте.

Утром он встал разбитый, вялый. Голова кружилась, сердце болело, будто в нем оставался ночной ужас. Надевая рясу, он с удивлением обнаружил на своих голых плечах красные оттиски, словно это были следы сильных когтистых пальцев.

Отправляясь в клинику на дежурство, он видел, как по утреннему туманному городу продвигалась погребальная процессия, состоящая из автобусов, грузовиков, тракторов. Пропускал ее мимо себя, помолившись за неизвестного ему раба Божьего, чье бледное пластмассовое лицо виднелось из железного кузова.

В клинике он помог прибраться уборщице. Мокрой тряпкой вытер пыль по углам. Открыл в палатах форточки, проветривая затхлый, жирный воздух, выводя, выманивая из-под сквозняка больных.

В обед прихромала из города старая санитарка, рассказала, что народ побросал все работы, шумит на площади, милиция разбежалась, сосед, милицейский сержант, поскидывал с себя форму, нацепил все штатское и хоронится в доме, начальство повскакивало в легковушки и деру из города, народ пошел по магазинам перетряхивать склады и нашлось много неучтенного товару, которого люди вовек не видывали, завмагшу привели на площадь, заставили отвечать, а она плюхнулась на колени, кричала: «Не бейте!», «зэки» в колонии начали волноваться, и их заперли в зоне и пустили ток, а у стройбатовцев много солдат разбежалось, и теперь начнут в деревнях баловать, нападать на дорогах.

Санитарка захлебывалась от новостей, ужасалась и одновременно радовалась небывалым происшествиям. А отец Афанасий слушал со страхом, и опять ему померещилось, что две сильные цепкие лапы схватили его за плечи, повлекли в темноту.

Он ходил по больнице, прислуживал и помогал, где мог, слабость

его росла, и в головокружении ему казалось, что пол под ногами колеблется, земля, на которой стояла усадьба, колеблется. Смотрел на обшарпанные половицы с забытыми шлепанцами и видел, что они накреняются, как палуба, и он схватился за стену, чтобы удержать равновесие.

Словно заколебались огромные, помещенные в мироздании весы. Чья-то могучая длань сжимала их в высоте, и на одной медной чаше стояли города, заводы, бесчисленные построенные машины, а на другой лежало чье-то тихое мертвое тельце, какой-то белокурый младенец, курчавились волосики на его неживой голове.

К вечеру в сумерках вдруг подуло во все щели старой усадьбы, нагнулись все в одну сторону голые липы, и в ветвях засвистело, застучало, повалила дымная мгла, от которой вдруг стиснулось в голове и груди, и стало невозможно дышать. Словно открылся в небе громадный люк, отвалилась заслонка, и в нее стал улетать земной кислород. Разгерметизированная оболочка Земли отдавала атмосферу, пропускала излучение внеземных жестоких пространств.

Отец Афанасий видел, как замерзает вода в лужах, покрывается коркой льда поверхность в железной бочке у входа. Думал о птицах, которые прилетели на проталины, на ручьи, на открывшиеся озера. И теперь их клювы ударяются о лед, а ноги упираются в одеревенелую землю.

Он задремал в уголке коридора, помолившись о птицах, слыша стуки и свисты ветвей.

Проснулся от крика. Хромоногая санитарка шлепала по коридору, размахивала рукавами:

— Сбегли!.. В город!.. Их там побьют, сомнут!.. А нам отвечать!

Появились дежурный врач, медсестра, пошли по палатам. Выяснилось — сбежал десяток больных. Чернявый, с утиным носом, с подпрыгивающей походкой больной сообщил:

— Я их до забора следил! Мне Генка гуньливый сказал: «Айда с нами!» А я не пошел. С Генкой не пойду, он дерется!

Отец Афанасий понимал, случилось несчастье. Ускользнувшие из больницы нелепо одетые люди попадут в толпу, в яростное злое скопление. Их там задержат, замучают, жестоко наиздеваются. Или они в своих утлых пальто замерзнут, как птицы. Сравнение с птицами больно ранило отца Афанасия. Он винил себя, не мог простить себе свой сон в коридоре. Накинул телогрейку поверх ряски, засунул поглубже под ватник распятие, заторопился в город.

Бежал по ночной дороге, разбивая подошвами лед. Ему попался заглохший трактор. Двое в сапогах и в робах лязгали под капотом железом. Лампа высвечивала кулак с гаечным ключом, скуластое, наклоненное к мотору лицо.

— Больных не видали? — спросил отец Афанасий.— Не проходили больные?

— Все мы больные,— отозвался тракторист, стуча ключом.

«И впрямь все больные,— думал на бегу отец Афанасий.— Все мы, все мы больные!»

Ему попались в темноте какие-то женщины, в темноте он не видел лиц.

— Больных не встречали?— спросил он их.

— Солдаты прошли, а больных не видали. Может, солдаты больные?

«И солдаты больные, и крестьяне больные, и рабочие больные, и инженеры больные, и мужчины больные, и женщины больные, и дети больные, и птицы больные,— думал он, торопясь, стараясь успеть, упредить своим появлением беду.— И я, и я болен!»

Он увидел зарево, темно-малиновое, тяжелое, как одеяло, застеленное поверх мглистых туманов. Оно напоминало угрюмый рассвет

в ночи. И он бежал, хватал грудью воздух, ожидая, что сейчас начнет вставать медленное, неизвестной формы светило над больной, перепутавшей свои ночи и дни землей.

Туман распался, и вместо солнца, окруженная заревом, чернея на малиновом небе, возникла станция. Отец Афанасий замер, глядя на махину, живую, охваченную ядовитым свечением.

Тулово станции плотно, мощно утвердилось на холмах и озерах. Ее толстый корень, вьющийся чешуйчатый хвост погружался в толщу, прорастал в землю, пробивал граниты и глины, впивался цепким жгутом в расплавленную сердцевину земли. Многолапое тело пружинило, катало огромные мускулы из железа и меди, из громадных колес и валов, из чугунных слитков и плит. От тулова в разные стороны, мерцая многоглазо, исходили головы, дышали красные пасти, выплевывали тягучие блестящие слюни. Опаляли окрестность, выталкивая из себя непрерывное пульсирующее зарево, растекавшееся по земле. Птицы, попадая в это зарево, умирали и падали комочками огня.

Жуткое диво сидело среди русских озер и рек, среди разоренных храмов, нищих пустых деревень. Отец Афанасий крестился, ужасался, не мог понять, почему сюда, на Святую Русь, славную угодниками и святителями, на землю Пресвятой Богородицы, явился этот змей, здесь свил себе гнездовье.

Он бежал, крестился на ходу, торопился поспеть, помешать несчастью. Вбежал в Старый город, засновал по улицам, подворотням. Заглядывал в лица встречных, надеясь углядеть больных.

Обежав Старый город, прислушиваясь к молве, к гульбе, к голосам, раздававшимся из разрозненных возбужденных групп, натолкнувшись на гаснущее пожарище нитяной фабрики, он кинулся в Новый город. У здания исполкома натолкнулся на толпу.

Разгоряченный люд подступал к подъезду, к красной стеклянной доске, к фасаду с флагом. Передние, те, что вели толпу, показались отцу Афанасию пьяными,— так яростно, бестолково махали они руками, так неопрятно, расхристанно были одеты.

Один из вожаков взбежал на крыльцо под фонарь. Его лицо, узкое, острое, с торчащими резцами, напомнило отцу Афанасию рассерженную морскую свинку.

— Нам, рабочим, жрать нечего! В карманах ни копья! — он вывернул карманы брюк, и они остались торчать, как растущие из бедер уши.— Рабочую зарплату в сейфах держут! На колени хотят поставить, чтоб приползли и подметки лизали: «Дайте рублик на пропитание!» Хрен вам! Сами возьмем, силой! Вскрывай дверь, мужики!

Отец Афанасий видел освещенный подъезд с кричащим человеком, красную застекленную доску с надписью «Исполнительный комитет», свисавший с фасада мокрый флаг. Видел, как слепо, яростно надвинулась толпа, и в окнах заметались испуганные лица сторожих. Чувствовал — сейчас случится непоправимое, ужасное, посягновение на власть, на царство, на кесаря, как уже было однажды: жгли, ломали, стреляли, разрушая великое государство, и оно, разрушенное, вторично упадет всем на голову, унесет миллионы жизней. Рассудок его помрачился, его посетила тьма, но молитвенным усилием он одолел помрачение, взбежал на крыльцо.

— Братья, остановитесь, очнитесь!.. На нас наступает тьма!.. Дракон опустился!.. Христос за нас распят!.. Велел нам любить и прощать! Братья, любите друг друга!.. Люди русские, чада мои возлюбленные, умоляю, любите друг друга!

Он вытащил из-под ватника серебряный крест, воздел над толпой, останавливая ее, отделяя этим крестом от фасада с красным флагом.

— Братья, любите друг друга!

Человек с крысиным лицом набросился на него, толкнул, стал вырывать крест.

— А ты откуда взялся, козел! Поп-распоп! Рясу на голове завяжу! А ну катись, козел бородатый!

Он теснил отца Афанасия. Глазки его злобно сверкали, на губах, на резцах пузырилась пена. Но его остановил здоровый детина в сальном бушлате, без шапки, с закопченным квадратным лицом.

— Заткнись, Чеснок! Батюшку не трожь! Я сам крещеный! — он полез под бушлат, рванул на груди рубаху, вытащил на черной, как уголь, ладони маленький, слабо блеснувший крестик.— Правильно батюшка говорит, пошли отсюда! Озверели! Извините, батюшка,— дураки.

Он поклонился отцу Афанасию, стал спускаться с крыльца, широкими взмахами поворачивая толпу, сгребая ее назад. Люди остывали, повиновались, уходили. Отец Афанасий остался один на крыльце, держа Распятие.

— Спаси нас, Господь! — шептал он.— Спаси нас, Царица Небесная!

Он враз ослабел. Подступили слезы. Не было сил идти. Он перебрел в темноту подальше от фонаря. Прислонился к стене. Далеко в проемах домов, в лучах ртутного света искрилась станция. И отцу Афанасию сквозь слезы почудилось — не черная масса бетона, не железная громада станции, а белоснежный собор, золотые дивные главы. Раскрыты врата, лучисто от свечей и лампад. На стене среди белого, синего чей-то дивный любящий лик.

Катюха под вечер выполнила урочную работу, старательно подмела подходы к магазину, выскребла ступеньки, где было особенно сорно, валялись рваные газеты, целлофановые пакеты, осколки бутылок. Возбужденные, мятущиеся люди натоптали, нанесли грязь. Она прошуршала березовой метлой все светлые места под фонарями, собрала мусор в кучки, чтобы завтра с утра набросать их в кузов мусоровоза.

Вернулась домой, в теплую полуподвальную дворницкую. Поставила кипятиться чайник. Сняла с себя фартук, робу, тяжелые башмаки. Долго, с наслаждением мылась над тазиком горячей водой, мылилась припасенным кусочком зеленоватого мыла, вдыхая сладкий запах, любуясь перламутровой пеной, поливая себе из кружки на плечи и грудь.

Вытиралась насухо, поглядывая в зеркало на свое свежее розовое лицо, блестящие глаза, пухлые губы, накручивала на палец вьющиеся у висков волосы, расчесывала их гребнем.

Она ожидала в гости Сергея, хотела быть красивой, нарядной. Достала из шкафчика, облачилась в разноцветное платье, то самое, что он подарил ей в день их знакомства. Надела туфли на высоких каблуках. Синие стеклянные бусы очень шли к платью, переливались на открытой шее.

Заглядывая то и дело в зеркало, она накрыла на стол. Поставила чашки, сахарницу, на блюдечко положила золотистый ломоть мармелада, выложила пачку печенья.

Дом ее был убран, стол накрыт, сама она была нарядной, ждала дорогого гостя.

В дверь постучали. Она кинулась открывать, отомкнула, и в комнату косо, плечом вперед, вломился Чеснок и следом за ним Гвоздь и Лошак. Теснили ее прочь от двери к столу, наполняли тесную комнатушку ветром, холодом, перегаром.

— Ой, Катюша, да какая ты расфуфыренная, просто куколка! — Чеснок улыбался желтыми резцами, восхищенно, по-беличьи цокал. Его белесые, с красными каемками глаза бегали по ее бусам, откры-

той шее, а пальцы расстегивали неопрятное, заляпанное пальто.— На стол накрыла, чай заварила, нас, что ли, ждала? Выпить нету?

— Уходи, чего завалился! — гнала его Катюха.— А ну пошли вон!

— Не нас ждала,— жалобно захныкал Чеснок.— Сереженьку поджидала! Карамельку ему приготовила. Раньше нас пускала, а теперь гонишь. Нас разлюбила, Катюша?

— Пошли, говорю, вон! А то возьму лом да и хрястну!

— Не любишь, Катюша? Больше не любишь? — скулил Чеснок.— А вот и полюбишь!

Он наотмашь ударил ее, сбивая на пол, а когда упала, опрокинутая страшным ударом, второй удар, ногой в лицо, лишил ее на мгновение сознания.

Они схватили, кинули ее на кровать. Сдирали с нее платье, туфли, белье. Она очнулась, извивалась, кричала:

— Мамочка!.. Помогите!.. Сережа!..

Потная грязная ладонь ударила ее по губам, вдавила, вмяла обратно ее вопль. Ее раздирали, закручивали ей на голову платье. Она изнемогала, переставала дышать, жить.

Они насиловали ее, терзали втроем,— Чеснок, Гвоздь, Лошак, снова Чеснок. Она испытывала ужас, отвращение, боль. Ее рвало, она задыхалась. В глазах сквозь пеструю ткань мелькали видения — стальной лом, нож бульдозера, красная птица над лесом, священник среди свечей, уступы и башни станции. Она чувствовала на себе тяжелое, бьющееся, хрипящее тело, теряла сознание.

Они оставили ее лежать на кровати при ярком свете. Чеснок, застегиваясь, оглядывался на ее белое недвижное тело. Схватил скатерть, сдернул на пол чашки и сахарницу.

— Спасибо за гостеприимство, Катюша! — слышала она его харкающий смех, стук ударившей двери.

Горностаев оставался один в своем кабинете. Пытался связаться с квартирами городских начальников, узнать обстановку в городе. Телефоны молчали. Отцы города попрятались или сбежали, бросили город на растерзание толпы. Среди ночи ему сообщили, что коттедж его разграблен, но он не испытал при этом огорчения, а только злобу на трусливые, утратившие дееспособность городские службы.

Он знал, что это должно было случиться. Здесь, в Бродах, и везде, в других регионах, на других заводах и стройках. Хаос, удерживаемый долгие годы в железных примитивных тисках управления, вырвался на свободу. Страна с разрушенной властью больше не управлялась. Отдельные ее части напоминали движение кусков развалившегося самолета. Еще оставались контуры недавнего самолета, но это были куски, вписанные в разлетавшийся контур. Еще собирались на свои совещания министры, еще политики издавали указы, подписывали уложения и законы, но эти законы и уложения, эти политики и министры обслуживали самих себя, не влияли на государство. И оно, недавно могущественное, непобедимое со своими ракетами, подводными лодками, монолитным сплочением миллионов, теперь развалилось на куски, и никто — ни вождь, ни партия, ни армия — не могли остановить разрушения.

Так чувствовал он события в городе, события в государстве. Но они в своей неодолимости рождали в нем не слабость, не панику, а упрямый, из ненависти и воли отпор. Когда все побежали и сгинули, оставив свои кабинеты, свои телефоны и пульты, он один продолжал бороться, защищал стройку, станцию, защищал государство.

Он снова связался с областью, дежурному обкома доложил обстановку. Позвонил в Москву, на квартиру Дронова, и тот обещал наутро связаться с ЦК, потребовать защиты объекта.

Глава двадцать восьмая

Ночью Горностаев дремал в кабинете, устроившись в кресле, вытянув ноги на стул. Чутко, сквозь сон, ждал телефонных звонков. Два раза его будили. Сообщили, что вышла из строя распределительная система, питавшая город теплом, прорвало паропровод, и не было бригады ремонтников, примкнувших к забастовке. Второй раз сообщили — на городской подстанции выбило трансформатор, часть коммунальных объектов и жилой микрорайон остались без электричества. Вести были скверные, беда подступала. Но главный объект — атомная станция — продолжал работать нормально. Генератор выдерживал мощность, энергия ровным потоком изливалась в сеть, проносилась по жилам над мятежным городом, над остывающими жилищами, над черными погасшими окнами, за которыми пряталась жизнь. Пусковой объект, начиненный ураном, был в состоянии готовности — машины, дисплеи, электронные системы слежения ждали, когда успокоятся страсти, и тогда операторы встанут за пульт, нажмут пусковую кнопку.

Он дремал и сквозь сон продолжал защищать объект. Выставлял охрану, обносил колючей проволокой, пропускал напряжение. Заслонял от враждебных разрушительных сил.

Он услышал шаги в приемной, кашель, стук упавшего предмета. Поднялся из кресла. В кабинет без стука вошел офицер в полурасстегнутом бушлате с майорскими погонами, в портупее. На ремне висела кобура, болталась малая рация. Офицер был плохо выбрит, темен лицом. Под щетиной на щеке до виска кожа морщилась рубцами ожога. Глаза исподлобья беспокойно и едко разглядывали Горностаева.

— Есть кто на месте? Хоть кто-то из руководства остался?

— Горностаев, исполняющий обязанности начальника стройки.

— Майор Мокеев, — представился офицер и сел без приглашения на стул. — Прибыл по приказу командира полка. Из учебного батальона в составе четырех «бэтээров». Все, что на ходу, остальные в ремонте. И у этих движки на пределе.

— Из округа вас прислали? Я просил обком о поддержке.

— Не знаю, откуда пришла команда. Меня поднял комполка, задал маршрут, и вперед. Сказал, заварушка! До подхода внутренних войск охранять объекты. Какие объекты? Одну коробку поставил у исполкома, там, вроде, бузят. Другую у коттеджей, там домушку почистили, барахлишко повыкинули. С двумя коробками сюда, на АЭС. Что за объект, покажите!

— Вот объект! — Горностаев подошел к стене, где висел планшет с изображением стройки. Корпуса станции, котлованы, склады, объездные пути. Из города к станции вела бетонка, ответвлялась к порталу первого блока, охватывала полукольцом промышленную зону, упиралась во второй, пусковой. — Из города могут пойти. Вокруг озера, со стороны автобазы. Но я не думаю, что это возможно.

— Разве дело армии народ усмирять! Мы не жандармы. Пусть внутренние войска занимаются, — зло сказал офицер, и шрам на его щеке потемнел от прилива крови. — Можете проехать со мной? Показать подъезды к объекту?

Они вышли на воздух. Перед входом, нос в хвост, тускло мерцая броней, стояли два транспортера. Чернели пулеметы на башнях. В люках виднелись солдаты. Горели красные хвостовые огни и желтоватые, заляпанные грязью подфарники.

— Садитесь в мою, головную!

Горностаев залез на броню, спустил ноги в люк, почувствовал руками ледяной ожог металла.

— «Шестой», я — «первый»!— майор прижал к горлу черную таблетку ларингофона, выходя на связь с машинами, оставленными в городе. — Как у тебя, «шестой»?.. С брони не сходить! В контакт не

вступать! До связи!.. Вперед! — приказал он водителю, и машины, плавно пружиня, выбрасывая горячую метлу гари, покатили по бетонке. Горностаев показывал майору участки, наиболее уязвимые, где возможно нападение толпы. Станция близко нависала из неба, угрюмо наблюдала за ними.

Они сделали круг, подъезжая к озеру, где начинались стальные, ломкие структуры подстанции, и ночная вода светилась сквозь узорную сталь. Подкатили к освещенному порталу, где вооруженная пистолетами вахта несла караул в проходной. Прокатили по периметру станции, окруженной бетонной стеной. Снова вернулись в контору.

— Огонь не разводить!.. Не спать!.. Сухпай пожуйте!.. На связи с «шестой» и «четвертой»! — майор дал указания солдатам, поднялся вслед за Горностаевым в кабинет.

Поглядывая на сидящего сутулого офицера в жеваных погонах, со следами грязи на сапогах, с лицом усталым, угрюмым, Горностаев вскипятил чайник, поставил на стол две чашки, две рюмки, достал банку кофе, бутылку с остатками коньяка.

— Подкрепитесь, майор, трудный путь был, — налил в рюмки коньяк, развел в кипятке кофе. — Вместе или отдельно, как хотите! — вылил коньяк в кофейную чашку.

— Шли прямиком, дорогами местного значения. Все размыто, раздолблено! Мосты обвалились! В Афганистане дороги лучше были! — он взял рюмку, выпил, вытер губы. Подержал ладонь на щеке, прикрывая ожог. Было видно, что коньяк доставил ему удовольствие. В злых затравленных глазах мелькнули две теплые точки.

— Везде буза, по всей стране! Не думал, что доживу у себя дома до такой бузы. Думал, где-то там, в Никарагуа, в Афганистане буза, а она вот она, в России! Сами у себя дома бузу устроили!

— Конфету показали, а не дали. Вот теперь и расхлебываем. Вместо конфеты армию на усмирение бросили, — Горностаев осторожно присматривался к этому явившемуся из ночи офицеру, чьи «бэтээры» и пулеметы охраняли теперь его разгромленный дом, его брошенную опустелую стройку, станцию с драгоценным реактором. — Начали с демагогии, а кончили подавлением.

— Армия на народ не пойдет, — покачал головой майор. — Ей прикажут, а она не пойдет. Ни один офицер!

— Неужели, если вам отдадут приказ, вы не пойдете?

— Раньше, лет пять назад, пошел бы. Лейтенантом был, думал, прикажут стрелять в толпу, в детей, в женщин, если Родине надо, выстрелю! А теперь ни за что! Лучше в себя! Говорю вам твердо, армия на народ не пойдет!

— Что произошло за пять лет?

— Армию оплевали, в грязь затоптали. Армия не забудет обиды. Она лямку тянула, себя не щадила, офицеры дома не видели, жен не видели, городов не видели, света белого не видели. Казарма, стрельбище, учение, грязь, пот, снова казарма. В офицеры шли не по танцулькам шляться, служить государству! А оно, государство, за службу, за кровавый пот в глаза наплевало! Так не бывает! В нормальной стране с армией так не поступают. Если правительство хочет жить, оно армию должно беречь, не давать в обиду всякой сволочи, которая, пока мы кровь проливали, на минных полях подрывались, от гепатита концы отдавали, они тут свои делишки устраивали, виллы строили, миллионы грабили! За такое правительство армия не пойдет! Кого защищать-то? Миллионеров? Кооператоров? Журналистиков, которые грязью тебе же в лицо бросают?.. Я сюда на своих колченогих «бэтээрах» прикатил кого защищать? Конституцию? Демократию? Пулеметами в центре России конституцию от русского народа защищать?

Он налил себе еще рюмку без спроса и выпил. Снова схватил свой шрам, словно спирт проник в ожог, причинил ему острую боль,

— Я в Афганистане два года на заставе жил в камнях на нарах, как пещерный человек. Из арыка мылся, в сортир под обстрелом ходил. Думал, в Союз приеду, квартиру получу. Хрен! До сих пор третье место сменил, и все по углам. В Крыму батальон принял, жену выписал, думал, устроюсь — Крым, тепло, красота! В общаге с подселенцами за фанерным щитом жили, за три километра питьевую воду возили. Она пожила и уехала. «Я, говорит, не могу всю жизнь по общагам мыкаться!» Офицеру, защитнику Родины с боевыми наградами государство не может жилье обеспечить! А кому обеспечивает, знаете? В Крыму на заповедном берегу дворец отгрохали! Зачем? На какие деньги? Мрамор из Италии кораблями везли. Деревья в сад из ялтинского ботанического, ценнейшие экспонаты вырывали и везли. Одни гибли, другие вырывали, везли! Парнишки, солдаты в каменоломнях работали, камень, известняк для дворца нарезали. Их в штольне засыпало, троих солдатиков насмерть придавило! За что? За кого? За Русь? За Отечество? За Москву? Дворец современным царям строили и погибли мальчишки! Когда туда цари приезжают, система ПВО в состоянии высшей готовности. На рейде в море подводная лодка дежурит. Моряки-черноморцы, нахимовцы, морские волки в лодке за перископом сидят, когда те в теннис играют, банкеты устраивают, на брачном ложе лежат. И я буду их защищать? От народа? Да ни за что.

Майор кривился, дергал небритой щекой, морщил голубоватый рубец. Горностаев ему не сочувствовал. Его раздражал этот усталый, недовольный, брюзжащий офицер, кидавшийся в откровения с первым встречным. Майор был из тех, кто разрушен. Многие были разрушены, почти все.

Горностаев отвел его в заднюю комнату, где стоял диванчик. Сунул в изголовье подушку. Офицер снял бушлат, портупею, кинул кобуру на пол, стянул сапоги и лег, набросил на плечи бушлат. Горностаев выключил свет, унося из темноты отпечаток его небритого, изуродованного огнем лица.

Глава двадцать девятая

Клочья туч проносились по утреннему небу, сталкивались, слипались в угрюмые сырые комья. Эти комья раздувались, вываливали из себя требуху, волочили длинные вязкие ворохи. Люди, им под стать, блуждали по городу темными косяками, ударялись друг о друга, клубились, меняли движение, черными разрозненными хвостами тянулись к площади, где вливались в бесформенную заливавшую пространство массу.

Ночью из-за аварии на теплотрассе город остыл. В каменных домах люди кутались в одеяла, залезали в шубы, зажигали электроплиты и нагреватели. Но и те остыли, когда сгорел трансформатор и остановились моторы и двигатели, погасли фонари. Город, черный, каменный, цепенел, испускал остатки тепла среди ветряных полей и лесов.

Утром не привезли хлеб, не открылись магазины, столовые. Две военные бронированные машины, взявшиеся Бог весть откуда, выставили свои пулеметы, надвинули на людей колючие ромбы и плоскости. Жители, кружа по городу, натыкались на железные, похожие на ящериц «бэтээры», из которых выглядывали солдатские каски, виднелись автоматы и бронежилеты.

Опять на кузове грузовика откинули борта, поставили микрофон. Продрогшие, голодные, озлобленные люди выскакивали из толпы, посылали в сырой утренний воздух металлические вибрирующие стенания.

— Поморить нас хотят! Хлеб отняли, мяса в столовку не выдали! Ток отключили! Мать-старуха за ночь простыла, встать не могла, лежит, помирает! Ежели, говорю, мать у меня умрет, я в контору пойду, кирпичом перебью сволочь сытую!

— Граждане, говорю вам от всего персонала больницы. Если ток не дадут, больные в реанимации к вечеру все погибнут. У нас кислорода на полдня осталось. Смерть больных на совести городского начальства!

— Войска прислали, пулеметы на детей наставляют! Глазом не моргнут, палить станут! Они от народа пулями отбиться хотят! Были и есть палачи!

— Они нас в кольцо возьмут, дороги перекроют, а сверху бомбить начнут! Они нас, как собак, ловить станут, с детьми, матерями в зону посадят!

— Не дадимся! Они на нас с пулеметами, а мы их камнями! Они нас хлеба лишают, а мы им станцию выключим! Они нас войсками и пулями, а мы станцию силой возьмем, а если что, рванем реактор, вместе с нами сгорят!

— Товарищи, надо идти на станцию и послать ультиматум правительству! Пока не пришлют комиссию, держать в руках станцию! Снизить до минимума режим генератора! Посадить их всех на голодный паек электричества!

Люди выскакивали на трибуну, хватали тонкий стебелек микрофона, и злые, безумные металлические слова вонзались в толпу, и она вскрикивала от боли и ненависти.

Михаил не спал ночь. Ребенок лежал между ним и женой, и они грели его своими телами. Забывались коротким сном, просыпались, слушая в стенах слабые звуки остывавшего металла и камня, шум высокого сквозняка, выдувавшего тепло из жилья. Михаил заснул лишь под утро, чувствуя, как охлаждается дом и тонкими теплыми струйками витают ароматы жены и сына.

Проснулся от мембранного мегафонного звука. Резко, из сновидений врезался в сырое утро, в стены комнаты, в металлические звуки за окнами. Снаружи продолжалось вчерашнее, начинало клубиться, урчать, наливалось раздражением, злобой, готовилось громить и крушить. Он был причастен к смуте, породил ее, возглавляемый им комитет призвал людей к забастовке, не сумел удержать от пьяного грабежа и погрома.

— Куда ты? — Елена поднялась из постели большим белым телом, видя, как муж стягивает с вешалки куртку, ищет шапку. — Не пущу!

— Мне надо, там наши... Должен пойти...

— Не ходи! Затопчут!

— Я заварил, мне и расхлебывать. Не пойду, люди скажут — предатель.

— Фотиев виноват, он тебя подучил!.. Как он пришел тогда, сразу почувствовала — беду принес! Все заморочил, раздразнил, науськал, а сам исчез, дёру дал! А нам теперь и расхлебывать! Про́клятый он! Ненавижу!.. Не пущу тебя!

Она вскочила босиком, полуодетая, с растрепанными волосами, утренним припухшим лицом, встала у порога.

— Пойду, — Миха́ил неуверенно топтался, нахлобучивал шапку, глядя на жену, загородившую дверь, на ее белую шею, полуоткрытую грудь. — Надо!

— Не пущу! Тебе одному и надо! На войну — тебе! На атом — тебе! На электрический ток — тебе! Пусть другие! У тебя сын, семья! Убьют, что будем делать! Мишенька, миленький, не ходи! Там тебя затопчут, убьют!

Она кинулась ему на шею, тяжело, сильно обняла, душила, отталкивала от порога. Он задыхался, в нем была мука, гнев, раздражение к ней, почти ненависть. И жалость к ней, к себе, к спящему сыну.

— Не глупи! — он отдирал от себя ее пальцы. — Накаркаешь! Не суйся, не бабье дело, скоро вернусь! — он отстранял ее от дверей,

отталкивал, и она, отодвинутая его плечом, вдруг кинулась к кровати, схватила спящего сына, в два прыжка вернулась к порогу, упала перед ним на колени, тянула сына: — Мишенька, пожалей ты нас!.. Не ходи!.. Убьют!

Ребенок заплакал. Елена, простоволосая, в растерзанной рубахе, упиралась в порог голыми большими ступнями. И он отталкивал их обоих, продирался сквозь их крики и плачи, проносил свою муку сквозь их белизну, их родные запахи, выбегал в коридор, слыша воющий, умоляющий крик:

— Ми-и-и-ша-а-а!

Вышел из общежития, торопился по микрорайону, слушая, как ударяется о стены мегафонное эхо. Вынесся на площадь, где волновалось, взбухало черное плотное тесто. Слился с толпой, врос в нее, перестал быть собой, потерял способность двигаться, думать, вбираемый, заталкиваемый в клубки и потоки. Ему казалось, он ступил на льдину. Огромная, оторванная от материка, плывет, а под ней бездонная ледяная глубь, безбрежный, скрытый от глаз океан с медленными массами текущей воды, и все они — город, дома, грузовик с микрофоном — поместились на плывущей льдине, и их сносит в неведомый ледяной океан.

На грузовике человек в кожаной кепочке, в джинсах, с черной бородкой кричал, неистовствовал, владел толпой:

— Они будут бить нас, а мы их! Они нам кровь, и мы им кровь! Они нам слезы, и мы им слезы! Танки пошлют, а мы ляжем под танки вместе с детьми, стариками! Станут бомбить самолетами, а мы рванем реактор, и пусть тогда ищут свои аэродромы, свои обкомы, райкомы! Граждане измученной, но теперь уже свободной России, все кто ни есть, малый и старый, мужчины и женщины, рабочие и инженеры, сейчас же, с этой площади, мы идем на станцию, устанавливаем народный контроль, выставляем пикеты, предъявляем ультиматум правительству!

Михаил, стиснутый, сжатый, чувствовал, как покатилась по толпе тяжелая судорога, побежала энергия боли. Не существуя отдельно, встроенный в мускулатуру толпы, он повторял в себе эту судорогу, запрессованный в громадный, набухший бицепс.

Толпа начала шевелиться, колебаться, выстраиваться, словно ее поместили в могучее магнитное поле, где каждая частица укладывалась в силовую линию. Колыхнулась, ахнула, и пошла, двинулась слитно, мощно, с площади, по улице, по бетонке, где по-утреннему туманились и сочились поля и вдали двумя горбами высилась станция. Она и была тем магнитом, что тянул к себе толпу. Михаил Вагапов, переступая ногами, безвольно, безвластно двигался на ее притяжение.

Горностаев, спящий на стульях в своем кабинете, слышал, как под утро, не зажигая света, поднялся майор Мокеев. Кашлял, цеплялся за углы, вышел из кабинета, и снаружи у входа зарокотали «бэтээры», слабо скользнул по потолку водянистый свет фар.

Горностаев заварил кофе, медленно, наслаждаясь терпкой горечью, выпил чашечку, глядя, как бледнеют окна и в них выступает гора станции с багровыми габаритными огнями.

День наливался, разбухал, чтобы лопнуть, оглушить, обжечь ненавистью, разрушением, удариться о его встречную волю, рассыпаться на тысячи осколков, угаснуть, упасть в никуда, в ночь. День сулил борьбу, трату сил, непредсказуемое, быть может, беду, катастрофу. Но это не пугало его. Его воля, мысль становилась как жестокое, отточенное острие, направленное в туманное утро, где город, как раненый кит, бугрил свое хлюпающее маслянистое тулово, и он, Горностаев, готовил ему гарпун.

Он не испытывал ненависти и вражды к тем, кто бросил стройку,

орал на площади, грозил разрушением. Он относился к случившемуся, как к стихийному бедствию — землетрясению или лесному пожару. Его отпор был направлен против слепых, внечеловеческих сил, природных или машинных.

Чуть свет в кабинет стали входить инженеры, пережившие вчерашний шок забастовки. Они одолели страх и растерянность, раскаивались в своей слабости, искали в Горностаеве начальника, руководителя, способного в минуту беды произнести приказ, направить в дело, в борьбу, сложить в единство их волю, замкнуть на себе их стремления. Он им был благодарен, нуждался в них. Знал, они пришли не к нему, а к станции. Она, громадная, беззащитная, позвала их. Они сошлись для ее защиты.

Лазарев, небритый, опухший, с бегающими чернильно-лиловыми глазами, говорил ему:

— Дочка с женой видели, как мерзавцы ваш дом громили. Думали, и их грабить станут. Я, когда вернулся, всю ночь у дверей с топором стоял. Вошли бы, я бы их рубил, как баранов!.. Говорите, что делать, располагайте мной, Лев Дмитриевич!

Менько, желтый, болезненный, с лейкопластырем на щеке, под которым вздулся, мучил его очередной чирей, винился перед ним:

— Я вчера выступал на митинге... Опьянение какое-то!.. Как мухомора объелся!.. Мухомор свободы и демократии... Простите меня! Искуплю вину. Если нужно, снова пойду на митинг, скажу: «Безумцы, расходитесь!»

Накипелов, тяжелый, осунувшийся, с проступившей на голове сединой, угрюмо просил его:

— Потом уж судите меня за Ладошкина, а теперь, раз такое дело, мне надо быть здесь, на месте! Трестовские мои тоже сбесились, кому их, как не мне, уговаривать!

Горностаев их выслушал. Еще раз подумал: они служили не ему, а станции. Черная, размытая в тумане, она возносила круглые башни с венчиками багровых огней.

— Коллеги, — Горностаев говорил им, усевшись за полированный стол, опрокинувший в глубине их поясные отражения. — Ситуация серьезная. Мы будем стремиться ее контролировать. Если группы хулиганов прорвутся к станции, то дирекция и военизированная охрана от них отобьются. Если пойдет толпа в несколько тысяч, их будут сдерживать «бэтээры», хотя на их пулеметы плохая надежда. Через час-другой прибудут подразделения внутренних войск, возьмут ситуацию под контроль. Нам нужно выиграть эти два часа. Вытащим на дорогу бульдозеры, отсечем ножами толпу. Бульдозеристы побросали машины, унесли ключи зажигания. Мы сейчас пойдем и запустим моторы.

Они покинули кабинет, пошли по взрытой хлюпающей земле, по свайным полям, котлованам, где холодные, брошенные, стояли экскаваторы, сваебои, бульдозеры. Накипелов вскрывал кабины, отверткой рылся под приборными досками, в сплетениях проводов отыскивал контакты зажигания. Соединял клеммы, и моторы начинали грохотать. Мертвая стройка оживала, наполнялась дымом и рокотом. Инженеры садились в кабины, двигали рычагами, неумело, неуверенно молотили гусеницами грунт, толкали тяжелые машины через ухабы и рытвины мимо станции, к городу.

Толпа покидала площадь, втягивалась в улицу, сжималась среди домов, вязко, липко обклеивала углы, раздувалась на свободном пространстве, как жижа, вновь спрессовывалась в черную мякоть, влеклась к бетонке, к станции.

Впереди бурлили, выскакивали главари, оглядывались на толпу,

манили, торопили криками, взмахами. Следом шли рабочие, плотно, плечом к плечу, насупленные, упорные, вглядываясь в туманную изморось из-под нахлобученных шапок, шнурованных подшлемников, пластмассовых касок, издавали своими робами и бушлатами металлическое шуршание. За ними двигались женщины, в платках, беретах, некоторые с детьми, подхватывали их на руки, уставали нести, передавали мужчинам, и те сажали детей на плечи, и дети плыли, качались над толпой, вцепившись руками в каски. Следом хромали калеки, толкались в асфальт костылями, катили ручные коляски. Вели под руки древнего старика, семенившего ногами, не желавшего покидать шествие. Там же шел и слепец, положив ладонь на плечо молодой женщины, строгий, истовый, в черных очках. Толпа излилась из города, наполнила бетонку, узко, стремительно заторопилась в поля, где блестела и дымилась земля и, невидимая за туманом, предчувствовалась станция.

Михаил Ваганов шагал в толпе среди шарканий, дыханий и кашлей. Был схвачен толпой, был ее пленник. Не он вел толпу, а она слепо и мощно влекла его, делала с ним, что хотела, встраивала его малую, слабую волю в огромный непреклонный поток. Он чувствовал свою немощь, свою вину, неизбежность того, что случится. беспомощно думал: «Остановлю!.. Задержу!.. Не будет крови!.. Уж лучше я, чем другие!.. Как в Афгане, в Панджшере!..» Он шагал, не зная, чем может помочь, как задержит толпу, но верил — только ему, Михаилу, удастся на последней минуте остановить слепое движение, спасти людей от несчастья.

Отец Афанасий шагал, цепляя ряской грязную бетонку, видел близко от себя насупленные лица. Угрюмую женщину в пушистом берете. Разъяренного мужчину в собачьей шапке. Задыхался, поспевал в толпе, натыкался на спины и плечи. Молился: «Богородица Царица Небесная, спаси нас, грешных! Спаси Россию, заступись за землю Твою!.. Богородица Дева, просвети, умягчи сердца, накрой Россию покровом любви и света Твоего!»

Он знал, что близится беда, каждый шаг ее приближает. Молился и верил, что Господь отведет несчастье, люди его избегнут, но для этого надо, чтобы здесь, в толпе, оставался хоть единственный праведник, среди этих измученных, ожесточенных людей, ненавидящих, исполненных страха. И этим праведником может быть только он. Отец Афанасий шел и каялся в своих грехах, перебирал торопливо свои прегрешения, пороки, проступки, молил Господа отпустить ему эти грехи, поставить на путь праведный, и на этот же путь свернуть всю угрюмую, ненавидящую, торопящуюся по бетонке толпу.

Антонина шла, стянув с головы платок, прижимала его к животу, боясь за свое чадо. Заслоняла его от сильных толкавших тел. И был в ней страх, жалоба, мольба. Она обращалась к Фотиеву, искала его среди идущих, спрашивала, что же им делать, куда их влечет, за что им всем выпал этот путь по сырому бетону, мимо сирых туманных полей к угрюмой, невидимой, их поджидавшей громадине. Внезапно в толпе появилось лицо отца, молодое, бледное, без единой кровинки, как тогда, в кумачовом гробу. Оглядело ее и скрылось. Она торопилась, сбивалась с шага, прижимала к животу бледные цветы и листья платка, шептала: «Куда ты ушел? Почему меня оставляешь?»

Толпа валила, клубилась, выталкивала из себя быстрые косматые протуберанцы, снова вбирала их внутрь. Кто-то запел «Варяга», и тысячи нестройных, хриплых, кашляющих голосов подхватили песню о гибнущем корабле.

Комбат Мокеев, по пояс в люке, вглядывался в липкую, занавешенную туманом бетонку.

— «Первый», я — «четвертый»! — раздавалось в наушниках. — Идут

на вас тысяч пять или больше!.. Что делать, товарищ майор?.. Прикажите выдвигаться!

Два «бэтээра» бронегруппы оставались в городе, охраняя исполком и коттеджи. Две другие машины стояли на трассе, на подходах к станции, и майор, сидя в переднем «бэтээре», связывался по рации с остальными экипажами, ожидал появления толпы.

Глаза его были сощурены, всматривались в туман. Ожог на лице стягивал кожу, мешал говорить. Телу, стиснутому ремнями, было узко в люке. Он упирался плечом в пулеметный ствол, передвигал на боку кобуру с пистолетом, хрипел по рации:

— «Четвертый»! Я — «первый»! Прикрывайте коттеджи! Берегитесь бутылок с горючкой! Оставайтесь на связи!..

Двигатель ровно работал на холостых оборотах. Бетонка, глянцевитая, словно покрытая вареньем, пропадала в тумане. Сквозь мглу, сквозь гарь мотора начинал возникать, усиливаться, сливаться в гул и дрожание ровный, из полей, из неба надвигавшийся звук. Мокеев слушал, и все тело его напрягалось, пульсировало, сжималось под тесной одеждой, среди холодной брони.

Млечная дымка уплотнилась, наполнилась тьмой, плотной сердцевиной, прорвалась, и из нее стали выкатываться, вываливаться массы людей, выдирались из тумана, медленно, мерно наполняли бетонку, шли к «бэтээрам».

Майор вдруг испытал леденящий ужас, словно холод брони проник в сердце, в легкие, в печень, и они омертвели глыбами льда. Толпа надвигалась. Виднелись передние, взявшиеся за руки. Какой-то высокий, в рыжей шапке. Какая-то женщина с ребенком в руках. За ними качались, волновались головы, бессчетно белели лица, и было невозможно дышать — легкие были набиты снегом, в груди среди ребер остановилась глыба красного льда.

— Товарищ майор, ну их к черту! — водитель поднял к нему испуганное лицо. — Бензином обольют и спалят!.. Лучше назад, товарищ майор!

— Пулеметчик!.. Заряжай холостыми!.. Холостыми заряжай, пулеметчик!

Станция, громадная, наполненная работающими машинами, с жаркой ядерной топкой, мерно сжигала уран, двигала графитами, крутила стальные валы, выдавливала в провода непрерывный поток энергии. Люди, вытянувшиеся по дороге, шли ее захватить, остановить ее валы и колеса, потушить ее топку, охладить ее пар и воду. Два транспортера стояли на трассе между толпой и станцией, и водитель взывал из люка:

— Товарищ майор, сожгут «бэтээры»!

Толпа была близко, наступала. Различались белки в глазах, колыхание женских пальто, красная шапочка на голове у ребенка, костяшка стиснутого кулака, синеватое с провалившимися щеками лицо человека под мохнатой собачьей шапкой.

— Задний ход!.. Осторожно!.. Не стукни «второго»!..

Майор отмахивал назад хвостовому «бэтээру», и обе машины пятились, оставляя на липком бетоне ребристые следы. Толпа, ускорив шаг, видя отступавшие стальные машины, надвигалась.

Леденящий ужас прошел, сменился холодной яростью. Клокотавшая в толпе энергия доставала его, давила в грудь, отталкивала назад «бэтээры». Порождала в нем встречную ярость.

— «Второй», пулеметчик, заряди холостыми!.. Будешь бить по команде с «первым»!.. Трассеры поверх голов!..

Он вылез из люка, растопырил ноги по броне, отстегнул кобуру. Вытащил пистолет:

— Назад!.. А ну назад, вашу мать!.. На пулеметы прете!..

Ботинки его скользили по броне, искали скобу. Рубец на щеке горел, словно из толпы приложили к нему раскаленный шкворень.

Передние ряды приближались, съедали бетонную полосу. Топорщилась рыжая собачья шапка. Краснела детская шапочка. И вся мощь толпы давила в него, сдвигала назад, отрицала его. Тысячи рук тянулись к его транспортеру, готовы были схватить, скомкать, метнуть на обочину.

— Буду стрелять!.. Есть приказ применять оружие!.. Нападение на стратегически важный объект!.. Стой, вашу мать! — он размахивал пистолетом, черное рыло пулемета колыхалось, шарило по толпе, выцеливало красную шапочку. Толпа давила, клубилась, заглатывала пространство бетона.

— Эй, офицер, заткни в кобуру пушку! — кричали ему из толпы. — Ты что — мясник, в народ стрелять будешь? Мать свою вспомни, жену!.. Отойди, командир, с дороги!

Он пятился на броне транспортера, размахивал пистолетом, чувствуя давление тысяч зрачков, дыханий, стиснутых кулаков. Был проклят, распят, привязан к этой мокрой броне, привинчен к ней огромными, проходящими сквозь руки и ноги болтами. Ему не уйти, он зажат между угрюмой наступавшей толпой и близкой, заслонившей полнеба станцией. Будь проклята эта станция, и эта толпа, и пославшие его генералы, и вверенные ему бледные от страха солдаты, и вся его жизнь, его мыканья, пьянки, зловонье и нищета гарнизонов, война и гной лазаретов, тухлые запахи морга, бегство жены, тупое уныние, бессмысленное течение дней среди лязга железа, бессловесных солдатских песен, красных фанерных щитов. Пропади это все и исчезни!

— Стой!.. Стоять, суки драные!.. Стоять, кому говорю!..

Он ненавидел толпу, ненавидел свой страх, свои раскоряченные по броне ноги, кулак, стискивающий пистолет, ненавидел макушку водителя в люке, станцию за спиной, тупую, темную гору, о которой прежде не ведал, был сорван с места приказом, кинут на липкое бездорожье, поставлен здесь, на грязной бетонке, перед идущей толпой, чтобы заслонить эту гору, эту отвратительную тупую громаду.

— Стоять на месте!.. Последний раз говорю!

— Палачи!.. Стреляйте! — неслось из толпы. Комочек пламенел на голове ребенка.

Он испытал помрачение, будто из-под шлема на лоб, на глаза потекло лиловое, жидкое, затмило глаза фиолетовым. Он был готов крикнуть в люк пулеметчику, чтоб загрохотал, забил жарким воздухом вороненый раструб, и в толпу полетели тугие красные стержни, валили навзничь, прорубали в толпе коридор, и в это распахнутое пространство вонзить стальной брусок «бэтээра», посылать в оскаленные рты, в ревущие пасти грохот, огонь.

— Пулеметчик! — заорал он в люк. — Пулеметчик!..

Он увидел, из толпы, продираясь локтями, выскочил парень, худой, с русыми колючими усиками, в сдвинутом капелюхе, в растерзанной куртке. Стал подбегать, обгоняя толпу, махал руками, что-то выкрикивал. Мокееву померещилось, что в руках у парня какой-то предмет, быть может, бутылка с бензином, и он кинет ее сейчас на броню, она лопнет с тихим звоном у ног, омоет синим прозрачным пламенем, и ему снова гореть, умирать, орать от боли на операционном столе. Его рука с пистолетом поднялась навстречу бегущему. А тот, догоняя «бэтээр», раскрывая под усами часто дышащий рот, кричал:

— Командир!.. Товарищ майор!.. Мокеев!.. Да вспомни ты, наконец, Черикан!.. Джабаль-ус-Сарандж!.. Саланг!.. Вагапов я, Михаил!.. Нас вместе у Таджикана шарахнуло!..

Майор, не опуская кулак с пистолетом, вглядывался в близкое, остроносое, с русыми усиками лицо, встраивал, вписывал его в далекое видение ущелья, в зелень бегущей реки: их транспортер, задрав колеса, горел и хрустел, лопался боекомплект, а сержант сволакивал

его, Мокеева, под откос, шмякал в реку, сбивал, смывал с него липкий огонь, лил ему воду на горячее лицо.

— Это я, командир!.. Вагапов!..

Мокееву казалось, он сходит с ума, эта встреча здесь невозможна. Время выгнулось, выпучилось, и то, исчезнувшее, продавило собой реальность, вынесло из прошлого ту боль, ту благодарность и муку.

— Вагапов!.. Откуда ты здесь?..

Мокеев свесился с «бэтээра», желая коснуться бегущего человека. Коснулся, поймал его руку, и так они двигались — «бэтээр» катился и пятился, майор, зацепившись за скобы, держал за руку Вагапова, а тот бежал, улыбался, кивал, и майору казалось — второй раз явилось это бледное родное лицо, чтобы спасти его, и он спасался, ухватившись за худую холодную руку.

— Вагапов, милый, ты мой!..

Из толпы, из первых рядов, подныривая под локти идущих, выскользнул второй человек. Без шапки, с растрепанными волосами, в распахнутом пальто, под которым виднелась голая грудь. Ловкими скачками, делая заячьи скидки, он кинулся к «бэтээру», обогнал Вагапова, заглядывая на Мокеева счастливым смеющимся лицом, стал пробегать вдоль борта к корме, нагоняя другую машину.

Сбежавший из больницы безумец, счастливый тем, что ему удалось пробиться вперед, возглавить это триумфальное шествие, приближался ко второй машине, видя лицо водителя, медленное шевеление скатов. Нога его поскользнулась на глине, стала подворачиваться, и он в падении издал тонкий, жалобный крик. Колеса «бэтээра» подмяли под себя безумца, четыре раза прокатились по его груди и лицу. Мокеев, сидя на броне, слышал, как что-то лопалось и хрустело под скатами, как яичная скорлупа. Увидел, как нос транспортера открыл на бетоне расплющенное плоское тело в разметавшемся пальто. Лицо человека, по которому прокатились колеса, было плоским, кровавым, с выбитыми, на красных жгутах, глазами.

Это тело с разбросанными руками удалялось на мокром бетоне. На него набегала толпа, пыталась обогнуть, наступала, топтала, пропускала под собой, и там, где оно подминалось толпой, начинали клубиться головы, взмахивать руки. Толпа накрывала распростертое тело, дотаптывала его тысячью ног.

Вагапова не было рядом. Возникло видение — рыжая стена кишлака, убитая овца с кровавой жижей, женщина в разорванной парандже выходит из проулка, несет убитую девочку.

Мокеев, упираясь ботинком в скобу, подтянулся в люк, забросил ногу внутрь через стальную кромку, уперся подошвой в железную спинку командирского сиденья и выстрелил себе в висок.

Толпа услышала слабый хлопок, увидела, как осел и уродливо запрокинулся майор. И все они продолжали движение — пятились по бетонке два «бэтээра», висело в люке тело майора, клубилась, торопилась, вытягивалась по трассе толпа.

Горностаев из кабины бульдозера видел — два транспортера возникли на бетонке, приблизились с воем, затормозили на повороте. На переднем поверх брони, разбросав руки и ноги, лежал майор. На лице его был красный подтек, по уступам стальной оболочки стекала темная жижа.

— Застрелился! — крикнул Горностаеву солдат в каске, придерживая майора за ремень портупеи. — Идут сюда!.. Не будем стрелять!..

Машина вильнула кормой, развернув в сторону окровавленный лик майора, ушла к стройплощадкам. Следом прокатил второй транспортер, качая пулеметом, с мелькнувшими в люках касками.

Рухнула, упала последняя преграда на пути разрушения, и теперь только он один, Горностаев, остался между беззащитным, ослаблен-

ным, обреченным на разграбление миром и сбесившимися, ослепленными силами, устремленными в разрушение. Все, что вчера казалось незыблемым, исполненным грозной неодолимости, воплощало разум и мощь — станция, город, линии связи, индустрия, само государство, — все это упало, осыпалось, превратилось в дым; и ему, последнему, предстояло дать безнадежный бой ненавистным разрушительным силам.

Зачем? Почему ему? Почему расточились и исчезли невесть куда недавние витии, строгие правители, властные хозяева жизни? Бросили свои посты, свои министерства и штабы, свои дворцы и палаты, обрекли беспризорную страну на хаос и бежали. Может, и ему вслед за ними? Что он может, одиночка, песчинка, перед темным, охватившим страну разрушением?

Он тосковал, колебался, сидя на мягком сиденье в просторной кабине японского бульдозера. Ему хотелось убежать и скрыться, в леса, в поля, за далекие бугры, забиться в щель, в пещеру, покуда не появилась толпа. Наполнит переходы и машинные залы станции, слюнявые дураки, пьяные идиоты коснутся драгоценных приборов, чутких кнопок и клавиш. Многотонная кровля станции подымется красным облаком взрыва, взметнется расколотый раскаленный реактор. Туча ядовитого пара, смертоносного кипятка полетит над Русской Равниной, кропя города и селения, и каждая упавшая с неба капля сожжет навсегда живую жизнь.

Он колебался на шаткой грани бессилия и ужаса. Одолел свой страх и пассивность.

— Вперед! — он махнул рукой из кабины другим, стоявшим поодаль бульдозерам. — За мной! — снова махнул, просматривая сквозь толстые стекла лица Менько, Накипелова, размытый, в рефлексах света, силуэт Лазарева. — Вперед!

Бульдозеры загрохотали по трассе, цепляя бетон траками гусениц, перекатывая ножами всю ширину дороги, медленно вдоль промышленной зоны, паропроводов, укутанных в серебристые кожухи, вдоль корпусов насосных станций, под высоковольтной сетью, мимо шершавых стен машинного и реакторного залов. Выбрались в открытое, поросшее бурьяном и кустарником поле, вскарабкались тяжело на гору, и с горы в низине, куда уходила бетонка и взлетали, распадались клочья тумана, — открылась толпа. Черная, густая, намазанная на дорогу ровным глянцевитым слоем, как икра, выдавливаемая из банки. Выталкивала из себя разрозненные редкие клубеньки, снова сливалась с ними.

Горностаев передвигал рычаги и педали, слышал мощное дрожание мотора, двигался навстречу толпе. Она приближалась, единая, слитная, с неразличимыми составлявшими ее людьми, несла в себе смерть. Приблизится, набросится с ревом, окружит машины, выбьет стекла, протащит его сквозь режущие осколки, раздерет, растерзает, забьет, выбросит на обочину изуродованное окровавленное тело. Двинет дальше к станции. Но перед этим он успеет резануть ее отточенной сталью, садануть по ее тупой голове мощным литым ножом. Это и будет его последним в жизни поступком, последней предельной борьбой.

Он испытал мгновенное прозрение, почти счастье, в котором открылся ему смысл всей прожитой жизни, всех устремлений и жертв для этой последней жертвы.

— Вперед! — хрипел он, давя на педали, почти прижимаясь лбом к хрустальному стеклу.

Вдруг вышло солнце, ослепило его. Заиграло на зеркальных выгнутых ножах. Параболоиды ножей уловили солнце, и оно закипело в стальных зеркалах. Бульдозеры шли, качали перед собой сосуды с белой кипящей плазмой, и толпа увидала их. Пять медленных чудищ

двигались по дороге, посылали в толпу разящие лучи. Толпа остановилась, ослепла, стала бугриться, выдавливаться на обочины.

Горностаев с горы увидел — из города, из тумана появилась колонна грузовиков. Высокие короба подкатывали в тыл толпе. Из машин посыпались на землю солдаты, выстраивались в цепочки, смыкали каски, скрывались за квадраты щитов.

Солдаты внутренних войск выгружали из машин щиты, амуницию и с ходу, цепями, вонзались в хвост толпы, вклинивались, рассекали ее, давя, на две стороны, колотя резиновыми дубинками, глуша щитами. Стеная, ахая, толпа разлеталась, пропускала сквозь себя отточенное острие. Люди скатывались с насыпи, попадали в грязь, в топь, бежали по полю, проваливались в рытвины, вязли. Дорога, в криках, в лязге щитов, освобождалась, и солдаты, прорываясь к головному клубку толпы, расшвыривали его, преграждали путь, вставали на пути двойной, склепанной из чешуйчатых заслонок шеренгой, давили, гнали обратно.

Толпа разрушалась, редела, разбегалась с воем по окрестным полям и болотам, а солдаты, мерно давя щитами, оттесняли ее обратно в город, прочь от станции. Хватали, заталкивали в грузовики непокорных.

— Отлично!.. Так их!.. Еще!. — кричал Горностаев, видя избиение толпы. — По башке!.. Скоты!.. Идиоты!..

Бульдозеры медленно двигались по бетону, приближаясь к побоищу. На бетоне валялись шапки, солдатские каски, растоптанная гармошка. Прилипнув к плитам, грязный, затоптанный, лежал оброненный женский платок в розах, бутонах и листьях. Гусеницы бульдозера наехали на платок, перетерли его зубчатой сталью.

Глава тридцатая

В городе разместились войска. Солдаты с дырчатыми жестяными щитами окружили горком, исполком, встали на охрану коттеджей. Патрули в зеленых бронежилетах и касках, покачивая дубинками, расхаживали у теплого, в курящихся дымках пепелища с остовом обгорелого храма. В микрорайоне у детского сада бугрились брезенты военных грузовиков, солдаты жгли в консервных банках солярку, разогревали тушенку. Станция была окружена заслоном, на подъездах, подходах, среди стройплощадок маячили каски. Патруль на бетонке, вооруженный автоматами, проверял редкие, устремлявшиеся к станции машины. Город был усмирен, резиновые дубинки и стальные щиты расшвыряли толпу, загнали ее в дома, в подъезды, в общежития и бараки. На голых улицах в жидком солнце блестела липкая слизь.

Катюха после ухода насильников, изломанная, изодранная, оставалась лежать в кровати, как в луже. Не могла подняться, не могла позвать на помощь. Пробуждалась, начинала стонать и плакать, начинала кричать и с этим криком проваливалась в ужас, в обморок, в хлюпающее красно-черное забытье. Снаружи за стенами продолжали гудеть и орать. Раздавался топот, пьяные свисты, песни. Кто-то рыдал, кого-то били, валили. Там, в городе, продолжали насиловать. Изнасилованный город пах бензином, вином, потом. Так же пахли ее кровать, ее тело, изодранное в клочья платье. Ей не хотелось быть. Приходя в себя, она начинала тонко, по-звериному выть, и с этим воем опять забывалась.

Очнулась днем — серые грязные окна, разгромленный стол, сдернутая скатерть, поколотые чашки и блюдца. Насильники, уходя, дернули за абажур, тряпичный колокольчик абажура валялся на полу, провод обнаженно свисал с потолка. Катюха сидела на постели, при-

крывая разорванными лохмотьями голые ноги со следами синяков и царапин. Ее одежда была раскидана по полу, затоптана, и ей казалось — от этой одежды, от ее ног, от всех предметов исходит тошнотворное зловоние. Ей вдруг почудились шаги, показалось, что насильники возвращаются. Она кинулась к двери, захлопнула ее на защелку и, схватив дворницкий лом, занесла его над дверью. Руки ее стали дрожать, по лицу текли слезы, и она стояла босая с ломом и плакала.

Ей было невыносимо. Болело изуродованное, изувеченное нутро, болело лицо и грудь, болел душный, окружавший ее воздух. Ей захотелось немедленно убежать прочь, навсегда из этого жуткого места, где случился ее позор, ее несчастье. Кинулась к шкафу, под кипой газет отыскала деньги, несколько скрытых накопленных ею десяток. Сейчас она набросит пальто, втиснет босые ноги в тяжелые сапоги, бросится на автобусную остановку, до поезда, до первого, любого, проходящего, чтобы исчезнуть навеки.

Она оделась, запихивая под пальто разорванное разноцветное платье. Отомкнула дверь, выглянула наружу. Улица была мокрой. Мимо шли солдаты в касках, несли на плечах ребристые дырчатые щиты. Прошлепали по воде, отражаясь в лужах. Из-за угла выскочил человек с безумным лицом, растрепанный, в космах седых волос, в распахнутом пальто, из-под которого виднелась больничная пижама. Мчался по лужам, подымая грязные всплески. Следом выкатил железный фургон, обогнал его, из торца выпрыгнули два здоровяка в белых шапочках, схватили человека, стали тащить к фургону. Тот вырывался, выкрикивал:

— Не скажу!.. Никогда!.. Никуда!..

Его схватили под мышки, подбросили вверх к дверям фургона, и двое других, стоящих внутри, утянули безумца во тьму.

Катюхе показалось, что и ее сейчас захватят, кинут в фургон, повезут на площадь, выставят напоказ, на позор перед огромной толпой, и она будет стоять на виду в разорванном платье, все будут тыкать в нее, насмехаться.

Отпрянула от дверей, замкнула их наглухо.

Ее дом, ее дворницкая были местом, где ее изнасиловали. Где она нарядилась в красивое платье, ждала жениха, рассматривала в зеркало свое сияющее лицо, и где ее изнасиловали. В углу стояли лопаты, скребки, метлы, тускло блестел железный лом. Орудия ее труда, предметы ее быта и жизни, свидетели ее изнасилования.

Ей было страшно, дико. Она стала звать на помощь мать, брата, дядьев, соседей, чтобы они приехали из деревни и взяли ее отсюда, увезли домой. Но они не являлись. Тускло, тупо блестел из угла лом.

Она стала молиться, чтобы ангел небесный явился к ней, накрыл покровом, унес с собой. Но ангела не было, а тускло блестел в углу лом.

Страдание ее было невыносимо. Босая, стараясь не наступать на острые черепки посуды, подошла к столу. Залезла на него. Обмотала вокруг шеи провод. Закрутила, затянула его, поднимаясь на цыпочки.

На мгновение мелькнула мысль, драгоценный, живший в ней образ. Церковь, свечи, серебряный венчальный венец, и жених Сергей плывет к ней навстречу, держит стебелек свечи.

— Сережа! — крикнула она, бросилась к дверям. Провод врезался в шею, ноги оттолкнули стол, и она повисла посреди дворницкой, затянутая в шнуре, не касаясь ногами пола.

Антонину швыряло в толпе, из края в край, когда ударили в людей сомкнутые щиты и в гущу, рассекая ее, врезался зачехленный металлом таран. Солдаты, раздавая удары дубинками, членили, расслаивали, расшвыривали толпу, продираясь от хвоста к голове.

Антонина потеряла платок, которым закрывала живот. Рядом с ней стенали, матерились, били кулаками в щиты, отвращали лица от черных разящих палок. Люди сбегали с обочин, вязли в грязи, теряли сапоги и туфли, бежали босиком по жидким чавкающим болотам, застревали, увязали посреди мокрого поля, голосили и выли.

Рядом с ней солдаты били резиной здоровенного отбивавшегося кулаками рабочего. Он гвоздил по щиту, а его глушили, дубасили по лицу, по затылку, выбивая из него ярость и хрип. Женщина с тонким визгом, посадив себе на плечи ребенка, патылась выбраться из побоища. Ребенок, воздетый над толпой, молчал, с ужасом смотрел на кипящее месиво.

Солдат в каске, в зеленой металлически-твердой манишке, выставив щит, взмахивая упругой дубинкой, протискивался к Антонине, и она увидела близко его обезумевшее молодое лицо, кричащий рот, голубые, ошалелые, под белесыми бровями глаза.

— Не надо! — крикнула она ему, видя, как поднимается вверх его грязный, сжимающий палку кулак. — Не надо бить!

Ее слабый крик был услышан. Их глаза встретились. На лице солдата мелькнули боль, ужас, непонимание; мгновение назад яростное, ненавидящее, оно стало вдруг беспомощным, кулак с дубинкой опустился, не нанеся удара.

Сброшенная с трассы толпа клочьями рассыпалась в поля и окольными путями, путаясь в перелесках, увязая в болотах, пробиралась обратно в город.

Антонина, выдавленная на обочину, по кромке гравия среди ржавчины, бензиновых пятен побежала вперед мимо рыжих заслонявших дорогу бульдозеров, мимо бегущих солдат, к станции, к стройке.

Забрызганная, закиданная грязью, миновала управление стройки. Перед входом стояли зеленые транспортеры, выставив пулеметы. У колес был расстелен брезент, и на нем лежал офицер с открытым ртом, с кровавой дырой в лице. Солдаты стояли поодаль, боялись к нему подойти, отводили глаза от изуродованной головы.

Повсюду по стройплощадкам маячили серо-зеленые фигурки солдат. Виднелись у входа на станцию, на кровлях блоков. Выглядывали из котлованов, из проемов фундамента. Вдоль озера, расплавленная блеском вод, прерываясь и тая, бежала цепочка солдат.

Антонина пробралась сквозь скопище опустевших, безлюдных бытовок, добралась до синего, облупленного вагончика, где еще недавно гнездился «Вектор» и она приходила к Фотиеву, в его маленькую конторку. Дверь была не заперта. По приступкам она вошла внутрь.

Здесь было холодно, тускло. На верстаке стояли краски, банки с клеем. Лежало белое полотнище лозунга, закрепленное на двух палках, — транспарант для митинга. Тихонин не успел его завершить — начальство колонии запретило «зэкам» выходить в митингующий город, на бастующую опустевшую стройку. Надпись на транспаранте гласила: «Даешь «Вектор»!» Антонина потрогала плохо отесанные палки, намалеванные, запекшиеся на полотнище буквы.

Она сознавала — случилось ужасное. Грязь, насилие, мерзость. Резиновые, бьющие по животу дубинки, стальные, ударяющие в живое щиты. И это только начало — будет еще ужаснее, будет больней и страшней. Но главные боль и ужас ожидают Фотиева. В поисках истины, уповая на добро и гармонию, витийствуя о возможном цветении, он затеял свой «Вектор», вовлек в затею других, повел за собой, но обещанное добро и гармония обернулись погромом, хрястом костей. И этого ему не снести, он погибнет. Явится сюда и погибнет. Все его силы и жизнь иссякнут в момент возвращения, когда увидит разгромленный город, солдат на станции, мертвого офицера на брезенте. Увидит этот белый бесполезный транспарант с нелепой надписью: «Вектор»!

Она страдала, жалела Фотиева, звала, страшилась его возвращения. Он явится и начнет погибать, разрушаться на глазах с каждой секундой. Его большое сильное тело, неусыпный, в вечной работе ум начнут распадаться, превращаться в труху. И только она будет в силах его уберечь, отвратить разрушение, отвлечь от сокрушительной истины — о нем самом, о прожитой жизни, о взорванном бытие. Обратить его дух и разум на иную возможность жить, на иную присутствующую в мире истину. Их любовь, их семья, рождение ребенка, жизнь друг для друга — вот где спасение, вот что его спасет.

Она испытывала к нему большую любовь и нежность, знала, в чем его спасение, искала, как помочь ему, чем встретить, как отметить его появление.

Схватила транспарант, скомкала, сложила, намотала ворохом вокруг палок. Прижимая к груди, вынесла из вагончика. Заторопилась к стройплощадкам.

Мимо проходили солдаты, устало несли на плечах щиты, равнодушно на нее посмотрели. Пролязгали, прочмокали в стороне тяжелые оранжевые бульдозеры. Станция среди рытвин, железного мусора, талой воды возносила бетонные массы, круглила цилиндры и башни. На бетонном реакторном корпусе светлело расплывшееся пятно — медведь поднялся на задние лапы, раскрыл в вышине объятия. Хрупкая конструкция строительных лесов окружала башню. Валялась груда металлических труб, крепежных деталей. Наверх, на леса, вела деревянная стремянка.

Прижимая к груди матерчатый ворох, Антонина полезла наверх, на леса. Она неясно понимала, что делает, зачем ей нужно вознести наверх транспарант. Быть может, вопреки разгрому и крушению «Вектора» — возвестить о нем людям, или приветствовать возвращение Фотиева, или послать подавленному, угнетенному люду весть о возможном спасении. Она не знала, зачем, но хотела укрепить транспарант, подвесить его в высоте.

Дул ветер, качал леса. Звенело, колыхалось железо. Руки ее хватались за мокрый ржавый металл. Сверху, с высоты, за всеми котлованами и рытвинами начинали открываться поля, туманные сырые леса, белый блеск озер и высокое приближавшееся небо.

Она вышла на узкий деревянный настил, прижатый к шершавой башне. Стала укреплять транспарант, развертывать рвущуюся на ветру ткань. Медведь поднимал над ней лапы, следил за ней из стены. Она подумала — Фотиев едет сейчас по дороге в маленьком скрипучем автобусе. Еще один поворот, и ему откроется город, станция и эта башня, и он не увидит, а угадает, что она, Антонина, ждет его, шлет ему издалека весть, стремится к нему навстречу.

Она почувствовала, как заколебался и пошатнулся окрестный мир. Стал смещаться, стремиться вверх, а она стала проваливаться, окруженная ветром, шатким колким железом. Она падала среди разрушавшихся конструкций вдоль шершавой бетонной стены, и в ее изумленных глазах возник океан с зеленой горой, бурлящие в потоке рыбины, и отец подымается к ней по склону, молодой, веселый. Она проваливалась в пустоте, прижав к животу руки, защищая ребенка. Упала без крика. Все погасло в ударе. А сверху, от башни, вдоль громадного цилиндра реактора продолжало рушиться, бить и колоть грохочущее железо, погребая ее под тяжестью, смешивая с грязью и ржавчиной. Наваливало поверх нее уродливую гору труб.

Через день состоялся пуск станции. Еще город оставался под надзором солдат, разъезжали по улицам брезентовые фургоны, у исполкома дежурил патруль, поставив на асфальт жестяные щиты, подперев их резиновыми палками, а из Москвы примчалась кавалькада черных машин, длинная глянцевитая «Чайка». Пусть безумствует го-

род, полнятся ропотом общежития, голосит на площади митинг, и кто-то убитый, растоптанный, коченеет в сумерках морга, но станция, детище индустрии, ожидаемая жадно промышленностью, должна быть пущена в срок.

На пульте диспетчера у выгнутой мерцавшей стены с бессчетными циферблатами, кнопками, клавишами в разноцветном мелькании ламп собрались операторы. Нервные, тревожные, чуткие, касались клавиш, включали системы, приводили в движение множество машин, механизмов, зажигали на пульте гроздья огней. Станция оживала, шевелила в своих толщах рычаги, вращала валы, крутила колеса. Энергия проникала в ее угрюмую плоть, безжизненные холодные массы начинали пульсировать. Люди у пульта, как массажисты, массировали ее пальцами, втирали в нее тепло, вталкивали жизнь, вдували душу. Она оживала во всех своих элементах, расправляла окаменелые члены.

Возникали сбои. То один, то другой агрегат включался неточно. Тогда на пульте вспыхивало табло тревоги, истошно сигналил звонок. Станция отключалась, ее покидала жизнь. Операторы, как врачи, прослушивали ее и простукивали, находили в громадном тулове малую помеху, неточное сопряжение сустава, не успевший замкнуться крохотный лепесток. И снова включались машины, громада шевелила своими стальными телесами, двигала железные мускулы.

Сердцевина реактора накалялась. Невидимый, бестелесный пламень разгорался, насыщая могучим огнем чрево станции. Сквозь лоно станции, ополаскивая его, проносились потоки воды, клокочущие реки кипятка, шумящие струи пара. И уже изливалось вовне невесомое, бесплотно-чистое, как дух, электричество, струилось в медные жилы, переливалось чаша за чашей, вычерпывалось из черного колодца станции. Над полями и топями неслось к далеким городам, омывая усталый социум, его дряхлеющее утомленное тело, продлевало жизнь.

Люди у пульта обнимали друг друга. Словно братались, просили прощения, вдохновляли друг друга на продолжение трудов, на великий стоицизм и терпение, побуждавшее их строить среди разрушения.

Стальные мачты в серебряных перьях, в распахнутых перекрестиях, как огромные, бегущие по земле журавли, передавали из клюва в клюв связки проводов, стеклянные бусы изоляторов. Высоко над мачтами трещали короны, пульсировало чуть заметное зарево плазмы. Волна электричества, спадая и нарастая, катила над лесами и рощами, над талыми, с черной водой болотами.

Под проводами по просеке, проваливаясь в рытвинах, озираясь по-звериному, уходил Чеснок. Покидал истерзанный город, где не было ему места. Тосковал, ненавидел, вечный бродяга, изгой, наказанный Бог знает кем, Бог знает за какую вину, обреченный на зло и несчастье. Тугая волна электричества прокатывалась над ним, била его, хлестала, гнала по земле.

После пуска второго блока, когда были посланы телеграммы правительству и станция, набрав проектную мощность, включилась в энергосистему, — состоялось избрание Горностаева на должность начальника стройки. Не было дебатов и споров, не было альтернативных фигур. Весь коллектив, и друзья, и недавние, казавшиеся непримиримыми недруги, единогласно его избрали. Усталый, исхудалый, с синими подглазьями, он благодарил инженеров и техников, обещал им твердое справедливое руководство.

Быстро, без лишних разглагольствований, он восстановил на работе Накипелова. Прекратил все разбирательства, связанные с забастовочным комитетом. Сам пригласил к себе Михаила Вагапова и вручил ему ордер на новую квартиру. По просьбе Накипелова съездил в колонию «неосторожников», заступился за Тихонина — объяснил его

опоздание в зону неотложными нуждами стройки, и с того сняли взыскание. После его же настойчивых требовательных звонков в город были ускорены поставки продовольствия и промтоваров в городские магазины. Все, и рабочие, и инженеры, были довольны завершением смуты, утверждением Горностаева, колбасой и мясом, партией телевизоров и холодильников, появившихся на прилавках.

По-прежнему толпились на остановке утренние рабочие смены. Рыли котлованы бульдозеры. Стучали в бетон сваебои. И исчезли солдаты. «Бэтээры» увезли бездыханное офицерское тело. И другое тело — безумного, раздавленного толпой, — отправили фургоном в Москву.

В такой усмиренный, переживший потрясения город въезжал Фотиев на разболтанном малом автобусе. Желтая цветущая ива, как люстра, горела среди серых опушек. Проезжая мимо, он счастливо думал о близком предстоящем свидании.

4

Через несколько дней хоронили Катюху и Антонину. Перед маленьким, на отшибе больничного двора боксом собралось много народу. Стояли два автобуса, выделенные управлением стройки. Люди переминались, негромко переговаривались, поглядывали на закрытую дверь, которую должны были отворить санитары, впустить провожающих в прощальный залец.

Здесь были братья Вагаповы, молчаливый, печальный Михаил поддерживал за локоть Елену, ее большое, веснушчатое лицо было в слезах, и она то и дело всхлипывала, обнимала притихшего ссутуленного Сергея. Тут же стояли Накипелов и Менько с болезненно-желтыми, обвислыми щеками. Оба отлучились со стройки, где поджидали их планерки, заседание штаба, бесконечные хлопоты по строительству следующего возводимого блока. Отец Афанасий с растрепанной бородкой встал поодаль на сухое место, чтобы не замочить в лужах ветхую ряску, перебирал на груди цепочку распятия. Тихонин жался к нему, то и дело доставал несвежий платок, громко сморкался.

Отдельно в стороне стоял Фотиев. Без шапки, всклокоченный, с белой отпавшей прядью, с лицом потемневшим, костлявым, на котором круглились, бегали, наполнялись слезами глаза. Губы что-то шептали, он делал шаг к затворенным дверям, останавливался, подавался назад, начинал озираться по сторонам, словно кого-то искал. Не находил, замирал.

Тут же зябко переминались председатель профкома, библиотекарша, газетчик. Дверь бокса не открывали. За ней слышались голоса. Больничные санитары делали последние приготовления, обряжали покойниц.

Подкатила машина, встала у погребальных автобусов. Из нее вышел Горностаев, в черном пальто, с белым, без кровинки, лицом. Приблизился, поклонился общим поклоном. Заметил Фотиева, колебался секунду, переступая на месте, быстро подошел.

— Не ожидал, что придется вот так... Все ужасно!.. К тому и шло... Я хотел вам сказать, именно теперь, сейчас, потому что больно, невыносимо... Я виноват перед вами, во многом не прав... Я страшно виноват перед ней!.. Простите меня!.. Если бы только она услыхала!.. Но теперь, когда я опоздал, когда оба мы опоздали, я все-таки хочу вас просить... Оставайтесь здесь, в Бродах, ваша работа будет продолжена, я вам обещаю!.. Мы должны примириться... Во искупление случившегося... В память о ней... Все, что случилось, ужасно!..

Фотиев смотрел на него, старался понять, не мог. Сделал усилие, понял, кто стоит перед ним, что говорит, о чем просит. Губы его задрожали:

— Я уехал, оставил ее, бросил!.. Если б не уехал, она бы осталась жить... Она и ребенок... Я во всем виноват!.. Вы были правы, мой

«Вектор», моя слепота, мой эгоизм — они убили ее!.. Мне нету прощения, нету пути!.. Все бессмысленно, навсегда!..

— Должно быть, мы ее не любили, если дали ей умереть... Боролись друг с другом, спорили, тратили на эту борьбу все силы, а погибла она!.. Из-за нас погибла!..

— Я любил ее, очень, ехал ей об этом сказать... Ива цвела на опушке... И я так торопился!.. Не успел... Навсегда...

Двери бокса стали открываться со скрипом, и в тусклом, освещенном лампочками пространстве стояли рядом два гроба, два красных бруска, и в них что-то неясно, слабо светлело. Все, кто стоял в сыром ветряном свете, устремились торопливо туда, на эту робкую беззащитную белизну.

В автобусе они сидели рядом, Горностаев и Фотиев, держались за крышку, за красный, натянутый неровно кумач. Горностаев думал, с горестным больным изумлением, что теперь навсегда расстается с поманившей его возможностью иной жизни, иной судьбы, оглянувшейся на него своей красотой, добротой, посулившей счастье, которое он упустил, отпугнул. И теперь до скончания века тянуть ему за собой черные громады бетона, горы неживого железа, жуткий, в бунтах и смятении мир, укрощать его своей одинокой волей. Он держался за гроб, недвижно глядел в окно, за которым тускло, невзрачно мелькал серый город.

Фотиев касался кумача, и было ему странно и страшно думать, что за этой тканью — непросохшее сосновое дерево, а под деревом — белая простыня, а под простыней — ее неживое хладное тело, а в этом теле — неживой, не успевший родиться ребенок. Его, Фотиева, бессмертие, бесконечность, его спасение, которое вдруг обрел среди заблуждений и трат, и, воскреснув для новой жизни, торопился к ней хотел ей об этом сказать. Не успел, и теперь никогда не скажет, не увидит лица ребенка. Остаток жизни будет слепым, без надежды кружением, все по тем же бессмысленным, лишенным центра кругам.

Они оба взялись за гроб, вынесли его из автобуса. Несли на плечах, опустили у края могилы. И две их руки одновременно уронили в могилу на гулкое дерево рассыпчатые горсти земли.

Через девять дней собрались еще раз на новой квартире Вагаповых. В пустой, просторной, без мебели комнате был поставлен стол с небогатой снедью. Отец Афанасий отслужил краткую панихиду.

В воздухе повис и не таял сладкий синеватый дымок кадила. И все они сидели, поминали усопших, и у Фотиева на лице были непрерывные слезы.

На улице было солнце, все блестело, играло. На площади перед кинотеатром поставили на постаменте самолет, зеленый, с яркими красными звездами. Детишки облепили памятник. В честь пуска станции городские власти устроили гуляние, включили на перекрестках громкую музыку, и народ высыпал на эту музыку из домов, заполнил улицы нарядным многолюдьем.

Они сидели в застолье, зная, что собираются вместе в последний раз. Пути их расходятся навсегда. Встал отец Афанасий, сложил на груди руки, прикрыв ладонями белое с чернением распятие.

— Возлюбленные братия и сестры, мы скорбим по усопшим, ищем, и не находим их в нашем застолии. Ибо обе они, рабы Божии Антонина и Катерина, отправились в путь свой к Господу, а мы еще задержались на грешной земле. Обе они мученицы, обе пострадали от зла, и у обеих сердце было открыто добру. Верю, что они будут прощены и сядут рядом с Господом во Царствии Его. Нам же, братие, еще предстоит странствие, хождение по русской земле, и у каждого будет свое искушение, испытание, свои горести и напасти. И увидим мы многие беды, многие страдания родной земли, но пусть ангел небесный

следует за нами по пятам, накрывает нас пресветлыми своими крылами в час тьмы, указует путь ко Господу. И когда-нибудь, братие, мы снова сойдемся вместе, но уже не в этой юдоли, а в жизни вечной, не за этим столом, а у престола Господня! С миром, братия!

Они сидели, пили из чарок водку. По лицу Фотиева всё бежали и бежали прозрачные обильные слезы.

Минул год, и иная весна снизошла на эти воды и земли. Сельский учитель Владимир Гаврилович Костров на лодке проплывал по озеру над местом, где когда-то стояла Троица, его родное село. Он плыл над крышей отчего дома, над темным коньком, где в зимние синие ночи туманился дымок и горели белые звезды. Ворочая уключины, тревожа веслами озерную воду, он вглядывался в глубину. На дне, в несуществующем мире, на травянистом дворе стоял он сам и отец, и мать, держались за руки, поднимали вверх лица, смотрели в небо, где плыла его лодка.

Он проплыл село, приблизился к полузатопленной церкви, чей белый шатер нежно отражался в голубизне. Сквозь проем окна, наклонясь, он вплыл в сумрак церкви. Вода стояла ровно, темно. Сюда не залетал ветер, и лодка, расколебав воду, застыла среди ликов святых и угодников. Голубоватый, начинавший осыпаться ангел зорко смотрел со стены.

Костров сидел в лодке, сердце его слабо болело, он вел непрерывный, беззвучный разговор с отцом, слышал его голос, его скрипучий смех. Знал, что душа отца не там, на горе, среди крестов и розовых, наполненных соком берез, а здесь, рядом с ним. Чайка влетела в церковь, оглядела его маленьким пронзительным оком и, уронив с перепончатых ног блестящую каплю, вылетела в сияющую арку окна.

Отец Афанасий ночевал на вокзале в грязном станционном строении, где тянуло холодным дымом и желтели тяжелые лавки. Священника окружали подвыпившие говорливые люди. Какой-то темноликий путеец, женщина с азиатским лицом, затянутая в оранжевую куртку, парень с утиным носом и печальный старик со слезящимися глазами.

— Пил и пить буду! — совался к священнику парень. — И вы, отец святой, не запретите!

— Ты батюшку не тронь. Он, батюшка, задачу имеет молиться, а ты задачи такой не знаешь! — укорял малого небритый путеец. — Ты задачу свою как понимаешь? Стакан пропустить, и галдишь! Райка, скажи ему!

— Балда он, и все, — ответила женщина в рыжей робе.

Они еще галдели, ссорились, начинали петь и снова бранились. Потом угомонились, улеглись по двое на голые лавки и затихли среди тусклого света, зловонного сквозняка, бормотаний и всхрипов.

Отец Афанасий молился о всех, скитающихся по Руси. Слушал громыхание каменно-железных составов, и ему казалось, где-то в ночи под мелким дождем, обгоняемый грохочущими платформами, идет Христос. Босой, в длинном до земли одеянии, ступает по бурьяну, по колючему гравию, по ржавой насыпи. Стопы его, едва касаясь земли, охвачены легким свечением.

Сергей Вагапов с артелью ловил рыбу на горных озерах. Белая полная луна длинно, ровно пересекала черную воду. По белому отражению чуть видимой дрожью пробегал блеск — то ли шлепнул в стороне рыбий хвост, или билось упавшее в воду насекомое, или всплыл с илистого дна пузырек. Лодка вышла на середину озера, и рыбаки, захватив буй, подгребали к берегу. Перехватывали капроновый толстый канат, забредали в воду, хлюпали, кашляли, вытягивали из чер-

ных глубин медлительный невод, выволакивали его со стоном на берег. Отделяясь от лунного блеска, от темной лакированной толщи, взорвался, забурлил огромный ком серебра. В небо, в глубь леса, в корни трав полетели ярчайшие брызги света, размазывались плазмой, голубели пламенем. Рыбаки вытаскивали грохочущий слиток, хватали застрявших в ячеях гибких щук, плоских красноперых язей, змеевидных налимов. В воздухе, в лунном блеске стоял льдистый запах слизи, рыбы грохотали, люди в сапогах ходили в огненном месиве, гребли серебро лопатами.

Тихонин, проживая в крохотном городке, ютился в каморке, в полуподвальном чулане при доме культуры, где рисовал на холстах кинорекламы, а на фанерных и жестяных листах объявления для окрестных совхозов, вывески для автобазы и склада. Разделавшись с дневной работой, он дожидался, когда протопают над головой ноги зрителей, покидавших зал после последнего сеанса. В доме устанавливалась тишина. Он зажигал все лампы, все лишенные абажуров светильники и, сбрасывая с мольберта покров, открывал картину.

На картине было застолье. Плотно, плечом к плечу, с озаренными недвижно-сияющими лицами сидели друзья. Фотиев с листочком испещренной бумаги. Рядом с ним Антонина, набросив на плечи платок. Михаил Вагапов с женой держали на коленях сына. Сергей обнимал Катюху, и на той было цветастое платье. Накипелов в кольчужном свитере был похож на богатыря. У отца Афанасия по черной ряске ползла красная божья коровка. Сбоку, у края стола, сидел он сам, мастер, держал в тонких пальцах зеленую веточку тополя.

Тихонин пристально, строго смотрел на картину. Проверял портретное сходство. Вспоминал выражения глаз, движения губ и бровей. Видел их всех живыми. Собрал их всех у себя в своей крохотной мастерской, в своем сердце.

Михаилу Вагапову снилось, что он лежит на дне песчаной воронки, рядом с ним белый череп умершей птицы, и в воронку прыгают к нему его боевые друзья. Еремин, погибший в Панджшере, Клубничкин, Головнев и Красуха, сгоревшие на «бэтээре» в Саланге, Садыков, подорвавшийся на мине в Гордезе, Водовозов, умерший от гепатита в Баграме. Все они прыгали к нему в воронку, прижимались холодными телами, и он чувствовал ледяной озноб. Сверху, невидимое, грохотало, блистало, дрожало, заваливало их камнями, будто двигался по земле громадный бульдозер, рыхлил ножом планету, наваливал на головы гору.

Михаил проснулся с криком, хватая руками воздух.

— Что ты, Мишенька, что ты! — Елена перехватывала его шарящие руки, прижимала к груди. — Это я, успокойся!

Он успокаивался, ложился на спину. Ночь, луна за окном, белое, близкое лицо жены, спящий в кровати сын. И мысль: «Я дома... Живой... Как хорошо, что дома...»

Маленький душный автобус катил среди желтых барханов. Дорогу заметало песком. У обочины белели, как кость, отшлифованные ветром надгробья. Автобус был наполнен мужчинами в полосатых халатах, курчавились мохнатые шапки, пестрели тюбетейки. Смуглые носатые лица пассажиров напоминали чернослив. Фотиев трясся на заднем сиденье, щурился на жалящий свет кварцевых песков, сжимал на коленях облупленный, с медными пряжками портфель.

Водитель, усатый туркмен, остановил автобус на развилке, где прямо из песка торчал бетонный столб и на нем прилепилась, полуосыпалась надпись.

— Куля-тепе! — крикнул водитель, отирая потное лицо платком.

Фотиев очнулся, поднялся, протиснулся среди кулей, кошелок, ветхих халатов. Вышел из автобуса, слыша, как заурчало за спиной, окатило его жаркой гарью.

Остался один среди ровного бесцветного пекла на дороге, усыпанной битым стеклом, с перетекавшими струями песка. Жар мерно струился, проникал сквозь одежду, впитывался в кровь, разносился с кровяными тельцами. Он стоял растерянно, не зная, куда идти, прижимая к груди портфель.

Ему вдруг показалось, что кто-то его окликнул, — какой-то знакомый голос, родной, любимый, прилетевший из-за бархана зов. Он испугался, стал шарить кругом глазами. Полез на песчаный холм, стал карабкаться, лезть, осыпая себе на ноги раскаленные песчаные ворохи, стремясь достигнуть вершины, увидеть там, за барханом, любимое, родное лицо.

Достиг вершины. Встал задыхаясь. Было пусто, жарко. Сердце колотилось в груди. За барханом слепо, металлически поднимались реакторы и башни химкомбината.

Он стоял на бархане в пустоте, старый, беспомощный, в чужой земле, и в воздухе, пронизанном жестокой радиацией солнца, все еще слабо звучал, улетучивался любимый, его окликнувший голос.

Глава тридцать первая

Пучок лучей пересек мироздание, вонзился в земную твердь, и четыре ангела прянули, пробили воздушные сферы. Каждый в своем луче, рассекая крыльями небо, помчался в указанную ему страну света.

Красный ангел в багровой заре пошел над Африкой, над ее песками и кущами, над малиновыми сочными землями. Желтый ангел заскользил над Китаем по его лимонному бледному небу, над рыжими плесами мутных горячих рек. Белый ангел метнулся к полярной шапке, омылся снегом, полетел на Америку, посыпая озера и степи влажными прохладными хлопьями. Синий ангел в голубом прозрачном луче, убыстряя полет, так что хлопали за спиной распушенные перья, кинулся к туманной, за дымами и дождями стране, всматриваясь с высоты в ее города и дороги. Синий ангел летел над Россией.

Ткань его плотных полупрозрачных одежд ровно шумела в полете. Вытянутые босые стопы чувствовали скольжение ветра. Крылья отточенными лопастями хлестали небо. За пояс его была засунута малая золотая труба, и струйки ветра, залетая в раструб, издавали унылые журавлиные клики. Он мчался, отводя от глаз развеянные светлые космы, вглядывался в мелькание земли.

Внизу на путях столкнулись два железнодорожных состава. Взрывались цистерны с горючим, выплескивали огромные ковши и струи огня на пассажирский поезд, сминаемый в грохочущую гармонь. Лопалось и хрустело железо, дробило кости, наматывало на валы живую кровавую плоть. Люди выбрасывались из вагонов, бежали, и их накрывало огнем. Белые факелы скакали, падали в лужи бензина, их окутывало прозрачной синевой, превращало в пар, в пепел. Женщина, в горящем платье, с перебитыми ногами, с липким ожогом лица, вытягивала над собой руки. В них, спеленутый, кричал младенец. Под насыпью в кювете текла, бурлила, набегала на них река огня. Умирая, сгорая, вытягивая руки с младенцем, мать увидела — кто-то прянул к ней с неба, проскользнул лазурью и канул. Исчезла навек среди белого железа и пламени.

Ангел выхватил ребенка из пламени, слыша за собой стоны и взрывы цистерн, перенес младенца через реки, леса, положил на зеленую траву на берег прохладного деревенского пруда, где цвели одуванчики и гуляли белые козы...

Могильный вор разрыл солдатские погребения, вытряхивал из могилы рыжие черепа, ржавые кости, черные лохмотья одежд. В липкой глине торчал искореженный ствол пулемета, полуистлевший башмак, пробитая каска. Вор расстелил на земле тряпицу, складывал на нее окисленные ордена и медали, золотые коронки зубов, а отдельно — шары черепов. Медали и ордена он продаст нумизмату, золото сбудет дантисту, а из черепов понаделает пепельниц, оправит в чеканную медь, выставит на сувенирном лотке.

Он отложил лопату, зажал между колен тяжелый, наполненный глиной череп, глядя сощуренными глазами в его круглые земляные глаза, стал ладонью чистить оскаленный рот. В комьях земли среди щербатых бело-желтых зубов сверкнули, как две яркие капли, коронки. Он взял плоскогубцы, захватил золотые зубы, стал тянуть. И вдруг в руку его ударила молния, прошумела из черепа дуга электричества. Вор, выброшенный из ямы, в ужасе помчался по полю. Кто-то яростный гнал его по могилам и рытвинам, хлестал синей плетью, изгонял с поля боя. Ангел вернулся к могиле, сложил на дно растревоженный прах, утоптал босыми стопами землю. Посадил на могиле березу, оттолкнувшись, взмыл свечой в небеса, уменьшаясь в синюю точку...

Охотник на последних мокро-белых снегах гнался за раненым лосем. Лось уходил, теряя кровь, ложился на снег, прижимался раной к хлюпающей холодной белизне. Остужал ожог и снова шел, проваливался, оставлял на снегу красные оттиски. Охотник на легких лыжах был увлечен гоном, огибал кровавые лежки, держа на весу ружье, ожидая, когда возникнет ослабевший, осевший на брюхо зверь, и тогда подойти осторожно, выцелить, успокоив дыхание, всадить пулю в лохматый коричневый бок. Охотник скатился с холма и, выскочив на опушку, увидел: зверь, оседая на задние ноги, вышвыривая копытами комья снега, подбирался к мелкой, сверкающей на солнце реке. Оглядывался огромным лилово-тоскливым глазом. Охотник, поднимая ружье, стал целить в зверя, в его горбоносую голову, рыжеватый живот, подымая мушку выше, к бугрящимся лопаткам. Он собирался нажать на спуск, как вдруг из снегов поднялось перед ним огромное пернатое диво, заслонило реку, зверя синим распростертым занавесом, глянуло на него разгневанным ярким лицом, кинуло в глаза красный, пропитанный кровью снежок. Охотник остолбенел, опустил ружье. Смотрел, как медленно перебредает реку раненый зверь, как туманится весенний воздух, храня в себе образ исчезнувшего синекрылого дива. На мокром парном снегу — два босых отпечатка, след пробежавших, толкнувшихся в небо ног...

Валютная проститутка в отеле отпускала от себя клиента. Это был мускулистый волосатый немец с лысеющей головой, продавец и покупатель сырья. Еще недавно он хрипел и сопел над нею, тискал и мял ее грудь, от него пахло туалетной водой, виски и кислым потом. Он одевался, перебрасывал через плечи цветные помочи, клал ей на столик деньги. Голубоватые купюры похрустывали в его руках, и на мохнатом пальце блестел жирный перстень.

Это был пятый мужчина за вечер. До него было два шведа-джазиста из приехавшей в Москву рок-группы. Один негр, торговец апельсинами, заключивший удачный контракт. И японец-журналист, приглашенный на международный конгресс. Все они оставались с нею недолго, рассказывали какую-то ерунду о Москве, о благоприятных политических переменах, насыщались ею, оставляли деньги, дарили какую-нибудь мелочь — зажигалку, помаду, авторучку — и торопились уйти. Проститутка устала, курила, натянув на грудь одеяло. Смотре-

ла, как немец надевает пиджак, фальшиво улыбается ей и идет к дверям, и улыбка сменяется брезгливым, почти гадливым выражением.

Она должна была принять еще одного — бразильца, который назвался физиком, дал ей визитную карточку с телефоном и маленькую брошку с перламутровым крылышком бабочки. Она докурила, лежала, медлила. Что-то мешало ей набрать телефон. Брошка на ладони голубела капелькой синевы, хрупким веществом другой земли и природы. Она вдруг вспомнила свою бабушку, ее милое маленькое лицо, белый платочек, мелкую торопящуюся походку. Они идут по московскому дворику, бабушка ведет ее в детский сад. Перед тем как отпустить в шумную, мятущуюся толпу ребятишек, наклоняется, целует, крестит ее и шепчет: «Ты мой ангел!.. Ангел мой ненаглядный!»

Она лежала и тихо плакала. В брошке туманилась сквозь слезы крохотная синяя бабочка...

На старой запущенной даче в сумерках сидел человек. Он был почти как старик — морщинистый, седовласый, сутулый. Пробовал писать, начинал страницу, беспомощно откладывал ручку. Он хотел описать свою жизнь, во время которой, выполняя секретные задания военной разведки, посещал воюющие районы мира, «горячие точки» земли, где шла борьба сверхдержав, горели джунгли, пылала саванна, самолеты пикировали на туманную сельву, и в горных ущельях пробирались боевые колонны. Всю свою жизнь, весь свой опыт разведчика он отдал государству, помогая ему сохраниться в грозном противоборстве систем. Он был несколько раз ранен, заражен тропической малярией, страдал от амебных заболеваний, которыми наградил его Восток. Но умирал теперь не от ран и болезней, а от непосильной тоски. Страна разрушалась и гибла. Противник ликовал. Падали одно за другим правительства, которые он, разведчик, насаждал и поддерживал. Рушилась, распадалась вся громадная геополитическая архитектура мира, возводимая государством с такими трудами и муками. Будущее грозило бедой, грозило войной, катастрофой. Предатели, захватившие власть, подрывали и губили Отечество, отдавали его в плен с его прошлым и будущим, с его величием, с его невоплощенной мечтой. Ненавидящему, преданному, ему нельзя было больше жить.

Он открыл ящик стола, достал пистолет. Взвел. Он знал, что сейчас умрет. Здесь, на старой заброшенной даче, раздастся негромкий выстрел. Почему-то решил, что худо, если в комнате будет дымно от выстрела. Выключил свет, чтобы не видны были жалкие листки на столе. Растворил окно, чтобы вытянуло пороховой дым.

В окне сквозь ветки ночного сада в небе замерцала влажная голубая звезда. Держа пистолет, зная, что выстрелит, он смотрел на звезду. Она продолжала мерцать, увеличивалась, приближалась, превращалась в живое видение. Женщина в чудном голубоватом свечении стояла перед ним на траве, и он узнал в ней любимую, которую когда-то покинул, пускаясь в странствия по морям, в пустыни и джунгли. Любимая, юная, она улыбалась ему, и в сердце его вдруг пропала тоска. Не было смертельной муки, а было загадочное слезное непонимание мира, своей малой, отпущенной ему в этом мире жизни, где была любовь, таинственная, хранившая его женственность. И быть может, после всех несчастий, потерь будет ему суждено отгадать, зачем он пришел в этот мир...

Синий ангел летел над Россией, над ее чугунными дорогами и ядовитыми дымами, над отравленными реками и вытоптанными лугами. Над народом, из последних сил спускавшимся в подземные шахты, наполнявшим угрюмые пространства цехов, в страшном напряжении душ, в предельном ожидании чающим своей доли — то ли воскреснет после всех избиений и трат, то ли исчезнет как дым, оставив опустелую Родину.

Ангел летел, гонимый тончайшим лучом, словно надетый на длинную, исходящую из мироздания спицу. Торопился утешить слабых, спасти погибающих, вселить надежду изверившимся. Облетев пределы России, закрыв на прощание глаза одинокой старухе, умершей в лесной деревеньке, взмыл в высоту, пробивая небесный свод, оставляя в тучах голубоватую лунку.

Ангел долетел до второго неба, коснулся стопами серебристой тверди. Сложил утомленные крылья, убрал в пучок маховые перья, поправил в волосах золотую нитку, легко вбежал в златоверхий, стоящий на небе храм.

Звезды, и солнце, и кометы, и луны, и туманные спирали галактик, и размытая легковесная пыль, приготовленная для сотворения новых светил и миров, — все это было внизу, глубоко, у подножия храма, парившего среди тончайшего света, колеблемого чьим-то незримым дыханием.

Ангел вбежал под своды храма, задев одеянием лампаду у входа и пучок березовых клейко-зеленых ветвей. Это был храм, где собрались на великую молитву русские мученики, погибшие во все века стояния Русской земли, снискавшие муку за ее славу, красу и правду. свидетельствуя перед Богом за свой народ. Таков был их труд после смерти, когда они, испив мученическую чашу, предстали перед престолом Всевышнего, и Он, обняв их всех, вручил им негасимые свечи и отправил в храм на непрестанную молитву о сохранении их земли и народа. Эта молитва и была их райским деянием, в котором они получали высшую сладость радения о любимой земле, о ее сбережении. Этими молитвами праведников во все долгие времена скорбей и напастей сберегалась и стояла Россия.

Ангел, побывавший на бренной земле, был посланцем этих молящихся праведников, выполнял их волю. Луч, на котором он несся сквозь земные пожары и громы, был светом от тихих свечей в руках святых и угодников.

Тесной толпой, все вместе, плечом к плечу, стояли воины, рать за ратью, век за веком, наполняли все дальнее, уходящее в бесконечность пространство храма, где их лики, их бороды, шлемы, шишаки, их кивера и кирасы, папахи, ушанки и каски сливались в родные волны света, в золотистое зарево Здесь были витязи и богатыри старинных киевских сеч, павшие в горючей степи за Днепром от половецкой стрелы, печенежской сабли, хазарской пращи. Здесь были лучники, конники двух великих битв, Чудской и Куликовой, и их щиты и кольчуги, хоругви и полковые знамена волновались золотым и алым шитьем. На общей молитве стояли стрельцы, пушкари, градобойщики ливонских и польских войн, азовских и турецких походов. Тут были солдаты и ополченцы Бородинского поля, ряд в ряд, батареями и полками, и их офицеры, молодые генералы стояли на молитве вместе с гренадерами, их свечи сливались огнями, и молитва, которую они пели, была из тех же упований. Тут были солдаты гражданской, офицеры Добровольческой армии, пехотинцы красногвардейских полков, и они были рядом, вместе, серебряный офицерский погон был рядом с красным бантом буденовца. Генерал Белой армии был рядом с убившим его конармейцем. Лики их были светлы, исполнены любви, а уста выдыхали единую, общую, о боли России молитву. Тут стояли бойцы, погибшие в сорок первом году, павшие в страшных и грозных сражениях на морях и на суше, где вскипала величайшая в истории мира война, и все они — мальчики, убитые в партизанском отряде, пожилые генералы, бравшие города и столицы, — были едины в молитвенном чувстве, обращали его к оставленной ими земле, где в братских могилах истлевали их кости, а сами они, нетленные, продолжали на небе незримую брань, спасали, сберегали Россию.

Ангел обходил их ряды, приник на мгновение к молодому пехотинцу, павшему под Сталинградом, чья жена состарилась во вдовстве, доживала свой смутный век, а сын, не видавший в жизни отца, сам был отцом и дедом. Ангел что-то шепнул пехотинцу, передал ему весть с земли, и тот радостно улыбнулся.

По другую сторону храма в пламени бессчетных свечей стояло духовенство, что мученической кончиной свидетельствовало перед Господом кротость духовную, готовность в любви молиться за гонителей своих, брать на себя грех народа своего, принести за него искупительную жертву, полагая на жертвенный алтарь свои жизни. Там были первые Святители Русские, выводившие народ на Христову тропу, павшие от мечей и каменьев волхвов и язычников. Были те, кто, запершись с народом в горящих храмах, молился последней Христовой молитвой, слыша за оградой стук татарских сабель, храп ордынской конницы. Были и те, кто надевал поверх подрясников и клобуков кольчугу и шлем, вступал в сечу на поле брани, или на стенах осажденного града, или у взломанных монастырских врат. Были и те, что пали от жезла неправедных правителей, заступаясь за гонимый люд, умягчая жестокосердие князей и царей, свирепых вельмож и безбожных вождей. Среди них же обретались и те, кто восстал на осквернителей веры, на хулителей святынь, разорителей храмов, указуя безбожникам на черные деяния их рук, принимая от них лютую смерть — плаху, топор, дыбу, кострище, или пулю в застенке, или смрадную гнилую баржу, отплывавшую от стен Соловецких. Были и те среди них, кто положил свою жизнь на построение и освещение храмов, на строительство монастырей и обителей, на воздвижение крестов в полярных льдах и каменьях, в горячих песках пустынь, у соленых вод океанских.

Все они стояли в ризах, клобуках, в черных рясах, среди хоругвей и плащаниц, держа неопалимые свечи, сливая свои юношеские и старческие голоса в единый хорал о славе Господа, об исполнении его заветов и заповеданий, о неизбывности Русской земли.

Ангел, обходя их молящееся толпище, приблизился на мгновение к игумену, убиенному Грозным царем, поправил седую прядь, выпавшую из-под скуфьи. А сельскому батюшке, убитому комиссаром в тамбовских лесах, завязал на парче серебряный шнур. Батюшка, не прекращая молиться, тихо ему поклонился.

Другой бессчетной общиной, наполняя церковь далеко, вдоль столпов, покуда хватало глаз, стояли крестьяне. Смерды, оратаи, землепашцы, хлеборобы со своими боронами, цепами и сохами, прихватив в небесную обитель кто сноп, кто охапку сена. Стояли, кто босый, кто в лаптях и онучах, те, что безвестно, безмолвно взрыхлили русскую пашню между трех океанов, умирая от непосильных трудов, от моров, пожаров, угоняемые в полон, сселяемые с земель, побиваемые батогами, изводимые гладами, рассеянные костьми по рудникам и каналам, по жестоким строительствам. Продолжали с последним дыханием бороздить суглинки и супеси, растить сирот, призирать вдов, колосить небогатые урожаи в прокормлении Руси.

Ангел подбежал к семье землепашцев, замерзших в безлюдной тайге. Хозяин с хозяйкой, окруженные малыми детьми, молились, прижавшись друг к другу, словно грелись. Ангел подстелил под их босые ноги радужный половик, тот, что когда-то устилал в их горнице пол, и они благодарно, все разом, переступили на теплую ткань.

Строго, истово молились мужи — устроители русской земли. Князья и цари, чьим мудрым правлением были приумножены земли, обустроены края и пределы, недопущены распри и смуты, отведены усобицы. Законники, положившие лад и согласие в людские сословия, творившие праведный суд, обуздавшие законом властителей, собравшие под справедливую длань беззащитных мира сего.

Художники, поэты, философы, украсившие русскую землю красою дворцов и храмов, сложившие стихи, песнопения, добывавшие мудрость, познания, устремленные к божественной истине. Врачи, инженеры, ученые, чьи науки и разумения облегчали народу труды, спасали от хворей и мук, умножали ремесла. Стояли тесно и дружно. Фраки мешались с кафтанами, пиджаки и мундиры с кольчугами.

Ангел обходил их ряд. Молодой стихотворец, умерший от чахотки в воронежской бедной усадьбе, протянул ему навстречу свечу, и ангел поцеловал золотое пламя.

Все предстоящие в храме многоголосо молились. Звук и слова молитвы превращались в свет. Он исходил из храма, накрывал шатром Россию, сберегал ее от темных энергий. Там, где шатер лучей касался налетающей тьмы, там происходило смешение потоков, взрывы и сполохи, искривлялось пространство. Люди Земли не замечали сражения в Космосе. Только старый монах в подземной пещере под Псковом ужасался, созерцая страшную, налетавшую на Россию погибель. Благодарил и славил Всевышнего, заслонившего Русь шатром невесомых лучей. Горний свет проникал сквозь толщи пещеры в его подземную келью, и монах читал без свечи.

В храме, в стороне от других, в деревянной, поставленной на пол лодке стоял русский царь, убитый в подвале дома. Его семья — убиенная царица, царевны и царевич стояли в ладье, той, что за год до смерти переплыла Иртыш под Тобольском. Гуляли в лугах, шел сенокос, крестьяне валили траву, ставили зеленые копны. И один косарь, увидев царя и царицу, поднес им крынку прохладного молока. Они стояли теперь в ладье, и раны на их телах были бескровные, из них исходило чуть видимое сияние. Свечка в руках царевича отекала прозрачной капелью. Ангел, проходя мимо лодки, глянул на дощатое дно и увидел — на охапке зеленого сена стоит глиняная молочная крынка.

Из храма поток лучей нисходил на землю, словно золотистый плат, накрывал собою Россию. И она в дымах заводов, в лязге военных колонн, в криках демонстраций продолжала дышать среди своих океанов, рожала младенцев, хоронила стариков, колосила негустые хлеба. Другой же поток лучей, колеблемый, как легкое испарение, подымался сквозь кровлю храма, возносился к третьему небу. И там, недоступная разумению людей, ожидая праведников, занятых на долгой молитве, пребывала неизреченная сокровенная Русь, Россия предвечная.

Сюда, к третьему небу, несся ангел на синих крыльях.

Предвечная, нетленная, не подверженная скорбям и унынию Русь была безлюдна, не ведала людских искушений, не знала греха и скорби. Она была Природой, необъятной и чудной. Среди этой природы над блеском вод, над кудрями лесов и разноцветьем полей летел ангел. Русь, над которой он пролетал, была осенней.

Стояли недвижно осиянные иконостасы лесов. Туманное золото горело в далях, березы на холмах были подобны иконам, и свет от них разливался под сумрачными студеными небесами. Ангел почувствовал, как прохладно стало его крыльям и светло глазам. Сложив за спиной голубые клинья, влетел в золотые леса. Его окружили осенние птицы, он летел среди свиристелей, синиц, пестрых дятлов. Обогнал пугливую беззвучную стаю дроздов, которых ветер вычесывал большим деревянным гребнем из древесных вершин. Прянули разом к земле, опустились на рябину, сгибая гроздья. Стали обклевывать ягоды, сорили на траву красными бусинами.

Ангел полетел над черной мокрой землей, на которой горели опавшие листья, и в каждом было малое синее зеркальце дождевой воды, словно крохотное отражение ангела.

Он влетел в зиму, в мутное плотное облако, набитое мокрым снегом. Крылья его залипли, отяжелели, за ворот набился сочный тающий ком, а глаза застлала белизна. Он летел в середине облака, пытаясь пробиться сквозь снег, а потом канул вниз, встал ногами на белую землю и бежал, вращая крыльями, вышвыривая из них снежки.

Остановился, подставил крылья ровному мерному падению хлопьев. Пернатая синева покрывалась снегом, бледнела, исчезала. С неба оседала зима, черные кочки были в шляпках снега, зелень травы сочно пробивалась сквозь снег, ручей казался черным, нес среди белых берегов блестящую темную воду.

А потом ударил мороз. Солнце в полях стояло недвижное, окруженное легкой дымкой, белое в прозрачной радуге. Одеяние ангела промерзло, стеклянно звенело, и когда он ступал, складки его ломали корочку льда, и она осыпалась на глянцевитый наст.

Поля были бескрайни, в серебряных текущих поземках. В глаза ангелу сыпалась мелкая блестящая пыль, и он босыми стопами перешагивал цепочки лисьих следов. Нагнулся, отломил наст с отпечатком лисьего следа, держал на весу. А лиса смотрела на него с далекой опушки, свернувшись в пушистый крендель под черной голой ольхой.

И там, где лежал этот красный горячий виток, начинали таять снега, текли ручьи. Лисица прожигала снег до травы, до первых лиловых цветов. Ангел, забегая в весну, крутил крыльями, вибрировал ими, как шмель, прыгал со льдины на льдину, и его сносило в речном половодье.

И было лето в России. Степь клубилась горячими травами, сквозь которые было невозможно пройти. Цеплялись за ноги полевые горошки, белые повилики, хватали за одежду цепкие ясменники. Ангел подпрыгивал, перелетал спутанные ворохи. Держался в воздухе, сливая крылья в стеклянный прозрачный блеск. Нависал над огромными зонтичными цветами, жадно сосавшими влагу, прогоняя ее сквозь сочные дудки, превращая в медовое благоухание. В соцветиях в сладком обмороке лежали зеленые бронзовые жуки, охмелевшие пчелы, черно-оранжевые полосатые усачи. А к ночи в малиновых фонарях чертополохов ладонь казалась красной, на нее садилась бабочка с белыми глазами на крыльях.

Он нырнул в прозрачную реку, понесся у самого дна, видя, как мелькает песок. Рыбешки мчались у самых глаз, и крохотная чешуя разлагала луч света на зеленые и красные искры. Ледяной донный ключ лизнул ему живот, бедра, и он, обжигаясь, прянул ввысь, вырвался из реки огромным хрустальным фонтаном, сбрасывая с одежд сверкающие водопады.

Он шел сквозь лесной туман, протягивая руки, чтобы не наткнуться на ствол, не наколоться на острый сучок. Туман рассеялся, и он очутился на просторной поляне. Кругом высоко и недвижно стояли березы, под ногами краснела перезрелая, почти черная земляника, и он увидел на поляне женщину, которую искал, летая над несказанной, предвечной Россией. Она была стройна, глаза Ее были голубые, а волосы, свитые в две косы, были русые. И это была Богородица, к Которой был послан ангел.

Он сорвал красную лесную гераньку, шагнул к Богородице, протянул Ей цветок и сказал: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»

Отдав Ей цветок, зная истинное устройство мира, мнимость в нем тьмы, истинность света лучистого, ангел оттолкнулся от поляны и умчался поверх берез в неоглядную даль, к Творцу, чтобы встать у Его престола, дожидаясь, когда Тот снова подымет Свой перст, пошлет на Русь синего вестника.

Белая поляна в снегу. Синее перышко сойки.

1989—1990.

МИХАИЛ ГРОЗОВСКИЙ



СНЕГА НАД БЕЗДНОЙ

* * *

Молчим, молчим — потом
как ухнем!
Аж на дыбы встают гробы.
О, государственные лбы!
О, кукиш под столом на кухне!

Неистребим холуйский дух.
Приемник выключишь —
и вдруг
назло сознанию больному
рванешься за полночь из дому
от гиблых истин ото всех...
. . . .
Неважно: ветер или снег,
или звезда над крышей дремлет,
а только разуму не внемлет
душа.
Походишь, не спеша,
по обезлюдевшим и темным,
печалью схваченным дворам,
зайдешь к соседу.
Полусонный
сосед нацедит двести грамм
дремучей самогонной браги
и сам тебя в твоей отваге
поддержит, бывший фронтовик;
он скажет:
«Не грусти, старик!
Чем безнадежней, тем дороже.
Бог даст, и выберемся все же;
ведь от сумы и от тюрьмы...
О господи, да кто же мы?» —
заплачет вдруг
и в покаянье
замрет.
Потом расправит грудь:
«Небось, не вечно будем в яме,
небось, опять пойдем с боями
фронтами, толпами, роями;
а со своими холуями
уж как-нибудь,
уж как-нибудь...»

Пророк

«Перспектива ясна». —
И ученый,
реалист и материалист,

ГРОЗОВСКИЙ Михаил Леонидович родился в 1947 году в Москве. Окончил физический факультет МГУ и Литературный институт им. Горького. Автор книг стихотворений «Я встретил хороших людей» и «За все плати душою, брат». Член Союза писателей СССР. Живет в Москве.

вывел формулу и обреченно
поглядел на исписанный лист.

По расчетам ученого мужа
человечество мчится к беде.

«Никому и нигде ты не нужен,
человек!
Никому и нигде!» —
так сказал,
и неявное что-то,
что главнее, чем правда сама,
пронеслось...
На мгновенье расчеты
завели его дальше ума.

И триумф его мысли научной,
и прогресс с коммунизмом вдали
показались густеющей тучей
над великою тайной Земли.

Державная дума

Рванули щеколдою ржавой.
Пустили в страну сквозняки.
На думу великой державы
набросились, наивняки.

До неба наделали шуму,
три шкуры содрали с земли,
а только державную думу
никак одолеть не смогли.

Она неподвижной осталась
на фоне всеобщих потуг.

«Та дума без нас начиналась, —
сказал отъезжающий друг. —
И можно мечтать до могилы,
что что-то изменится здесь.
Но будет все то же, что было,
поскольку так было и есть...»

Прощание

Ты меня ни в чем не убеждай.
Если хочешь ехать — уезжай.

Мы с тобой почти что старики.
О любви трепаться не с руки.

А и то сказать: у нас в крови
нету генов жертвенной любви.

Так что, если можешь, — уезжай.
Только ничего не утверждай.

Стрелка жизни — к перемене мест.
Бог не выдаст, и свинья не съест!

Лишь душа, что ведьма на метле.
Ей, подруге, на любой земле
тесно в человеческой тюрьме.

...Вот такое, значит, резюме...

* * *

Невозмутимые снега
на хмурый мир, смердящий яро,
на тусклый город свысока
сошли, дыша его угаром.

Невозмутимые снега
легли на мир людской тревоги,
не умещаясь в берега
одной души.

Но души многих
завороженные сошлись
пред всеохватною стихией.
И занялось, и взмыло ввысь
неодолимое:
— Россия,
прости нас всех!
Она молчит,
снегов обманчивою глубью

глядит,
и чувствуешь — простит...
Нас всех простит...
Но не полюбит...

И как бы там ни дорога
была любовь в наш век железный,
но всё окутали снега,
невозмутимые снега
над расширяющейся бездной.

✦✦✦

* * *

Когда он мечтал о свободе
в тиши отвлеченных минут,
она ему виделась вроде
метели, закрученной в жгут,
от пляски которой и дико,
и радостно в снежном дыму...
Любое безумие мига
казалось свободой ему.

. . . .

О нет, он совсем не напрасно
наматывал дни на года.
Слепая свобода опасна.
Он чувствует это, когда
в воскресное утро мякину
докучливых мыслей жует,
а после идет к магазину
и в очередь смирно встает.

Там даже в ненастье и вьюгу,
(не зная вполне почему)
относится каждый друг к другу,
как к равному, как к своему.

Там можно вообще раствориться
в содружестве равных своих.
Глядеть и не видеть их лица,
и слышать, не слушая их.

Там всяк со своею заботой,
но все — в карусели одной,
достойной российской свободы,
а, может, России самой.

✦✦✦

Праздник

Собрались в темном гараже
седьмого ноября.
«Давай, за Ленина в душе!» —
схохмили слесаря.

Стакан граненый, сделав круг,
пришел в мою ладонь.
Храня тепло случайных рук,
я выпил тот огонь.

И он возник, как в мираже,
при свете фонаря,
тот, за которого в душе
мы пили втихаря.

Спросил, прищурившись:
«Как жизнь?»
И, взгляды отведя,
мы стали братьями во лжи
пред именем вождя.

Что было в душах, что в умах —
никто понять не мог.
А Ленин хохотал впотьмах
вблизи у наших ног.

Глядел на грязную скамью,
на нас, сидящих вдоль,
тяжелодумную свою
замалчивая боль...

Из детства

Ходила кошка по двору.
Белье моталось на ветру.
Тянулся вечер не спеша.
Ничем не мучалась душа.

В беседке пятеро старух
в лото играли (стук стоял)
и ухохатывались...

Вдруг
трофейный заиграл баян
про расставанье...
И принес,
чего хотел...
Запомнил я,
как в предвкушенье близких слез
вздохнула сладостно скамья

и обездоленных их всех
преобразила.
И лото,
и лопотание, и смех —
все это вылилось в одно:
посыпались рассказы с мест
про мужиков, про старину,
про недождавшихся невест,
да про детей, да про войну.

Потом затихли.
Ветер смолк...
Потом, отплакавши свое,
смеялись вновь, не видя толк
в минувшем...
Высохло белье.

Лишь два студента невдали
вели какой-то книжный спор
о смысле жизни и любви...
И тетки, слыша разговор,
не понимали, кто там прав,
но подмечали, как стремглав
юнцы судили о любви
и о непройденном пути,
как, ничего не потеряв,
хотели все найти...

* * *

Вот я и подошел к черте,
ничтожнейший поэт;
к пределу, бездне, пустоте,
развалу дней и лет.

Есть кто-то высший, кто решил,
кто суд над предками вершил,
кто в мозг и душу им вложил
печаль на все года,
и сладкой тайной окружил,
и чувство жуткое внушил,
что я на этом свете жил
не там... и не тогда...

* * *

Памяти Т. П. Лукиной

Ей ангелы пропели встречу.
И вот ушла она под вечер
из этой жизни к жизни той,
а здесь дохнуло пустотой,
тоской и болью человечьей.

Среди сегодняшней зимы
не уберечься, знаем мы,
ни от сумы, ни от тюрьмы,
ни от распахнутой могилы.

И все же как прекрасно было,
что эта женщина была
и что без жалобы ушла,
как будто вскинула крыла,
и мир, где трудно так жила,
прощальным светом осветила.





БОРИС ШИШАЕВ



ДЕСПОТИЗМ

РАССКАЗ

Георгию Логову на службу позвонила со своей работы жена и велела срочно ехать домой — там осталась тарелка с супом, который она, Маргарита, только попробовала за обедом, но есть не пожелала, и надо этот суп без промедления вылить обратно в кастрюлю, прокипятить вместе с остальным и поставить в прохладное место.

У Георгия на лбу густо собрались морщины, и единственный глаз его плотно зажмурился сам собою, словно от сильнейшей зубной боли. Ведь только-только заявился весь в мыле — вот уже четвертый месяц ездят они с Маргаритой каждый со своей работы обедать домой,— опоздал даже на полторы минуты, и опять, значит, дуй туда рысью, высунув язык. Да еще отпрашиваться придется, да еще отпустят ли...

— А может...— начал было он.

— Не может, Жорочка,— мягким своим, вкрадчивым и в то же время непререкаемым тоном прервала Маргарита.— В том-то и дело, миленький, что не может. Обязательно надо его прокипятить. Ты уж как-нибудь постарайся.

Георгий судорожно вздохнул и произнес едва слышно:

— Ну ладно...

Отпрашиваться к начальнице он шел, сжавшись всем нутром, поскольку, во-первых, и сам уважал служебный порядок, а во-вторых, не любил и не умел врать. Сказать же Евдокии Павловне правду было бы невыносимо стыдно, и он спешно придумал на ходу, что оставил на кухне незакрытым кран.

ШИШАЕВ Борис Михайлович родился в 1946 году в поселке Сынтул Рязанской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор трех сборников стихов и трех книг прозы. Член Союза писателей СССР. Живет в Рязани.

Евдокия Павловна долго не поднимала головы — продолжала просматривать бумаги, потом наконец прервала работу и глянула на Георгия сквозь суровый прищур:

— Забыли, значит, закрыть кран... Нельзя забывать такие вещи, Георгий Силантьевич, нельзя. Там забыли, тут забыли — и получается... То взрыв, то поезда столкнулись... Помнить надо, в какое время живем. Ответственное время-то, Георгий Силантьевич. Забываем мы, а страдать приходится государству.

— Да я, понимаете... Со мной редко случается. Вообще-то я внимательный.

— Нынче надо быть трижды внимательным. Трижды, Георгий Силантьевич, а иначе...— Лицо ее приобрело обиженно-досадливое выражение.— Езжайте уж. Только...

— Я мигом, я в момент обернусь,— с готовностью заверил он. И работе ущерба не будет — вы ж меня знаете.

— Да знаю я тебя, знаю...— поморщившись, махнула рукой главный бухгалтер.— Ступай, не теряй время.

Георгий шел на автобусную остановку, и от стыда, от унижения продолжало жестко сжиматься все внутри, подрагивало сердце. Евдокия Павловна значительно моложе его, в управление пришла работать гораздо позже, и хорошо помнится, сколько случалось ему возиться с нею, натаскивая, обучая настоящему бухгалтерскому делу. Тогда все звали ее просто Дусей, и как-то очень быстро Дуся поняла, что в безвыходный момент лучше всего обращаться именно к нему, к Георгию, потому что он не сумеет отмахнуться, поможет обязательно. И обращалась без конца: «Жора, а это куда внести? Жорочка, а эта ведомость как составляется?» А теперь вот выбилась в начальники, и — пожалуйста тебе: «Георгий Силантьевич... Надо помнить, нельзя забывать... Ответственное время... Страдает государство...» Господи ты Боже мой...

Но тут Георгий вспомнил, из-за чего пришлось претерпеть унижение,— из-за тарелки супа,— и на душе стало еще хуже, настолько паршиво, что он, отойдя к стене дома, остановился и опять зажмурил свой единственный глаз, чтобы не видеть ничего и никого вокруг, побыть несколько мгновений в полной темноте и успокоиться.

Без глаза Георгий остался в мальчишеском возрасте, в конце войны, когда они, неугомонная ребятня, похожая на стаю голодных бродячих собак, рыскали близ деревни, на местах прошедших тут жестоких боев,— собирали изуродованное оружие и позеленевшие боеприпасы, стремясь как можно скорей найти применение этим опасным игрушкам. Осколками мины от ротного миномета ему, кроме глаза и щеки, повредило еще и правую руку — она сгибалась немного в локте, но делать ею почти ничего было нельзя, даже писать пришлось научиться левой.

Оказавшись негодным для настоящей мужицкой работы, Георгий после школы старательно окончил в районе бухгалтерские курсы и, по настоянию матери, уехал в большой город для хорошей жизни. Мать почему-то была уверена, что в городе он при своей чистой благородной специальности обязательно сумеет выгодно жениться, несмотря на увечье. Однако надежды ее не оправдались. Долго пришлось ему скитаться по частным квартирам и общежитиям, и замуж за него никто не шел — ни девушки, ни одинокие женщины. Да Георгий, собственно, и не предлагал никому, стеснялся. Кому охота оказаться замужем за этаким «сокровищем».

Встречались ему, конечно, женщины, которые очень нравились, дважды за свою жизнь он сильно любил, страдал от этой любви до помрачения в голове и душе. Но ни в первый, ни во второй раз так и не нашел в себе отваги признаться в своих чувствах, попросить руки и сердца. И достались эти любимые женщины другим людям.

И все нерастраченное душевное тепло отдавал Георгий матери, которая жила одна в покосившейся деревенской избенке в неблизком лесном краю. Он регулярно переводил туда деньги в добавление к ее маленькой колхозной пенсии, посылки с продуктами отправлял почти ежемесячно. А когда случался хотя бы один свободный денек, без промедления спешил в родную деревню.

Ему очень хотелось бросить все в городе, вернуться домой навсегда и жить рядом с матерью, но она настойчиво отговаривала — мол, тут, среди старичья и

пьяниц, не мудрено и свихнуться от скуки, а в городе, где такое множество разных людей, он еще вполне может найти свое счастье. И, проснувшись иногда среди ночи, Георгий слышал, как она молится на коленях — шепотом просит Бога, чтоб тот уделил хоть немного счастья и ее сыну. И, не желая огорчать мать, Георгий продолжал свою одинокую городскую жизнь.

Частичного счастья для сына старушка сумела-таки дождаться — лет пять назад ему выделили наконец-то отдельную однокомнатную квартиру. Радость матери была беспредельной. Ей уже казалось, будто такое счастье не выпадало на свете никому, а привалило единственно только ее Егорушке.

Мать помогла ему привести квартиру в надлежащий вид — повесила шторы на окна, застелила пол привезенными из деревни новыми половиками, накупила кастрюль и разной другой кухонной утвари. А потом уехала в деревню и сразу там слегла — видать, сильно поволновалась, радуясь привалившей первой половине сыновнего счастья, и не выдержало, сдало сердце.

Георгий спешно взял отпуск за свой счет, поехал ухаживать за нею, но не успел. Когда он вошел в избу, мать уже лежала на столе в переднем углу, строгая, с обострившимся белым личиком и устало сложенными на груди узловатыми руками. Он припал к этим холодным неподвижным рукам лбом и долго плакал навзрыд.

И все же вторая половина счастья, которой так и не дождалась мать, не обошла его — свалилась как снег на голову в прошлом году. Да-а, вторая половина счастья...

Видя, какой Георгий ходит потерянный и тусклый, пожалела его как-то Ольга Ильинична из планового отдела.

— Эх, Георгий, Георгий...— сказала она.— Посмотришь на тебя — аж знобит. Ну чего ты, ей-Богу, настолько закис-то? Сколько можно одному-то куковать? Свихнешься, помяни мое слово. Женись. Женись, пока не поздно.

— Дак ведь...— смутился Георгий.— Кому я такой нужен? И возраст — под пятьдесят ведь уже. Кто...

— Кто... Кто... Да нынче кругом тьма-тьмущая свободных баб! Враз найдутся, не заржавеет. Ну? Хочешь познакомлю?

— Да я как-то...

— Во-во. Он как-то. Возраст у него. Эх, ты. Завтра вечером, часиков в шесть, будешь дома?

Следующий день был субботним, и подготовился Георгий хорошо — поутру съездил на рынок за фруктами, купил торт, шампанского и коньяку. В течение дня не отпускало его лихорадочное волнение, он даже порезал палец ножом, когда готовили закуску. В начале седьмого в дверь позвонили. Открыв, Георгий увидел там Ольгу Ильиничну, и с ней невысокую женщину, по виду явно моложе Георгия. Не красавица, но с первого взгляда чувствуется что-то внушительное, авторитетное. Георгий кинулся ухаживать — помогал обеим сразу снимать пальто, усаживал за стол, чувствуя с ужасом, что получается это у него неуклюже, а может, и вовсе по-дурацки. Потом выпили помаленьку, и ему стало легче. С замиранием сердца ощущал Георгий тепло, которым веяло от сидящей рядом Маргариты. Ольге Ильиничне очень понравился коньяк, она развеселилась, и вскоре за столом было уже совсем хорошо, по-свойски.

Сидели долго. Георгий от души рассказывал о своей жизни — о матери, о родной деревне, о том, что дом там давно уж пустует, один кот в нем живет, да и тот одичал и состарился вконец, перестал даже узнавать его, Георгия.

— Свято место пусто не бывает,— обронила к чему-то Ольга Ильинична.

Немного пообсказала о себе и Маргарита — как бы вскользь, прерывая свои слова нервным смешком. Замужем она никогда раньше не была, живет одна, в такой же вот однокомнатной квартирке. И продолжало веять от Маргариты теплом и чем-то еще, какой-то сильной женской умудренностью, слегка даже пугающей Георгия. Пила она очень мало, одно только шампанское.

От коньяка Ольга Ильинична запела вдруг хорошую песню про тонкую рябину, и Георгий начал без стеснения вторить ей, подтягивать понемногу. И получилось у них стройно, душевно. Маргарита молчала — иронично поморщившись, дала жестом понять, что пение не ее занятие. Потом еще спели, поговорили опять, и

подошел момент, когда и петь уже больше не хотелось, и говорить стало вроде бы не о чем. Несколько мгновений сидели молча, и вдруг Ольга Ильинична закинула руки за голову, потянулась со сладким стоном и произнесла томным голосом:

— Э-э, братцы, пора бы и честь знать. Время позднее, ехать далековато, так что уж решайте-ка вы поскорей свои наболевшие вопросы, да и дело с концом.

— Что ж, Георгий Силантьевич,— негромко, чуть дрогнувшим голосом сказала Маргарита.— Если уж на то пошло... я согласна.

— Н-насчет чего? — оторопело поднимаясь со стула, спросил Георгий.

— Н-ну... Насчет, как говорится... связать наши судьбы воедино.

— Сейчас же поцелуйтесь! — стукнув ладонью по столу, привскочила Ольга Ильинична.— Целуйтесь живо! Такие вещи надо скреплять намертво. А то стоят, понимаешь,— ни туда, ни сюда. Ну!..

Георгий продолжал стоять столбом, а Маргарита, улыбнувшись скованно, приблизилась, положила руки ему на плечи и поцеловала в изуродованную щеку.

Они поженились. Первое время Георгий настолько был упоен и потрясен своей новой жизнью, что даже и не заметил, сколь точно и быстро выбивается из-под него все, на чем стоял раньше. А когда заметил, было уже поздно.

Две их однокомнатные квартиры Маргарита оперативно поменяла на большую двухкомнатную, и квартиросъемщицей числилась теперь только она. Домик в деревне, который дорог был сердцу Георгия как память о детстве и о матери, жена уговорила продать — уговаривать она умела мастерски,— и вскоре ловкие люди, ее знакомые, раскатали родное гнездо Георгия по бревнышку и увезли, чтоб построить себе из этих бревен дачу неподалеку от города. Деньги от продажи дома — тысячу — Маргарита положила на сберкнижку.

К тому же началась жесткая домашняя экономия — «для будущего», по определению Маргариты. Если раньше у Георгия всегда имелись при себе деньги, и многим он безотказно давал в долг, то теперь больше рубля у него не водилось, да и за этот рубль надо было каждый раз обстоятельно отчитываться. Вот и обедать стали ездить домой.

Прежде он имел обо всем собственное мнение, а сейчас Маргарита как бы забивала, подминала его взгляды своими, зачастую прямо противоположными, и всякий раз добивалась, чтоб Георгий еще и подтвердил в конце — да, мол, так оно и есть, ты права. И он незаметно приучился подтверждать. Так ему было легче — подтвердит, а втайне все равно думает по-своему.

И однажды он обнаружил вдруг с горечью: когда жил в одиночестве, то, несмотря на начальство, на всяческие законы и ограничения вокруг, несмотря на встречающихся злых, нахальных людей, плохо-бедно, а был-таки свободным человеком. А теперь получается, будто весь он в многочисленных крепких путах, которые сходятся в один пучок в решительной, умелой руке Маргариты. И никуда не деться, живи, не рыпайся. Рыпаться он вообще-то пробовал, но Маргарита не принимала ни его доводов, ни сколько-нибудь напряженного тона в разговоре, умолкала надолго и обдавала Георгия таким лютым холодом, что холод одиночества, испытанный им в полной мере прежде, до женитьбы, казался ему сущим пустяком, а то, пожалуй, даже и благом в сравнении с тем, каким веяло от Маргариты. Молчать она могла и неделю, и две. Говорить же — по-прежнему мягко, ласково — начинала лишь тогда, когда Георгий не выдерживал пытки и просил прощения. Как-то так выходило, что он и в самом деле по мере ее холодного молчания ощущал себя все больше и больше виноватым.

А потом Маргарита сказала, что у них будет ребенок, и тут уж вовсе пришлось оставить всякие попытки отстоять свои права.

Наконец подрулил к остановке автобус. Георгий вошел и пробрался в середину — там было посвободней. «Так-то вот,— держась за верхний поручень, продолжал он тягостные свои думы.— Еду из-за тарелки супа... Господи, Боже мой, да неужели за то сгинул на фронте мой отец и всю жизнь уродовалась на воловьей колхозной работе мать, чтоб я ехал сейчас через весь город домой — спасать, кипятить оставшийся в тарелке суп?» И тут же оборвал, устыдил себя: при чем тут отец, мать? На суп, что ли, не хватает? В том-то и дело, что хватает, и не только на суп. Тут другое. Тут это Маргаритино... Сволочное и паскудное, если уж по

правде-то. Деспотизм. Во, точно. Деспотизм. И Георгию даже легче стало от найденного точного определения. Натуральный деспотизм, и больше ничего.

И тут он вспомнил вдруг, что еще не платил за проезд. Стал шарить по карманам в поисках талонов, но обнаружил только троллейбусные,— автобусные, значит, кончились. Касс в автобусе не было. Тогда Георгий достал из брючного кармана последние двадцать копеек и обратился к стоящей рядом женщине:

— У вас, простите, не найдется лишнего талончика?

У нее не нашлось. Не нашлось и у других.

— Спроси у водителя, может, у него есть,— посоветовал кто-то.

И в это время, как нарочно, вошли контролеры. Они двигались к середине автобуса с двух сторон — энергичные, сильные женщины, стремительно и ловко рвали пополам талоны, которые протягивали пассажиры.

— Ну продайте же кто-нибудь талончик,— умолял Георгий.

А контролеры уже заметили, что мечется кто-то там безбилетный.

— Зайчиком, значит, катаемся? — мгновенно оказавшись рядом и улыбнувшись ехидно, пронизала Георгия ледяным взглядом тучная упругая женщина.

— Да не зайчиком...— Он покраснел и показал свои двадцать копеек.— Хотел вот купить талон, а их ни у кого нету.

— Поздно спохватился, дорогой,— подоспела вторая контролерша.— Запрыгал, когда контроль появился. Давай, плати штраф. Вера, подготовь ему квитанцию.

— Да я же хотел по-человечески,— доказывал Георгий.— Вот и люди скажут. Неужели мне жалко? Зачем вы, ей-Богу...

— Он спрашивал талон,— буркнул сидящий у окна пожилой мужчина.— Еще до вашего прихода просил. Чего пристали к человеку?

— Пристали?! — выкатила на него глаза упругая.— Вы, гражданин, выбирайте выражения. Мы не пристаем, а выполняем свою работу. Защитник выискался... Едут зайцами, и что же — по головке будем гладить? Хочешь ехать — купи сначала талоны. А то привыкли... Так вы,— повернулась она к Георгию,— будете платить штраф или нет?!

— Да у меня...— растерялся он вконец,— нету больше денег. Вот, только двадцать копеек.

— Не хочешь, значит, платить. Ладно, тогда пройдемте с нами.

— Куда я пойду? Мне же надо срочно...

— А я говорю — пройдемте! — упругая схватила его за рукав и потащила к выходу.— А не то будут тебе ба-альшие неприятности.

— Волкодавы, а не контролеры,— пробормотал кто-то.

— Ну зачем вы... Куда...— упираясь, пытался урезонить блюстительниц Георгий.

Но его не слушали. Сзади мощным тычком подтолкнула другая контролерша, и вскоре они все трое уже стояли на улице.

— Не вздумай бежать,— предупредила упругая.— Только лишнего намотаешь на свою шею. Пошли.

— Куда еще идти-то? — у Георгия дрожали губы.— Нету же у меня с собой денег — честно говорю.

— Пошли, пошли. Придем в милицию — и деньги сразу найдутся.

И повели его в милицию. В тесном кабинетике райотдела, куда контролеры доставили Георгия, сидело двое милиционеров.

— Вот, разбирайся, Вязанкин,— сказала одному из них, молодому круглолицему лейтенанту упругая.— Неподчинение. Проехал зайцем и не желает платить штраф.

— Да какой штраф? — решил объяснить наконец-то все честь честью Георгий.— При чем тут неподчинение? Я же хотел купить у людей талон...

— Стоп, стоп, стоп! — выставил перед собой ладонь Вязанкин. И кивнул контролерам: — Проходите, проходите, девочки. Садитесь.

Те прошли и сели на стулья у окна. Георгий, поскольку сесть ему не предложили, продолжал стоять. Милиционер обмерил его взглядом с головы до ног и решил, видимо, что можно обращаться на «ты».

— Та-ак... Не желаешь, значит, платить...

— Я хотел купить талон. Вот у меня двадцать копеек,— Георгий показал монету.— Спрашиваю у людей талон, и тут входят контролеры. Я ж не виноват, что...

— Стоп, стоп, стоп! — опять перебил Вязанкин.— Нарушил? Так. Ехал без билета? Так. Попался? Так. Значит, надо платить штраф. Ну?— сделав удивленные глаза, развел он руками.— Надо платить, родной-дорогой. И без разговоров.

— Но ведь я же...

— Во-о... — прогудела одна из контролеров. — Не желает платить — и все.

— Ладно,— сказал Вязанкин.— Фамилия, имя, отчество?

Георгий назвал. Лейтенант быстро записал и резко поднял голову.— Где живешь? Адрес?

Георгий назвал и адрес.

— Ну? Так будем платить или нет?

— Я же честно говорю — нет у меня с собой денег. Вот, только двадцать копеек.

— Ну, Вязанкин, вощє! — сочувствуя милиционеру, оттопырила нижнюю губу и покрутила головой упругая контролерша.

— Та-ак... — продолжал тот. — Место работы? Или не работаем?

— Почему это не работаю? Управление снабжения и сбыта. Бухгалтер.

— И телефон там есть?

— Есть.

— Какой?

Георгий сказал.

— Та-ак... Ладно, сейчас...

Лейтенант пододвинул к себе телефон и быстро набрал номер.

— Алё! Это снабсбыт? Из Первомайского райотдела милиции беспокоят, лейтенат Вязанкин. Ага, из милиции. Работает у вас такой Логов Георгий Силантьевич? Бухгалтером? Ага, понятно. Лады. Спасибочки.

Положив трубку, Вязанкин еще раз окинул Георгия пристальным взглядом и сказал:

— Ну что же вы? Работаете, понимаешь, в солидной, авторитетной организации, а ездите без билета... Нехорошо. Один без билета, другой без талона, и какая же получается штуковина? Вы бухгалтер, должны знать. Убытки ведь получаются для государства...

Георгий хотел было снова начать объяснять, что с радостью уплатил бы за проезд, что не виноват ни в чем, но почувствовал вдруг сильную усталость и не стал больше ничего доказывать, только подумал вяло: «Господи ты Боже мой, все пекутся о государстве... У Дуськи, У Евдокии нашей Павловны, государство страдает, у этого тоже государство... Государство страдает, а больше, значит, не страдает никто...»

— Идет перестройка,— не унимался Вязанкин,— наоборот стараемся сократить убытки, а вы, понимаешь...

— Деспотизм,— глухо произнес Георгий.

— Чего-о? А вот ругаться я вам не советую. За оскорбление у нас тоже штраф полагается.

— В самом деле, что ль, нет с собой денег? — спросил у Георгия второй милиционер.

— Да зачем мне врать? Я бы давно заплатил... Стоять тут...

— Та-ак...— Вязанкин зыркнул недовольно на сослуживца и снова уставился на Георгия: — Сами принесете штраф или послать бумагу, чтоб вычли из зарплаты?

— Вычитайте сколько хотите. Можно мне идти?

— Хм... Быстрый. Ох, какой быстрый. За проезд в общественном транспорте платил бы с такой быстротой. Ладно уж, идите. Но только, чтоб...

Окончания фразы Георгий не слышал — был уже за дверью. С тяжелой душою шагал он к остановке. «Потерял столько времени...— медленно ворочалось в мозгу.— Евдокия небось уж прибегала в кабинет, справлялась, не пришел ли. Да еще звонили туда из милиции. От любопытства теперь сохнут все, и ей наверняка доложили».

На злополучный свой двадцатник купил он в киоске автобусных талонов, но когда вошел в длинный венгерский автобус, опять стоял некоторое время в забытьи, пока наконец не мелькнуло в мозгу, что надо же зафиксировать талончик,

а то загребут повторно. И, словно разбуженный внезапно, начал лихорадочно шарить по карманам, вынув талоны, спешно прокомпостировал один из них.

Автобус был полон народу, особенно толпились, как всегда, на площадках, мешая входящим и выходящим. Георгий протиснулся в середку, где оказалось гораздо свободней, и, уцепившись за поручень, снова погрузился в свои думы.

Он вспомнил то время, когда верил в Бога. Было это в детстве. Верить его научила мать, и казалось ему тогда, что Бог присутствует всюду, видит и слышит все. С помощью матери Георгий вызубрил несколько молитв — «Отче наш», например, «Богородице, Дево, радуйся», рождественский тропарь и еще несколько, но в молитвах этих ничего не понимал, учил, только чтоб не огорчить мать. А молился он втайне по-своему.

Встанет, бывало, на рассвете, идет на рыбалку. Тишина кругом, роса блестит, туман стелется над рекою, птица какая-то ночная кычет одиноко вдалеке, не желая понимать, что ночь уже прошла... И кажется в такое время, что Бог где-то совсем рядом, что как-то по-особому добрый он сейчас. Идет Георгий к реке и, поглядывая по сторонам, просит шепотом: «Господи, Боже мой! Прости меня грешного — вчера ребята матом ругались, и я выругался два раза. Прости. Знаю, что это плохо, и в другой раз удержусь, ругаться больше не буду. А ты, дорогой мой Господи, помоги мне нынче поймать рыбы. Нам с матерью рыба нужна, давно не ели уху. Пускай хватает крупная и с крючка не срывается. Дай мне, Бог, чтоб клевал почаще лещ — он вкусный и на уху, и на жарево. И леска чтоб не рвалась — ее нигде не достать. Помоги мне, Господи, я рыбы домой принесу, и мать обрадуется. Прошу тебя, Господи, Боже мой, очень прошу...»

Или за грибами когда пойдет — бродит по лесу и тоже просит: «Дай мне, Господи, удачи, помоги найти белый гриб. И чтоб оказался он чистый, крепкий. Помоги, Господи, а я изо всех сил буду стараться никого не обижать и не дразнить. И всегда буду благодарить тебя». Глядь — стоит под елочкой белый гриб. Красивый боровик, крепкий — как раз такой, какой просил. А потом другой, третий. И трепещет от благодарности душа, и шепчет Георгий: «Спасибо тебе, Господи, ты Боже мой, большое тебе спасибочко. Всегда буду помнить твою доброту».

Наверное, и в самом деле помогал ему тогда Бог, а иначе чем же объяснить тот факт, что больше всех ребят ловил он рыбы? Принесет, бывало, вывалит — целый таз крупных, губастых, с красниной, лещей. Живые еще, ворочаются. Мать смотрит, не нарадуется. И грибов белых приносил из леса столько, сколько и взрослым-то не каждому удавалось.

А потом — где-то, пожалуй, в шестом-седьмом классах — стал понемногу отходить от Бога, начал вместе с ребятами раз от разу все больше посмеиваться. Пионерия, конечно, играла свою роль, а при комсомольском значке даже в краску бросало, когда говорили — мать-то, дескать, верующая у тебя, ходит в церковь, а ты, комсомолец, не принимаешь мер. И, помнится, пробовал он убедить мать, что нет никакого Бога. Ох, видать, горько, больно было ей слушать такое от родного сына.

И Георгий понял вдруг, что очень хотелось бы ему сейчас обратиться к Богу так же запросто, как тогда, облегчить душу, попросить помощи. Но разве можно такому помогать? Вон сколько лет, целую жизнь прожил, забыв про Бога, а теперь, когда припекло по-настоящему, станет, значит, как ни в чем не бывало: «Помоги, Господи». Нехорошо. Отступился ведь, предал, выходит. Да, стыдно просить...

Подруливая к остановке, водитель автобуса тормознул отчего-то сильней обычного, пассажиров рвануло вперед. Георгия толкнули, и он, едва удержавшись на ногах, тоже в свою очередь воткнулся плечом в спину женщины, стоящей рядом. Та, обернувшись, посмотрела на него возмущенно, но ничего не сказала.

— Извините,— смущенно пробормотал Георгий.

Она промолчала.

После остановки в автобусе стало еще тесней.

— Вася! — донесся с задней площадки зычный женский голос.— Вася, иди взад!

Наверное, муж с женой вошли на остановке в разные двери, и теперь жена жаждала воссоединения.

— Чего я там забыл?! — рявкнул на весь автобус Вася.— Мне и тут хорошо!

Люди засмеялись. А через некоторое время словно бы волны пошли по народу от задней площадки — это решившая во что бы то ни стало воссоединиться с мужем женщина начала прорываться к середине автобуса. Ее пытались урезонить, но она, полная, раскрасневшаяся, не обращая ни на кого внимания, неудержимо ломилась вперед, помогая себе и локтями, и плечами, и коленями. И надо же такому случиться — между Георгием и кем-то подпиравшим его спиной, женщина застряла. Недолго думая, она рванулась изо всех сил, и Георгий повалился на свою соседку, которую уже толкнул однажды во время торможения автобуса. В полном смятении он повернул голову к той, застрявшей:

— Ну куда вы, в самом деле, прете? Вы толкаете меня, я толкаю других...

— Да пошел ты...— в злобе оттого, что никак не может преодолеть преграду, прошипела краснолицая.— Выставил тут свою задницу, одноглазое рыло...

И рванулась что было сил снова. И вновь Георгия бросило на солидную соседку.

— Ну сколько можно?! — окончательно взъярилась та.— Сколько можно на мне плясать? Есть у вас совесть или совсем нету совести?

И женщина повторно ткнула его локтем в бок — на этот раз еще больнее. И опять свирепо дернулась за спиной краснолицая.

— Да хватит, в конце концов! — не выдержал стоящий по другую сторону прохода дюжий спинастый мужик, который, как и Георгий, явился преградой для краснолицей.— Надоели ваши тут, эти! Кончай к хренам трепыхаться!

— Да вот!..— саданула Георгия кулаком по спине застрявшая.— Раскрыластился, зараза, не пройдешь — не проедешь...

— Ну, взяли человека в клещи, хотят заклепок из него наделать,— усмехнувшись криво, сказал сидящий у окна напротив Георгия молодой, с жесткими чертами лица и глубоким шрамом на скуле мужчина. — А ну-ка,— приказал он мальчишке, который занимал место рядом с ним,— прыгай ко мне на колени. Живо.

— Зачем? — удивился мальчишка.

— Надо дядю из клещей выручать. Быстро, мальчик. Будь послушным. Ты ведь активист? В школе, наверно, пятерки получаешь? Пионэр?

И, не дожидаясь согласия, сгреб паренька сильными ручищами, мгновенным рывком переместил к себе на колени. Тот сидел ни жив, ни мертв.

— Одноглазый! — позвал Георгия мужчина.— Давай шлепайся сюда. А то эти выдры тебя так расплющат, что можно будет под дверь подсунуть.

И Георгий, не протестуя, сел.

— Это кто же тут выдры? — сурово поджав губы, осведомилась у жесткого мужчины одна из женщин.

— Я ошибся,— с едкой ухмылкой глядя прямо ей в глаза, ответил тот. — Прошу прощения. Не выдры, а тыдры. На «вы» таких называть — много чести. Ты со мной согласна, милочка?

На это женщина промолчала и, напрягшись каменно, стала смотреть в окно. Краснолицая почему-то прекратила рваться вперед — устала, наверно, сильно — и смирно стояла теперь на месте Георгия.

— Какая же наглая морда,— глянув на нее и поморщившись, словно от чего-то кислого, обратился мужчина к мальчику, сидящему у него на коленях.— Ты только посмотри, мальчик. Жуть. Сколько же развелось наглых морд! Пока я мирно отдыхал на курорте, вся Россия наполнилась злыми, нахальными мордами. А? За какие-то шесть лет... Ух, тоска!.. И это у них называется перестройка.

— Вась! — крикнула краснолицая.— Вася! Иди сюда, тут вот обзываются.

— Умолкни, убогая,— со спокойной укоризной попросил ее «курортник».— А не то я сыграю на твоих барабанных перепонках стремительный тустеп. А из Васи твоего наделаю вкусной строганины и заставлю тебя эту строганину кушать. Ну? Ясно тебе, чучело перестройки?

Выйдя из автобуса, Георгий, ссутулившись, зашагал к дому, в котором жил.

«Деспотизм...— думал он с тоской.— Сплошной деспотизм, и ни малейшего просвета. И ведь прав этот, со шрамом-то,— пять-шесть лет назад было легче. Имелись хоть какие-то просветы. А сейчас — почему же сгустился-то деспотизм, откуда его столько наплыло? Идет перестройка, там, наверху, делают уж вроде бы все, чтоб людям свободней дышалось, чтоб каждый жил по-человечески. Вроде,

от души делают, без обмана. Убеждают: хватит, дескать, никакого больше деспотизма, уничтожаем его напрочь, уже, считай, уничтожили... Да и вправду ведь — государственная власть пошла другая, обходительная стала власть, даже за границей замечают. Только... Стоп! — Георгий остановился и ошеломленно провел по лицу ладонью.— А ни хрена вы его не уничтожили! Он, деспотизм-то, который открыто гулял по всему государству, от верхов-то ускользнул. Съехал подальше вниз, сбился из общей неоглядной массы в маленькие комочки и попрятался в людей. И теперь почти в каждом сердце. И попробуй-ка, выковырни его. За него многие насмерть будут драться. Это же у них теперь вроде богатства.

Возле дома двое мальчишек лет пяти-шести играли в войну. В руках у них были автоматы. Георгий услыхал, как один малец предложил другому:

— А давай в людей стрелять.

— Не-е,— ответил тот.— В людей разве можно стрелять? Они же наши.

— Правильно, мальчик,— сказал Георгий.— Молодец. В людей стрелять нельзя.

Мальчуган, которого он похвалил, обернулся и, направив на него автомат, дал длинную очередь. Было это настолько неожиданно, что Георгий, содрогнувшись, даже схватился за грудь — будто и впрямь его продырявило насквозь в нескольких местах. Мальчишки захохотали.

— Готов! — держались они за животы.— Капут!

Георгий вошел в подъезд и медленно побрел по лестнице наверх, на свой четвертый этаж.

Оказавшись в квартире, он никак не мог сразу сообразить, чего ему тут надо. «Вот и ребенок,— думалось,— которого носит сейчас в себе Маргарита... Вырастет, тоже возьмет автомат и даст очередь в упор по живому человеку. Да не из игрушечного, а из настоящего. У Маргариты вон сколько деспотизма».

Он вспомнил: «Суп! Я же из-за супа приехал!» И ужаснулся: ждут же теперь на работе, к тому же еще из милиции туда звонили. Начал было рвать с себя плащ, но потом решил не раздеваться, сбросил только туфли и кинулся на кухню.

Тарелка с супом, подернутым застывшим жиром, стояла на столе. Георгий схватил ее, держал некоторое время перед собой, загнанно глядя туда-сюда, потом опустил опять на стол — надо же сначала достать из холодильника всю кастрюлю. Он достал ее, начал торопливо переливать суп, и тарелка вдруг выскользнула из руки, ударилась о край кастрюли. И все это вместе — и осколки разбившейся тарелки, и кастрюля с ее содержимым — грохнулось на пол, разлетелось по сторонам, растеклось, забрызгав ему носки и брюки.

Георгий медленно опустился на корточки посреди этого несчастья и заплакал. Плакал он тихо, покачивал головой и говорил:

— Господи, прости меня, я виноват. Если можешь, прости.

В КЛУБАХ ДРУЗЕЙ «НАШЕГО СОВРЕМЕННИКА»

Разделяя в целом позицию «Нашего современника», мы, группа киевлян, подписчиков журнала, решили создать Клуб друзей «Нашего современника».

Нам на древней земле Киева — «мати градов руських», — давшей начало трем братским народам: украинскому, белорусскому и русскому, и сегодня хочется видеть славян братьями, помнить о нашем духовном и историческом родстве, единой Вере и Судьбе. В Киеве зародилась великая православная цивилизация, духовный свет которой осветил многих. Нелегко ныне нашему Отечеству, славянскому братству: нашими недругами посеяны драконовы зубы межнациональной розни, которые дали обильные ядовитые всходы. Но мы верим, что народ Украины разберется в конце концов, кто его истинные друзья, а кто злочинцы в броских политических одеждах, со звонкими националистическими и псевдодемократическими лозунгами.

Баганов А. А., Бахтияров О. Г., Бордунов С. В. и др., всего девятнадцать подписей.

Контактные телефоны в Киеве: 290-78-05, 517-64-64, 474-08-86.

ВЛАДИМИР СОРОЧКИН



ЛЕЖИТ ДОРОГА СКВОЗЬ ПОГОСТ

Верховой

Холодный лес, сугробы в рост,
Колючие кусты.
Лежит дорога сквозь погост,
И все — кресты, кресты...

Еще тепла не видел свет,
Не пахла бузина,
Но вновь — себе самой вослед
Завьюжила зима.

И те, кто ведали пути
По всем краям земным,
Устали по снегу брести
И кружат вместе с ним.

Или покорно вмерзли в лед,
И дальше — ни на шаг,
Но и без этих жизнь идет
По вехам на большак...

От деревеньки в пять дворов
Отъедет верховой,
Минует дол, минует ров,—
Замерзший, но живой.

Натянет повод у коня
И спе́шится — лоб в лоб,
И, отвернувшись от меня,
Помочится в сугроб.

Протянет: «Как твои дела?..»
— Да так... — скажу, смутясь.
— Ну ничего, зима была
Похлеще, чем сейчас...

— А почему она у всех
У вас не на Покров?
— Но мы исправно чистим снег
И нарубили дров...

И вновь — верхом рванет на дым
Становищ за бугром,
И мерин ёкает под ним
Оборванным нутром...

В его дороге меньше верст,
Чем месяцев и лет:
Сейчас он въедет на погост
И потеряет след...

СОРОЧКИН Владимир Евгеньевич. Родился в 1961 году в Брянске. Окончил технологический институт. Рабочий Карачаевского дорожного ремонтно-строительного управления. Живет в Брянске.

Помин

Старушка пыль устала протирать,
Предметы расставлять, перебирать,
Присела, онемев от тишины,
И вдруг упала рама со стены.

Стекольным звоном кончено пике,
И распростерся на половике
Ее сынов желтеющий портрет
Из фотографий довоенных лет.

И ею в плаче поднят из руин
Осколком рассеченный старший сын,
И, вытирая слезы кулачком,
Берет других, положенных ничком.

Всех собирает вместе за столом
И выправляет каждый перелом,
И гладит раны глянцевые тел,
Глядит, как шнур на раме перетлел.

Сметает бой к остуженной печи,
Скрипит калиткой в пасмурной
ночи,
Стучит впотьмах в соседское окно,
Чтоб ей мужчина вырезал стекло.

ВЛАДИМИР СУВОРОВ



...И СТРАШНО ЗА ДЕТЕЙ

* * *

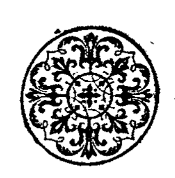
Что делать нам, Матрена Алексеевна?
Еще в полях не пахано, не сеяно,
А и посеют — не сберут добром.
Что ждет тебя, мою голубку сизую?
Ни паспорта с израильскою визою,
Ни брата, ни сестрицы «за бугром».
Бегут, бегут... Певцы, актеры, зрители,
Писатели, художники, мыслители,
Предчувствуя вселенский глад и мор.
А нас с тобою не года состарили,
А мы пошли талоны отоварили

СУВОРОВ Владимир Сергеевич. Родился в 1947 году в Удмуртии. Окончил Литературный институт им. Горького. Работает преподавателем литературы в сельской школе. Автор книги стихотворений «Нить», вышедшей в Приокском книжном издательстве в 1987 году. Живет в селе Гремячее Тульской области.

Да и ведем за чаем разговор.
О том, о сем... Но больше о божественном,
О праведном, возвышенном, торжественном,
Чем можно душу грешную согреть.
Ах, нам бы песню, русскую, раздольную,
Что рождена была крестьянкой вольною,
Колхозницей придется помереть.
Я загрущу. Не пишут однокашники.
Пошарь, Матрена, где-нибудь в загашнике,
Нальем вина, презрев сухой закон.
За всю родню — и близкую, и дальнюю,
За нашу Русь, за Родину печальную,
За ясный свет несгинувших имен.
Горит закат, Матрена Алексеевна.
Окно в избе бумагою заклеено,
И кот застыл над плошкой с молоком.
Грозит судьба и голодом, и папертью:
Кто бросил нас — тому дорога скатертью,
Кто верен нам — цветастым рушником...

* * *

Десятый класс. Урок литературы.
Смешные Чернышевского фигуры:
Кирсанов, Лопухов,
четвертый сон...
Зловещий вид отличницы Марины:
Вчера была звана на именины,
Но почему-то не явился Он.
Твердит учитель:
«Разберитесь сами».
Наташа спит с открытыми глазами
(Вернулась со свиданья поутру)...
Пролейся, свет, на заспанные лики!
К чему же звал
сей демократ великий?
И кто-то робко пискнул:
«К топору...»
Звенел топор над барскою усадьбой,
Слиянье душ
не завершилось свадьбой,
Чужим добром не разжилось село.
Всем исполать —
мыслителям, пророкам,
А нам ошибки выходили боком,
И мы не знаем,
где добро, где зло...
Несчастный шкраб!
Отбрось учебник старый!
Уже опять готовятся пожары,
Уж мир трясет от горестных вестей!
Чего ж мы ждем?
Чему поверим сдуру?
Десятый класс. Урок литературы.
А дети спят. И страшно за детей...



ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ

РУСОФОБИЯ: ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

За последние годы мы стали свидетелями и участниками поразительного явления, которому я, по крайней мере, не вижу прецедентов в истории. Марксистско-ленинско-сталинско-брежневский строй был безжалостным и античеловечным железобетонным монолитом. Единственным его абсолютным принципом было сохранение власти любой ценой. И вдруг он рассыпался без видимых причин: проигранной войны, забастовок, волнений или голода. При этом строе на праздничные дни в учреждениях опечатывались пишущие машинки, чтобы не дать печатать листовки, и назначались патрули для ловли несуществующих злоумышленников. И этот же строй без сопротивления отказался от господства над экономикой, цензуры, от бутафорских выборов, допустил враждебные ему партии и средства информации. Это была не медленная эволюция, а мгновенный (в историческом масштабе) крах. Он перевернул всю нашу жизнь и взгляды. Относительный вес разных факторов, связи их друг с другом — все стало иным.

Ввиду этого я и возвращаюсь к теме моей старой работы — «РУСОФОБИЯ». Она была написана более десяти лет назад, в период безраздельного (и, как казалось, почти вечного) господства режима. Мне и в голову не приходило, что работа сможет быть напечатана при моей жизни. После долгих колебаний мы с друзьями решили распространять ее в самиздате, надеясь, что из десятков экземпляров хоть несколько уцелеет и донесет до потомков это свидетельство о нашем времени.

Жизнь оказалась переполненной сюрпризами. Во-первых, и тогда, в 1982 году, работа стала распространяться в Самиздате довольно бойко. А потом началась «перестройка» и «гласность», работа печаталась[1], да не одним изданием, даже переведена на несколько языков. Благодаря этому на нее возникло много откликов, напечатанных, прочитанных по радио или в виде писем автору. Эти отклики тоже дают материал для анализа явления, рассматриваемого в работе.

Приведу для удобства читателя краткое резюме основных положений «Русофобии».

1. В нашей публицистике и литературе существует очень влиятельное течение, внушающее концепцию неполноценности и ущербности русской истории, культуры, народной психики: «Россия — рассадник тоталитаризма, у русских не было истории, русские всегда пресмыкаются перед сильной властью». Для обозначения этого течения и используется термин «русофобия». Оно смертельно опасно для русского народа, лишая его веры в свои силы.

2. Русофобия — идеология определенного общественного слоя, составляющего меньшинство и противопоставляющего себя остальному народу. Его идеология включает уверенность этого слоя в своем праве творить судьбу всего народа, которому отводится роль материала в руках мастера. Утверждается, что должна полностью игнорироваться историческая традиция и национальная точка зрения, надо строить нашу жизнь на основе норм западноевропейского, а особенно американского общества.

3. Аналогичный узкий слой, враждебный историческим традициям остального народа и убежденный в своем праве манипулировать его судьбой, возникал во многих кризисных ситуациях. Его очень ярко описал французский историк О. Кошен в связи с Великой Французской революцией. Кошен назвал его «Малым народом» (противопоставляя остальному — «Большому народу»). Тот же термин используется в работе для всех вариантов этого явления. В качестве других примеров приводятся Английская революция (пуритане), Германия 30-х гг. XIX века («Молодая Германия», «младогегельянцы»), Россия периода «революционной ситуации» — 70-е гг. XIX века.

[1] «Вече» (Мюнхен). 1988. «Кубань». 1989. №№ 5, 6, 7, «Наш современник», 1989, №№ 6 и 11 и ряд отдельных изданий.

ШАФАРЕВИЧ Игорь Ростиславович — ученый-математик, философ, публицист и общественный деятель. Член-корреспондент АН СССР. Автор известных работ: «Русофобия». «Две дороги к одному обрыву». «Социализм как явление мировой истории». Участвовал в сборнике «Из-под глыб» (Москва—Париж, 1974). Живет в Москве.

4. В литературе современного «Малого народа» поражает, какую исключительную роль играют еврейские национальные проблемы. Это, как и ряд других признаков, указывает на то, что в нем есть влиятельное ядро, связанное с некоторым течением еврейского национализма. Ситуация драматизируется реминесценциями той роли, которую играло течение радикального еврейства в подготовке, осуществлении и закреплении революции. Тем не менее «Малый народ» отнюдь не является национальным течением: в нем участвуют представители разных наций (как и социальных слоев). Точно так же, как и наша революция ни в коей мере не была «сделана евреями»: процесс начался в эпоху, когда ни о каком еврейском влиянии не могло быть и речи.

Полная замена всех основ и скреп нашей жизни привела к тому, что влияние на жизнь рассматриваемых в работе явлений стало совсем иным. Появилась возможность по-новому взглянуть на них, да и проверить еще раз выводы работы.

1. РУСОФОБИЯ СЕГОДНЯ

В своей старой работе я вынужден был реконструировать, отгадывать то явление, которое окрестил русофобией, по отдельным статьям самиздата, по эмигрантским публикациям. Теперь, при полной гласности, при слиянии нашего и эмигрантского книжного рынков, таких трудностей не существует. И течение, о котором тогда можно было лишь догадываться, что оно окажет влияние на жизнь в будущем, сейчас становится мощной и явной силой. В новых условиях само явление становится новым. Вот для начала пример:

Холуй смеется, раб хохочет,
Палач свою секиру точит,
Тиран терзает каплуна,
Сверкает зимняя луна.

То вид отечества: гравюра,
На лежаке солдат и дура.
Старуха чешет мертвый бок.
То вид отечества: лубок.

Собака лает, ветер носит,
Борис у Глеба в морду просит,
Кружатся пары на балу,
В прихожей — куча на полу.

Луна сияет, зренье муча,
Под ней — как мозг отдельный — туча.

Пускай художник, паразит,
Другой пейзаж изобразит.

Вероятно, я мог бы процитировать это и 10 лет назад. Но тогда — что было в этом значительного? В своих антипатиях человек не волен, а форма их выражения — всего лишь личная особенность автора. Но сейчас мы со всех сторон слышим, что автор — И. Бродский — величайший русский поэт современности, заслуженно увенчан Нобелевской премией, а стихи его возвращаются на родину (хотя применимость такого термина здесь, пожалуй, сомнительна). Социальная значимость этого произведения стала совсем иной.

Вот пример из прозы. «В этой стране пасутся козы с выщипанными боками, вдоль заборов робко пробираются шелудивые жители. (...) В этой стране было двенадцать миллионов заключенных, у каждого был свой доносчик, следовательно, в ней проживало двенадцать миллионов предателей. Это та самая страна, которую в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя»; «Я привык стыдиться этой родины, где каждый день — унижение, каждая встреча — как пощечина, где все — пейзаж и люди — оскорбляет взор». Написано в 70-е годы, но даже не знаю, было ли опубликовано тогда. Теперь же распространено большим тиражом («Библиотека «Огонек»). Автор Б. Хазанов (Г. Файбисович) издает (вместе с К. Любарским и Э. Финкельштейном) в ФРГ журнал «Страна и мир», ориентированный в духе приведенных цитат.

Таков «ветер перемен». В частности, почти все, что я цитировал в старой работе из сам- и тамиздата, теперь нахлынуло сюда массовыми тиражами. С отменой глушения радиостанцию «Свобода» слышно 24 часа в сутки в любом месте — все ее вещание накалено этой страстью. Русские («русский шовинизм») — виновники голода на Украине, русское сознание в принципе утопично, русские вообще — не взрослые. И до полной потери приличия нескрываемый восторг по поводу всех бед нашей страны: разрухи, междоусобиц, близкого голода.

Газеты, журналы, телевидение все более подчиняются этому течению. Известный окрик с самых верхов власти — что мы живем плохо, так как русские ленивы — был подхвачен с сочувствием. Например, журнал «Наука и техника» — где тут место идеологии? Но: «Развитие кооперативов усилит имущественное неравенство. Один человек талантлив и трудолюбив, другой ленив. Так было, есть и будет, пока не исчезнет лень — одна из черт русского характера». Тут уже предопределена и национальная раскладка этого имущественного неравенства. Другой вариант: «Несомненно, что крепостное право не могло не выработать рабских черт характера у крепостного крестьянина». Может быть, проверим у Пушкина? Вот типичный крепостной — Савельич. Но не согласный с Пушкиным автор зато нас утешает, указывая надежду на будущее: «Ведь во Всероссийской политической стачке 1905 года участвовали дети бывших крепостных. Как изменилась психология за 44 года!» Это ведь ужас, в эпоху какого помрачения разума мы живем! Считать рабами тех, кто создал наши сказки и песни, кто насмерть стоял под Полтавой и Бородино! А свободными душами — тех, кто пошел за полуграмотными, злобными, нравственно ущербными крикунами, приведшими их — теперь уже все видят, куда. Победоносцеву пишет один его корреспондент в 70-е гг., как «нигилист» агитировал мужика: бери топор, и все, что сегодня барское, завтра будет твое. Мужик в ответ: а послезавтра? И объясняет: если я не вор, не убийца, пойду грабить и убивать, так почему ж ты-то у меня награбленное не отберешь? Ведь этот уж настоящий крепостной (всего лет 10 до

того освобожденный) видел нашу историю на полвека вперед, видел то, о чем не подозревали Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Михайловский, Милюков. Но все равно — «раб».

Для более убедительного доказательства этого тезиса еще один автор спрашивает: почему не «безбожный Запад», а Россия допустила «избиение церкви государством? Как глубоко религиозный народ допустил физическое истребление за один год Советской власти (1919 г.) 320 тысяч священнослужителей (см. «Комсомольскую правду» от 12 сентября 1989 г.)». Вот так и судят о нашей истории — по заметкам в «Комсомольской правде». Толстый журнал («Октябрь») пишет об одной из величайших трагедий нашей истории с фельетонной беззастенчивостью. 300 тысяч — это примерная численность всего духовенства — белого и черного — до революции. И, конечно, оно не было все истреблено за один год, его истребляли еще лет 20. Действительно, к началу войны (1941 г.) из этого числа служила едва ли одна двадцатая часть, но остальные далеко не все и даже не в большинстве своем были «физически истреблены». Если же сравнивать с Западом, в 20-е годы в Мексике прокатилось гонение на католическую церковь не мягче нашего. Священника, застигнутого за исполнением требы, расстреливали, за крестик сажали в тюрьму. Поднявшихся на защиту своей веры крестьян вешали, расстреливали, запирали в концлагеря. Организаторами были американизированные дельцы и адвокаты, финансируемые из Штатов, американский атташе давал советы по проведению политики «выжженной земли» и созданию концлагерей (американцы уже имели опыт на Гавайях). Запад не только дал раздавить крестьян, но свободная пресса еще и замолчала всю эту драму — так, что о ней мало кто и знает. (Сейчас переведен яркий роман Г. Грина «Сила и слава» об этом гонении и путевые заметки Грина «Дороги беззакония». Но самое сильное впечатление — от сухого рассказа историка, например, J. Meyer «Apokalypse et révolution en Mexique. Paris,1974.) Неужели мало нам перенесенных мучений и надо еще представлять нас какими-то выродками в человечестве, хватая для этого факты с потолка?

Другой автор и совсем без фактов, еще откровеннее: «Русский национальный характер выродился. Реанимировать его — значит вновь обречь страну на отставание». У третьего еще хлеще: «Статус небытия всей российской жизни, в которой времени не существует». «Россия должна быть уничтожена. В том смысле, что чары должны быть развеяны. Она вроде и уничтожена, но Кащеево яйцо цело». И уж совсем срываясь: «Страна дураков... находится сейчас... в состоянии сволочного общества». Про русских: «Что же с ними делать? В переучение этого народа на жизнь ради жизни (таков язык подлинника!) поверить трудно. В герметизацию? В рассеивание по свету? В полное истребление? Ни одного правильного ответа». И на том спасибо!

Кажется, что существование русского народа является досадной, раздражающей неприятностью. Доходит до чего-то фантастического! В «Литературной газете» опубликовано письмо известного артиста Театра на Таганке В. Золотухина. Раньше эта газета написала об «омерзительном зрелище», в котором он участвовал, процитировав рядом некие слова «о чистоте крови» (произнесенные в месте, где Золотухин не был). Актер стал получать письма с обвинением в беспринципности, в том, что он — «враг еврейского народа». Такие же письма вывешивались в театре. За что? Оказывается, за то, что на 60-летнем юбилее Шукшина, у него на родине, Золотухин сказал — у нас есть живой Шукшин, живущие Астафьев, Распутин, Белов, и мы не дадим перегородить Катунь плотиной! Не было бы это напечатано, я бы не поверил!

Та или иная оценка России, русского народа всегда связана с оценкой его культуры, особенно литературы. И здесь аналогичная картина. Например, «Прогулки с Пушкиным» Синявского я упомянул вскользь еще в моей старой работе, тогда это был небольшой скандал в эмигрантской среде[2]. Теперь же «Прогулки» печатаются здесь в многотиражном журнале. Как ни объяснять их происхождение: желанием ужалить русскую культуру, патологическим амбивалентным отношением любовь—ненависть к Пушкину, стремлением к известности через скандал — у читателя все равно остается чувство, что нечто болезненное и нечистое соединяется с образом того, кто и до сих пор озаряет светом нашу духовную жизнь. В статье об этих «Прогулках» Солженицын обратил внимание на признаки такого же «переосмысления» Гоголя, Достоевского, Толстого, Лермонтова и высказал догадку: не закладывается ли здесь широкая концепция — как у России не было истории, так не было и литературы? И угадал! Уже в последние годы в здешнем журнале встречаем: «Вот у Гоголя тоска через несколько строк переходит в богатырство, как у Пушкина — разгулье в тоску. Так они и переливаются, жутко сказать, из пустого в порожнее, из раздолья в запустенье — на всем протяжении русской гордящейся и тоскующей мысли». «Пустота, неутолимый наш соблазн, сама блудница вавилонская, раздвигающая ноги на каждом российском распутье». И дальше отрывок из Блока: «О, Русь моя, жена моя!..» Очередь дошла и до Солженицына, Синявский, его соредактор по журналу Розанова, Сарнов, В. Белоцерковский и многие с ними заняты этим делом. Недавно в «круглом столе» журнала «Иностранная литература» было высказано много серьезных упреков литераторам, что боятся они (кого или чего — интересно?) разъяснять бесталанность и реакционность Солженицына. Но раньше уже отличился Войнович целым романом — грязным пасквилем на Солженицына.

---

[2] Пользуясь случаем, хочу исправить допущенную в прежней работе ошибку Синявский был осужден не на 5 лет, а на 7, из которых отсидел 6.

«Помрачение рассудка», «пятая колонна советской пропаганды», «проповедь о великорусском национализме» и «черносотенные инсинуации» — это В. Белоцерковский о Солженицыне, в таком же точно духе, что давние доносы Билль-Белоцерковского на Булгакова! И других современников не минуло. «Главное — в астафьевском мировоззрении, основная черта которого, на мой взгляд,— беззастенчивость». «Примитивный, животный шовинизм, элементарное невежество» (о нем же). «Мракобесие Распутиных...». «Белов лжет...». «Лад» — ложь». Так: от Пушкина до наших дней[3]. Шире литературы — язык. Из совсем недавнего (кстати, еще нам не встречался Тургенев, вот и он пригодился). «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбе нашей страны невольно спросишь себя: что это за народ, который одновременно истово клянется, что «мать» — это самое святое слово, и это же слово так прочно соединил в своем великом и могучем языке с грязным ругательством, что и само оно сделалось почти неприличным?»

Наиболее типичная в этом потоке литературы повесть В. Гроссмана «Все течет». Если 10 лет назад я мимоходом упомянул о ней как о мало известном произведении, но предтече всего направления, то сейчас она широко опубликована и подкреплена публикацией тоже ранее неизвестного яркого романа Гроссмана «Жизнь и судьба», а особенно его колоссальной рекламой. Схема повести: герой, выйдя из лагеря, пытается осознать происшедшее с ним и страной. Виновен Сталин? — нет, он приходит к мысли, что многие отталкивающие черты восходят к Ленину. Значит, Ленин? Нет, герой идет глубже. В конце книги он излагает свое окончательное понимание. Причина — в «русской душе», «тысячелетней рабе». «Развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России — ростом рабства». Сто лет назад в Россию была занесена с Запада идея свободы, но ее погубило русское «крепостное, рабское начало. Подобно дымящейся от собственной силы царской водке, оно растворило металл и соль человеческого достоинства». И в других странах иногда торжествовало рабство — но под влиянием русского примера. «По-прежнему ли загадочна русская душа? Нет, загадки нет. Да и была ли она? Какая же загадка в рабстве?» В повести как будто с сочувствием описываются крестьяне, мрущие от голода при коллективизации. Но в конце читатель понимает: это их собственная рабская душа заморила их, да еще насаждала рабство вне их страны. Такая концепция глубинного отрицания России и всей ее истории встречалась мне до того лишь однажды — в основном идеологическом произведении национал-социализма — «Миф XX века» Розенберга. Там та же схема русской истории. Русские — неполноценные, природные рабы. Их государство создали германцы-варяги. Но постепенно растворились, потеряли расовую чистоту. Результат — монгольское завоевание. Второй раз германцы создали русское государство и культуру в послепетровское время, и опять их захлестнула расово-неполноценная стихия. Концепция Розенберга последовательнее, так как явно формулирует практическую цель: новое завоевание России и германское господство, застрахованное на этот раз от растворения высшей расы неполноценным народом!

Повесть Гроссмана подводит к самому злободневному вопросу, осмыслению революции и последовавшей цепи трагедий. Еще 10 лет назад вопрос казался лишь темой для рассуждений идеологов, теперь же он встает перед каждым. И звучит ответ, уже давно заготовленный, но сейчас внедряемый мощью средств массовой информации: причина в русской традиции, русской истории, русском национальном характере (как у Гроссмана).

Тут Россия предстает даже злой силой, загубившей западные (марксистские?) идеи (растворила, «как царская водка» по Гроссману), «идея социализма, пришедшая к нам с Запада, пала на глухую, придавленную вековыми традициями рабства почву». Россия «дискредитировала сами идеи социализма». Недаром возникший у нас строй называют то «социализмом» (в кавычках), то псевдосоциализмом. «Разве вяжутся с социализмом тюремная организация производства и жизни, отчуждение, крепостное право в деревне?» Да почему же не вяжутся? Наш строй до парадоксальных подробностей совпадает с картинами будущего социалистического общества, кто бы их ни рисовал. Даже посылка горожан в деревню на уборочную была предусмотрена — именно так «классики» представляли себе «преодоление противоречия между физическим и умственным трудом».

Конкретнее, причину ищут в мужике. «Идея коллективизации чем-то напоминала (крестьянам.— **И. Ш.**) хорошо знакомую и близкую коллективность». «Предрасположенность добуржуазного крестьянина к коллективному хозяйству». «Большинство крестьян примирились с коллективизацией». Да откуда вы знаете, что они примирились? Только потому, что Рыбаков не захотел описать, как это «примирение» вылилось в тысячи восстаний, усмирявшихся пулеметами? Среди наших подъяремных философов А. Ципко первым, кажется, отважился напомнить о марксистском фундаменте революции (хотя нам, правда, с другими акцентами твердили об этом десятилетиями). Он даже как будто полемизирует с предшествующим автором: «модный ныне миф о крестьянском происхождении левацких скачков Сталина, в том числе и коллективизации» — и указы-

[3] Чувствуется, что здесь не хватает Блока. В последний момент я нашел и о нем. Один автор в эмигрантском журнале «Грани» умиленно объясняет, чем мы обязаны И. Бродскому. Оказывается, автор никогда не любил Блока, но стеснялся этого. А вот Бродский в беседе с Соломоном Волковым («Континент», № 53) смело сказал: «Блока, к примеру, я не люблю теперь пассивно, а раньше — активно (...) за дурновкусие. На мой взгляд, это человек и поэт во многих отношениях чрезвычайно подлый». И тем снял тяжелый груз с души автора.

вает на тождественность идеологии Сталина, Ленина и других марксистов, вплоть до Маркса. Но он очень обеспокоен тем, что «волна обновления... связана с основными нашими святынями — с Октябрем, социализмом, марксизмом». В результате «истоки сталинизма в традициях русского левого радикализма». Но если Сталин мыслил по Марксу? Тогда в каких традициях истоки марксизма? Недавно тот же автор писал в газете: «Катастрофа, которая произошла в 1917 году, была с энтузиазмом воспринята всем народом». А четыре года гражданской войны, Антоновское, Западно-Сибирское, Ижевское, Тульское, Вологодское восстания? Известный земец С. С. Маслов писал в начале 20-х годов: «Крестьянство борется неустанно и ожесточенно. Страшная расплата за борьбу, выражающаяся в уничтожении артиллерией и истреблении огнем деревень и станиц, в массовых расстрелах, пытках... его не останавливает». О Сибирском восстании: «В сражениях принимали участие дети, женщины, старики».

Но так и остаются русские у всех авторов виновными, народом-преступником. «Неспособность русской нации к пересмотру прошлого и признанию своей вины...» «Только равноправное экономическое содружество народов и может снять с народа русского подозрение в превосходстве» (таков уж слог!). То есть русские рассматриваются как амнистированный преступник, который еще должен хорошим поведением доказать, что исправился.

Казалось бы, хоть победа в последней войне, купленная даже не поддающимися пересчету жизнями русских и спасшая весь демократический мир, могла бы вызвать снисхождение к русским. Но нет, легче сменить отношение к Гитлеру. «Россия преподала миру чистые формы тоталитарной власти», а «современная политология даже фашистскую Германию считает не чисто тоталитарным, авторитарно-тоталитарным государством». Опоздали вы, критики России! Вам бы в 1942 год явиться и объяснить, что идет война тоталитарной власти против всего лишь авторитарно-тоталитарного государства. Нашлась бы заинтересованная аудитория для живой дискуссии — даже во всем мире.

Все настроение не ново — и в старой своей работе я приводил много таких примеров. Но сейчас оно уже тесно смыкается с реальностью. «Реторта рабства» — Россия — естественно, должна быть уничтожена, так, чтобы уж не поднялась. В первую мировую войну темный авантюрист Парвус-Гельфанд представил немецкому генштабу план бескровной победы над Россией. Он предлагал не скупясь финансировать революционеров (большевиков, левых эсеров) и любые группы националистов, чтобы вызвать социальную революцию и распад России на мелкие государства. План и начал успешно исполняться (Брестский мир), но помешало поражение Германии на Западе. Похожие идеи обсуждались и Гитлером. Но теперь такие планы разрабатываются и пропагандируются у нас. Разбить страну на части по числу народов, то есть на 100 частей, любой территории предоставить суверенитет «кто сколько переварит», как выражаются наши лидеры. Здесь уже речь идет не о тех или других территориальных изменениях, а о пресечении 1000-летней традиции: о конце истории России. И это логично: раз народ, создавший это государство, «раб», раз «Россия должна быть уничтожена», то такой конец — единственный разумный выход. Все возражения — это «имперское мышление», «имперские амбиции». И вдохновленные такой идеологией, политики раздувают за спиной друг друга сепаратистские страсти как диверсанты, взрывающие дома в тылу врага. То, что 10 лет назад было идеологическим построением, теперь стало мощной, физической разрушающей силой.

В прежней работе я обратил внимание на концепцию эмигранта-советолога А. Янова: Россия не может сама выработать план своего развития, за нее это должно сделать «западное интеллектуальное сообщество». Янов сравнивает эту задачу с той, которая стояла перед советниками генерала Макартура, командующего американской оккупационной армией в Японии после конца II мировой войны. Тогда эта идея показалась мне характерной как символ, знак того, что русофобские авторы мыслят уже в рамках концепции оккупации. Но сейчас бывший министр иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе* вполне по-деловому заявляет, что положительно относится к участию войск ООН в решении конфликтов внутри СССР («Правда», 21.VI.91 г.).

На мрачном фоне нашей жизни есть, однако, нечто положительное: череда драматических событий дает материал для сопоставления их с некоторыми из обсуждавшихся выше идей — появилась возможность экспериментальной проверки. Например, такой центральной для всего течения концепции, как «русский фашизм»? «Русская идея реализуется как фашизм», «русские — расисты». Как выразителей тенденций всего народа часто выбирают писателей-«деревенщиков». Писатели-«деревенщики» — расисты, это любимая тема радио «Свобода». «Разве Белов, Астафьев — националисты?» — спрашивает Померанц. «Для них москвич — чужак, почти иностранец; женщина, которая увлекается аэробикой, — шлюха. Бред, но он отвечает сознанию нескольких десятков миллионов, выдранных из деревни и распиханных по крупноблочным и крупнопанельным сооружениям». «Почвы нет, а есть движение новых варваров, внутренних «грядущих гуннов». Другой автор: «Та мораль, которую несет Астафьев, есть доведенная до анекдота, но типичная для всего движения смесь: декларируемой любви — и осуществленной ненависти». «Черномазыми» кличут по России человека вида нерусского, а тем паче кавказского, торгаш он или не торгаш, неважно; а еще кличут «чучмеком» и «чуркой», если он по виду из Средней Азии». Автор якобы сам слышал, как дворники у одного универмага говорили, что «черномазых» надо давить, как тараканов. Теперь страсти разыгрались, власть ослабла,

* Ныне Э. Шеварднадзе является министром внешних сношений СССР (Прим. ред.).

и мы могли бы видеть, как русские фашисты преследуют и громят «чучмеков». Но вот жалуется «русофон» (русскоговорящий) из Кишинева: «В моем подъезде начертано крупно: чушки, уходите домой. Чушки — уличный синоним русофона». Не русские же скандировали в Кишиневе: «Чушки, проводите свой митинг в Сибири»,— и кто-то другой забил насмерть русского юношу за то, что на улице говорил по-русски. Не русские несли плакаты: «Мигранты, вон из Литвы», и это эстонский народный депутат написал, что русские произошли от женщин, изнасилованных татарами. Убивают друг друга азербайджанцы и армяне, грузины и абхазцы, грузины и осетины, громят месхов узбеки, но не слышно, чтобы кого-то убивали русские, зато погромы русских были в Алма-Ате, Душанбе, Туве. А беженцы любых национальностей стекаются в Россию, особенно в Москву. Можно сказать: какие же русские свойства здесь проявляются? Беженцы сами едут в Москву — что же с ними делать? Но ведь не всегда так мирно обходится. Например, когда в 1921 году голодные беженцы из России хлынули в Грузию, там был поставлен вопрос о закрытии границы. Наверное, были в последние годы и такие столкновения, где инициаторами явились русские, но общий характер событий, кажется, никак не соответствует образу «русских фашистов». Концепция «русского фашизма» прошла первую экспериментальную проверку...

Б. Хазанов пишет: «Берегитесь, когда вам твердят о любви к родине: эта любовь заражена ненавистью. Берегитесь, когда раздаются крики о русофобии: вам хотят сказать, что русский народ окружен врагами». Но послушаем и другую точку зрения! Это написал Розанов в 1914 году, когда наш 74-летний эксперимент был еще в стадии подготовки: «Дело было вовсе не в «славянофильстве и западничестве». Это — цензурные и удобные термины, покрывающие далеко не столь невинное явление. Шло дело о нашем отечестве, которое целым рядом знаменитых писателей указывалось понимать как злейшего врага некоторого просвещения и культуры, и шло дело о христианстве и церкви, которые указывалось понимать как заслон мрака, темноты и невежества; заслон и — в существе своем — ошибку истории, суеверие, пережиток, то, чего нет (...).

Россия не содержит в себе никакого здорового и ценного звена. России собственно — нет, она — кажется. Это ужасный фантом, ужасный кошмар, который давит душу всех просвещенных людей. От этого кошмара мы бежим за границу, эмигрируем, и если соглашаемся оставить себя в России, то ради того, единственно, что находимся в полной уверенности, что скоро этого фантома не будет, и его рассеем мы, и для этого рассеяния остаемся на этом проклятом месте Восточной Европы. Народ наш есть только «средство», «материал», «вещество» для принятия в себя единой и универсальной и окончательной истины, каковая обобщенно именуется «Европейской цивилизацией». Никакой «русской цивилизации», никакой «русской культуры»... Но тут уж дальше не договаривалось, а начиналась истерика ругательств. Мысль о «русской цивилизации», «русской культуре» — сводила с ума, парализовала душу».

II. «МАЛЫЙ НАРОД» СЕГОДНЯ

Отличительный признак «Малого народа» во всех исторических ситуациях — его совершенно особенное отношение к остальному народу, как будто к существам другой, низшей природы. И сейчас леворадикальный политик говорит: «Они живут по-свински и, что самое страшное, довольны этим». Экономист советует купить «им» на миллиард дешевого ширпотреба — на несколько лет «они» будут довольны. Так говорить мог только англичанин о неграх — да и то в прошлом веке. Явно авторы ощущают себя не внутри, а вне этого народа. Вот идеально четкая формулировка: «Два народа растягиваются к противоположным полюсам, чтобы еще раз схватиться. Один народ явно многочисленнее, непоседливо-непримирим, плотояден и груб — это все прошлые и нынешние вожди партии, сам «аппарат», идейные сталинисты, идейные националисты, славянофилы и с ними вся необъятная Русь — нищая, голодная, но по-прежнему видящая избавление от всех бед только в «твердой руке», в «хозяине», в петлях и тюрьмах и иконе-вожде. Другой народ чрезвычайно малочислен. Он видит избавление в уничтожении власти бюрократии, в свободном и демократическом государстве»[4].

Мировоззрение этого течения не отягчено излишними сложностями: ни гегельянской фразеологией, ни рассуждением о превращении гвоздей в сюртук, ни призывами «штурмовать небо» или картиной прыжка из царства необходимости в царство свободы. Его можно назвать «идеологией велосипеда», ибо оно прекрасно выражается простым и бодрым призывом: «не будем изобретать велосипед!». Предполагается, что где-то уже готова несложная схема, следуя которой и нужно смонтировать нашу жизнь. Любой из них, вероятно, был бы глубоко обижен, если бы его духовную жизнь по сложности сравнили с устройством велосипеда. Но проблемы громадной страны, населенной сотней народов, с историей, уходящей вглубь на тысячелетия, с многогранной культурой они призывают трактовать на таком уровне.

Люди подобных взглядов у нас обычно называют себя «левыми». Это очень старый термин, он во всех случаях определяет четко очерченный тип. Так Троцкий был левее Зиновьева, Каменева и Сталина, потом Троцкий, Зиновьев и Каменев — левее Сталина и Бухарина и, наконец, Сталин оказался левее Бухарина. До революции эсдеки были левыми, но среди

[4] Поразительно! Если исходить из концепции демократии, власти большинства (автор — депутат-демократ), то однозначен вывод: надо вернуть «власть твердой руки», «хозяина», тюрьмы и икону-вождя. Ведь именно такова воля большинства!

них большевики — левее меньшевиков. Левыми были и эсеры, но среди них «левыми» назывались союзники большевиков по Октябрьскому перевороту. Термин «левый» устойчиво характеризует определенную жизненную установку. Язык — не «знаковая система», где можно обозначить любое понятие любым знаком: между понятием и выражающим его словом существует глубокая связь. По поводу слова «лево» Даль приводит выражения: «Левой ногой с постели ступил», «левизна: неправда, кривда». «Твое дело лево: неправо, криво». Смысл нарушения норм, уклонения от закона тесно связан с «левым», например, современное: «левый заработок». Латинское слово sinister, означает левый, испорченный, несчастный, пагубный, дурной, злобный. Славянский, германский и литовский термин соответствует латинскому laevus, что означает левый, неловкий, глупый, зловещий. Сказано о Сыне Человеческом: «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую» (Матф. 25, 33). У многих первобытных народов фундаментальную роль играет противопоставление рядов: день, солнце, правое, прямое... — ночь, луна, левое, кривое...

До революции наш «Малый народ» (или можно было бы сказать «Левый народ») не был однозначно партийным. Он заполнял верхи левых партий, но в большой степени был и внепартийным. После революции все изменилось: одна часть его вошла в правящую партию, другая подчинилась ей как «сочувствующие» и «попутчики», остальные были выброшены из жизни. Так, в подмороженном виде, идеология «Малого народа» и была пронесена в теле партии через десятилетия, пока не ожила вновь. Поэтому современный «Малый народ» родился из партии и связан с ней общностью многих основных черт. Их роднит отчуждение от народа и отношение к нему как к «средству» и «материалу». Ленин пояснял Горькому свой взгляд на «мужика» (80 процентов населения): «Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках — не угроза культуре, нет? Вы думаете Учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много — и правильно! — шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу». Сюда же относится и образ России как «головни», которой можно зажечь мир. Да и Бухарин — как предлагавший переделывать человечество при помощи расстрелов, так и в свой самый мягкий период — исходил из того, что крестьянство надо направлять, преобразовывать, руководить им, отказывая ему в праве на развитие согласно своим собственным традициям и взглядам. Сталинская коллективизация была для партии проблемой не идеологии, но тактики—поэтому она так легко и была партией принята. И Хрущев ли, Брежнев или Андропов, говоря о «нашем государстве», всегда отсчитывали его историю с 17-го года. А до этого было что-то для них «не наше». Я храню опубликованный в «Правде» ответ Брежнева на поздравления с 70-летием. Там нет не только намека на 1000-летнюю историю государства, в котором он властвует, но даже ни слова об этом государстве вообще — все только о партии и Ленине, как если бы он был в этой стране чужаком, иноземным завоевателем. Идеология «Малого народа» и партии едина и в убеждении, что виновник всех неудач — народ. У Солженицына Сталин сетует: «Народ-то его любил, это верно, но сам народ кишел уж очень многими недостатками, сам народ никуда не годился». А сейчас наша экономика в кризисе, так как народ ленив. По той же причине эстрадные артисты, особенно любовно вырисовывавшие образ дурака-алкоголика из народа, были высоко ценимы партийными верхами, были увенчаны высшими наградами. Да это и понятно: так утешительно, глядя на талантливо поданный образ этого серого, неумного народа, еще раз убеждаться, что именно он причина любых неудач.

Но когда «народ» воспринимался не как все население, а как определенная нация, то это были русские, национальная персонификация, архетип абстрактного «народа». У Троцкого: их основная черта — «стадность», ленинская характеристика: народ «великий только своими насилиями, великий так, как велик держиморда», и так вплоть до сталинской формулы истории России, которая заключалась, «между прочим, в том, что ее все время били...». В этом отношении А. Н. Яковлев выражал фундаментальную партийную традицию в своей статье «Против антиисторизма» (1972) — сигнале к разгрому группы литераторов, заподозренных в русском патриотизме. Логично встречаем в ней и тезис, что «справного мужика» так и надо было «порушить». И совершенно в том же духе в статье «Синдром врага» (1990) он набрасывает свою схему русской истории («Возьмем хоть Россию»): «С кем только ни воевала». «Все это формирует сознание, остается в генофонде». «Психологически — наследие отягчающее». Как же жить народу с отягченным генофондом: ведь гены не перевоспитываются? (Одно утешение, что из школы знаем: приобретенные признаки на генофонд не влияют!) Так сливается идеология «Малого народа» и правящего партийного слоя.

Единство идеологии — причина преданной любви современного «Малого народа» к революционному прошлому и его героям: «бурному, почти гениальному Троцкому» или Бухарину — «человеку, отвергающему зло» (как его назвала одна газета). Особенно же к 20-м годам — эпохе, когда готовился прыжок на деревню, воспитывался слой людей, для которых весь деревенский уклад жизни был отвратителен, подлежал уничтожению. Витает надежда, что недоделанное тогда удастся завершить сейчас: «На дворе двадцатые годы. Не сначала, так с конца». Нам предлагают считать деятелей той эпохи романтиками — быть может, заблуждавшимися — в отличие от чудовища Сталина. Действительно, те люди испытывали некий подъем, прилив энергии: это можно назвать романтизмом, можно — одержимостью. Но ведь такой же подъем давала и романтика «нордической расы»!

Казалось бы, следует применять одну мерку к тем, кого судили в Нюрнберге, и к тем, кто уничтожал казаков. Или истребление мужиков — это только ошибка романтиков? Интересно вспомнить, как всего года 3 назад левая пресса встала стеной на защиту этих дорогих воспоминаний. «Ни шагу назад от 37-го года!» — было тогда лозунгом дня. «Для чего надо уравнять преступность и безнравственность Сталина с безвыходностью (?) революционеров? — Чтобы посеять в душах сомнение в правильности социалистического выбора». Это писалось не в правоверной партийной газете, а в самом популярном левом издании. Когда В. В. Кожинов высказал мысль, что сталинизм — результат всемирного процесса, эта же пресса обвинила его в том, что он хочет этим реабилитировать Сталина. А когда я поддержал и развил его мысль, то моя заметка была уравновешена статьей Р. Медведева, где он разоблачал страшную тайну, что я хочу бросить тень на лозунг «больше социализма!» (который все они тогда твердили). Моя старая работа «Арьергардные бои марксизма» была перепечатана здесь, когда все левые идеологи еще мужественно вели эти бои. Подобных примеров много. Именно мы, «консерваторы», постепенно заставили левое течение отказаться от той фразеологии «заветов Ленина», «социалистических идеалов» и даже, частично, марксизма, которую многие из них сейчас уже патетически клеймят.

Да связь «Малого народа» с партийным правящим слоем видна и на персональном уровне. Кто сегодня их вожди: политические лидеры, идеологи? Это вчерашние деятели партийного аппарата (вплоть до очень высоких), экономисты-специалисты по анализу развитого социализма, идеологи, философы, даже следователи, генералы КГБ, министры МВД! Почти все из них 1—2 года назад были членами КПСС: «коммутанты», по выражению Б. Олейника. Среди них нет почти никого, кто вчера противостоял бы этому правящему слою. Из тех, кто боролся против переброски рек, отравления Байкала, — никто не оказался среди левых лидеров. Даже участники диссидентского правозащитного движения, несмотря на близость многих взглядов, очень плохо принимаются этим слоем. Сахаров был редким исключением, им надо было бы беречь его, как зеницу ока, не вовлекать в сиюминутные свои конфликты.

Переход от ортодоксальной коммунистической к левой фразеологии происходит часто почти мгновенно, что было бы невозможно, если бы здесь не было идеологического единства. Так, В. Гроссман писал: «Партия, ее ЦеКа, комиссары дивизий и полков, политруки рот и взводов, рядовые коммунисты в этих боях организовали боевую и моральную силу Красной Армии». В войне, по его мнению, «побеждали рабочие и крестьяне, ставшие управителями России». Он даже подписал письмо Сталину, требующее самой суровой кары «врачам-убийцам». (См. Семен Липкин. «Время и судьбы». М., 1990).

Единство так сильно, что одна сторона болезненно чувствует, когда задевают другую. Так недавняя комсомольская, а ныне независимая ленинградская газета «Смена», посвятив целую страницу критике моих взглядов, самыми жирными буквами выделила слова, связанные с утверждением (в моем интервью, напечатанном ранее той же газетой), что дело не в личном противостоянии Ельцина и Горбачева, а просто — что не будет у нас эффективного руководства, пока оно в руках представителей прежней партийной верхушки. Единство сказывается и в том, с какой легкостью «левые» апеллируют к аппарату власти: суду, КГБ — хотя теоретически они его сурово осудили. Парадоксальный пример — Г. Померанц так опровергает мое мнение, что идеология «Памяти» и прибалтийских «фронтов» совпадает: «Правда, официально известно, что одного из лидеров «Памяти», Васильева, пришлось предупредить насчет ответственности на случай погрома». Но кому это «пришлось»? — КГБ. Ему же, только называвшемуся МГБ, насколько я знаю, «пришлось» в свое время не только «предупредить», но и отправить в лагерь Померанца. Неужели даже это не мешает рассматривать такое «предупреждение» как весомый аргумент?

Особенность современного «Малого народа» в том, что он уже не в первый раз в нашей истории оказывается одной из решающих сил. Видимо, в связи с этим для него такую болезненную роль играет проблема исторической ответственности, вины. Как странно! Из этого слоя мы часто слышим, что поиски «виноватого», «синдром врага» — это признаки ущербного сознания. Нам разъясняют, что выбитые из жизни, дестабилизированные люди и целые слои народа склонны искать где угодно «козла отпущения». Но удивительным образом тут же мы слышим, что носителем сталинизма являются низы народа («сталинизм, так сказать, массовый, низовой»), социальной базой Сталина было патриархальное крестьянство, сейчас питомник тоталитарной идеологии — разоренное крестьянство («новые гунны»), в революции виноват народ, русские. Но ведь все эти группы тоже «кто-то» — и почему же их дозволительно делать «козлами отпущения»? Почему это не признак ущербного сознания? Недавно появилась парадоксальная статья сотрудника КГБ, где автор, жалуясь, что его ведомство стало «мальчиком для битья», призывает не искать виноватых, а признать, что виновна «вся нация». Здесь отсутствие логики явно бросается в глаза, равно как и цель — прекратить разговоры на неприятную тему. Но и в остальных же случаях дело обстоит не иначе.

А ведь проблема «исторической ответственности» очень глубока и важна — и как жаль, что она превратилась в футбольный мяч, который перебрасывается от одного к другому! Все сводится лишь к тому, чтобы назвать «виноватого» — патриархальное крестьянство, масонов, национальные черты русских или евреев. Но сначала ведь надо было бы обсудить саму постановку вопроса. Говоря о вине народа, мы пользуемся аналогией народ—человек, так как обычно лишь к человеку

применяется понятие вины. Такие аналогии часто продуктивны для постановки вопросов, но опасны как метод для поиска ответов. Все ведь зависит от того, как далеко простирается аналогия! Можно действительно привести много аргументов в пользу того, что народ — это нечто живое. Даже одухотворенное, так как способно к творчеству — например, фольклора. Но в то же время это «организм», которому в гораздо большей степени присуще бессознательное творчество, чем логическая выработка решений для достижения сформулированной цели. Только рассмотрение множества исторических ситуаций могло бы уточнить, в какой мере такому «организму» свойственно понятие «вины». В нашей революции очень отчетливо выделяется одна фаза, условно — «февральская», когда усилиями тогдашнего «Малого народа» разрушаются «интегрирующие механизмы», позволяющие народу ощущать себя и действовать как единое целое. Подвергается осмеянию и делается предметом ненависти национальная история, вера, историческая власть, армия. Создается множество мифов, внушаемых народу (о колоссальных помещичьих землях, которые могут утолить земельный голод крестьян, об измене двора, всевластии Распутина и т. д.). Народ как бы парализуется, становится беззащитной жертвой небольших агрессивных групп. Такой процесс больше похож на болезнь, чем на преступление — понятие вины к нему применять трудно. С другой стороны, русская революция была звеном в грандиозном всемирно-историческом процессе, длившемся не одно столетие. В те же годы, что Советская Россия, возникла Советская Венгрия и Советская республика в Баварии, коммунистические партии возникали во всех странах. Западное общественное мнение в большинстве своем приветствовало «блестящий эксперимент». Существенную роль играли устойчивая неприязнь Запада к исторической России, деньги германского генерального штаба, мощный приток сил радикального еврейства в революцию. Все эти внешние факторы надо откинуть, рассматривая проблему «русской вины». Остается ли хоть что-то после этого? Чувство говорит мне — что да! Что история не является процессом «по ту сторону добра и зла», где бессмысленно задавать вопрос о вине, как бессмысленно (по любимому сравнению Л. Н. Гумилева) спрашивать — кто прав: щелочь или кислота в химической реакции. Есть проблема выбора, в решении которой возможна нравственная ошибка, влияющая на всю следующую историю — то, что Достоевский называл «ошибками сердца». Выделить этот фактор (или убедиться, что его не существует) — было бы очень важно для осознания нашей судьбы.

III. «МАЛЫЙ НАРОД» ЧИТАЕТ «РУСОФОБИЮ»

Никак я не ожидал, что реакция на мою работу «РУСОФОБИЯ» достигнет такого размера: только отдельных, посвященных ей статей (у нас и на Западе) мне известно более 30. Сверх того, многочисленные пассажи о ней в статьях, посвященные ей радиопередачи, множество писем. Критические статьи, письма и передачи исходят, в основном, как раз от того слоя, который я назвал «Малым народом». Внешне различаясь — от корректных до грубо-ругательных, разного уровня культурности и даже грамотности, они основаны на очень единообразном мировоззрении. Было бы жаль не воспользоваться столь обильной информацией об этом слое. Соблазнительно попытаться яснее понять явление русофобии при помощи откликов на «РУСОФОБИЮ».

Русофобия как переживание, чувство особенно ярко проявляется в письмах. «Алкогольно-послушное большинство», «революция, задуманная как освобождение, как истинный социализм, выродилась на русской почве из-за ряда национальных особенностей», «народ, бунтующий за 6- или 8-конечный крест или из-за способа написания имени идола» (намек на раскол, одним из поводов к которому было изменение написания имени Иисуса. Так что «идол» — это Христос, чувство выражено серьезное!). Вот некоторые характеристики из одного только письма: «самовлюбленный дурак: мы на горе всем буржуям!», «тысячелетие диктатур подорвало интеллектуальный и моральный потенциал масс», «претензии на пуп земли», «народ с упоением самоуничтожающийся», «нищий дебил с атомной бомбой», «герой фольклора Иванушка — дебил есть ли еще у какого народа?». Последнее хоть проверить можно. У Афанасьева к сказке «Иван-дурак» есть примечание: «Сказка известна во всей Европе, на Кавказе, во всей Азии, на островах Зеленого Мыса, в Америке. Древнейший известный вариант относится к 492 г. и содержится в китайском сборнике Po-yu-king, , переведенном с индийского» Сюжет приведен в справочниках всемирно распространенных сюжетов Bolte-Polivka, Aarne-Thompson и многих других. Автор, видимо, и не пытался проверить свой взгляд: он был ему заранее известен и факты должны были его подтвердить — иначе, что же это за факты!

Концепция «Малого народа» тоже выражена очень ярко. Один корреспондент пишет, что концепция ему даже нравится, но ее надо дополнить одним положением: «А очень просто. Они умнее других». Сопоставим с мыслью предшествующего автора о народе-дебиле. Как же «умные люди» поведут его по пути прогресса? Ведь он элементарной логики не понимает, тут нужны другие средства. (Вот и автор уже посылает на меня жалобу в идеологическую комиссию ЦК — написано-то было еще в 1989 г.)

В критических статьях поразила меня какая-то пропасть взаимного непонимания; мои аргументы просто не воспринимаются критиками, наши рассуждения движутся в разных, не пересекающихся пространствах. Причем мне кажется, что лишь в некоторых случаях это есть сознательное игнорирование сказанного как полемический прием.

Пример такого загадочного непонима-

ния — обсуждение (множеством авторов) самого явления русофобии. Есть стандартный набор цитат из статьи в статью, в письмах, в записках после выступлений. Это — слова из письма Пушкина о себе самом: «удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай-да умница», предсмертная запись в дневнике Блока: «Слопала меня Россия, как чушка глупого поросенка», «Прощай, немытая Россия» Лермонтова, «В судах полна неправды черной» Хомякова, Чаадаев, Гоголь. Авторам кажется убийственным вопрос: «Не зачислите ли Вы и их всех в русофобы?» Всякий раз кажется, что спрашивающие, если бы захотели, смогли бы и сами понять и ответить — а если есть желание не понять, то любые ссылки излишни.

Тут смешиваются отрывки из личного письма и дневниковые записи со статьями и книгами. Но кто будет судить, например, об отношении мужа к жене по словам, вырвавшимся во время ссоры? Когда-то в связи со скандалом, вызванным публикациями Синявского, и в частности «Россией-Сукой», в оправдание ему вспоминали, что и Блок-де назвал Россию чушкой. В письме в парижскую «Русскую мысль» один не раскрывший своего имени автор из СССР обратил тогда внимание на то, что Блок написал это в дневнике, а Синявский в журнале «Континент»; Блок — в России, умирая с голоду, а Синявский — в Париже, отнюдь не голодая. И Блок, назвав Россию чушкой, назвал и себя поросенком, а Синявский, написавший «Россия — Мать, Россия — Сука», не пожелал сделать из этого напрашивающийся о нем самом вывод.

Еще поразительнее любовь к «немытой России». Авторство Лермонтова не раз ставилось под сомнение, стихотворение впервые упоминается через 30 лет после его смерти, автографа нет. В некоторых дореволюционных изданиях печаталось в разделе «приписываемое». Во всяком случае не его следовало бы привлекать для характеристики отношения Лермонтова к России, столь отличного в других его произведениях. (Для сравнения — пушкинское стихотворное переложение «Отче Наш»: «Отец людей, Отец Небесный...» в последних изданиях его сочинений вообще не упоминается). Недавно я просмотрел ряд учебников литературы за все классы: «Немытая Россия» повторяется дважды — если ученик забыл, чтобы через несколько лет вспомнил. Что же отражает такая сладострастная тяга к этому стихотворению, как не русофобию?

Конечно, было и такое загадочное явление, как Чаадаев, друживший с Пушкиным и писавший: «Мы миру ничего не дали», «мы не дали себе труда ничего создать в области воображения». Но было и еще ярче, Печерин: «Как сладостно отчизну ненавидеть! И жадно ждать ее уничтоженья». Что же это доказывает? Только существование русофобии (у Чаадаева — как одной из компонент его загадочного мировоззрения). Так о том и статья.

Конечно, существуют явления, обладающие общими внешними чертами, хотя и совершенно различные. Но ведь разница чувствуется сразу! Когда Гоголь читал Пушкину «Мертвые души», тот сначала смеялся, потом становился все печальнее и воскликнул: «Боже, как грустна наша Россия!» Но разве мог бы кто-нибудь сказать, что «Россия грустна», читая роман Войновича, где наши потомки в XXI веке питаются переработанным калом; этот «вторичный продукт» сдают в приемные пункты, а выполнившие норму получают право в особом чулане предаться рукоблудию. У Гоголя ощущается ужас перед греховностью человека, для него, конечно, — русского человека. Это «критика человека», идущая в глубь его духовной сущности, но основанная не только на сочувствии, но на чувстве единства с ним. Роман же Войновича содержит, собственно, лишь поверхностные, хоть и нечистоплотные ругательства, бессодержательные, как ругательства, выкрикиваемые пьяным или написанные на заборе. Сочувствию же здесь явно нет места: всю ситуацию автор описывает, весело похохатывая, а может быть, и со злорадством.

Казавшийся мне столь любопытный феномен «Малого народа» не вызвал вообще никакого интереса, попыток принципиального обсуждения. А меня-то так поразила единообразность всех исторических реализаций этого явления! Когда наши публицисты утверждали, что в России вообще нет литературы, Пушкин и Лермонтов — бездарности, вся культура — у немцев, немецкие то же писали о своей литературе, о Гете, и культуру видели лишь во Франции, а французские — в Англии. Но я встретил лишь возражения по поводу деталей. Наиболее распространенное — что это неправдоподобно, будто меньшинство могло навязать свою волю большинству, что такая мысль даже оскорбительна для «Большого народа». Конечно, если бы речь шла о чисто физическом столкновении, так сказать «стенка на стенку», это был бы убедительный довод. Но ведь «Малый народ» действует через идеологию, средства массовой информации или подпольные партии — тут не численное соотношение решает. Ведь не удивляет же то, что, например, отсутствие витамина B_{12}, которого в организме всего 1—2-миллионные доли грамма, вызывает злокачественную анемию и смерть или что еле видимые бациллы убивают крупное животное, — «оскорбителен» ли этот факт для животного? В начале 80-х гг. прошлого века департамент полиции составил список всех известных ему революционеров. Он включал действительно подавляющее число участников революционного движения, а всего в списке был 151 человек, это за четверть века до революции! Наиболее ярко непонимание этой стороны социальной жизни проявил Сталин, когда на замечание о роли папы римского спросил иронически: «А сколько он может выставить дивизий?» Кроме того, область деятельности «Малого народа» есть разрушение, а оно всегда примитивнее и требует гораздо меньших усилий, чем созидание, жизнь. Чтобы создать Пушкина, необходимы были тысячелетия русской и мировой истории, чтобы убить — достаточна одна пуля Дантеса.

Иногда мои критики в своих взглядах отстоят друг от друга дальше, чем я от каждого из них. Так понятию «Малый народ» даются две диаметрально противоположные интерпретации. Одна — что это любое меньшинство. Например, штатный философ «Радио Свободы» Б. Парамонов напоминает, что и апостолы составляли меньшинство, и предлагает мне, как христианин христианину, над этим задуматься. Но ведь «Малый народ» — это такое меньшинство, которое стремится сохранить свою изолированность среди остального народа, видя в этом путь к подчинению большинства его воле. Апостолам же было завещано проповедовать свою веру всем народам — т. е. перестать быть меньшинством! Почему-то это очевидно-нелепое возражение повторяют многие критики. Противоположная интерпретация, наоборот, чрезвычайно суженная, что «Малый народ» — это одни евреи. Например, Синявский не раз так излагает мою работу: «Малый (еврейский) народ, оказывается, ведет давнюю смертельную борьбу с большим (русским)». Какое отношение это может иметь к моим взглядам, если в качестве примера «Малого народа» я привожу в своей работе пуритан во время Английской революции, в то время, как евреи были изгнаны из Англии еще в XIII веке, и въезд туда им был запрещен под страхом смерти? В применении к современному «Малому народу» я разбираю этот вопрос подробно («Наш современник», 1989, № 6, с. 189 и № 11, с. 165) и привожу ряд соображений, почему отождествление «Малый народ» — евреи, на мой взгляд, неверно. Вот случай, который никак уж нельзя отнести за счет добросовестного непонимания. То же утверждение содержится в письме за подписью 31-го автора («Книжное обозрение» № 38, 1989). Письмо вообще содержит иногда и прямую неправду, написано в духе писем, когда-то разоблачавших Пастернака, Солженицына или Сахарова. К сожалению, под ним стоит и подпись самого А. Д. Сахарова! Еще больше поражает подпись академика Лихачева, для которого добросовестное отношение к разбираемому источнику должно бы быть профессиональной привычкой. Одно утешение — надеяться, что оба они подписали письмо, не вчитываясь, положившись на составителей.

Многие возражения остались мне просто непонятными, как ни старался. Например, тот же философ со «Свободы» Б. Парамонов упрекает, что мне «любезно» представление об органическом характере общества — с его же точки зрения, «общество нельзя понимать по аналогии с природой», так как в природе нет свободы. Но если у Парамонова есть собака, то он должен видеть, как она все время проявляет свободу — например, убегая от хозяина за встречной кошкой. Именно взгляд на природу как нечто низкое, неодушевленное породил концепцию «покорения природы», уверенность в праве делать с нею все что захочется — то есть тот экологический кризис, который угрожает гибелью природе и человеку, забывшему, что он ее часть. А между тем аргумент так понравился, что перекочевал в несколько наших статей. Но Б. Парамонов пугает и страшнее: «Органические общества — это застойные общества». Однако органична, прежде всего, Природа, а в ней происходят, как известно Б. Парамонову, не застой, но — эволюция. За 4 миллиарда лет до нас на земле еще не было жизни, за 2 миллиона — не было человека, а совсем недавно — самого Б. Парамонова. И нет уверенности, что природа исчерпала на нем свои творческие силы — как сказал один герой Конан Дойла, быть может, она нам готовит еще бо́льшие сюрпризы.

Видимо, как мои критики не понимают меня, так и я их понять не способен. Включая и критику с использованием христианской лексики. Например, в связи с коробящими критика цитатами из Ветхого Завета. Что же, христиане должны манипулировать цитатами из Писания, как марксисты своими «классиками»? Если в Библии говорится, что царь Давид клал побежденных под пилы, то можно попытаться уяснить себе, каково место этих и подобных эпизодов Ветхого Завета в христианском мировоззрении, можно, на худой конец, признать, что это нам сейчас не понятно, но постыдно притворяться, будто это не существует. Что уж говорить о пестрящей текстами из Писания статье, где я уличен в жажде расправы, ненависти, в том, что я вмешиваюсь в Божественное Домостроение, недоволен Богом, духовно отказался от Христианства, презрел евангельские заповеди, ношу маску инквизиторов, тайна которых «Мы с ним». «Он» же — это сатана, принимающий вид «Ангела Света». В заключение автор кротко напоминает, что «христиане призваны не проклинать». (Один из героев Вальтера Скотта сказал о пуританах: они вас не долго думая повесят, а чтобы успокоить совесть, сопроводят это каким-нибудь текстом вроде «Тут Финеас восстал и произвел суд»).

Поражает меня, что авторы хранят молчание как раз по поводу вопросов, в которых они компетентны. Например, Синявский не согласен со мной, что русские и украинцы изображены в «Конармии» Бабеля существами низшего типа. Нет, говорит он, скорее, героическими людьми. Но ведь у меня, например, приведена цитата: «И чудовищная Россия, неправдоподобная, как стадо платяных вшей...» Синявский говорит, что Бабелем много занимался: вот тут бы и разъяснить, что же в этом образе «скорее героического». И как раз об этом он молчит, хотя где только не писал и не выступал по поводу «Русофобии».

Или вот Б. Хазанов высказал очень интересную мысль, которую я в своей работе цитирую: «Заменив вакуум, образовавшийся после исчезновения русской интеллигенции, евреи сами стали этой интеллигенцией». Ведь интеллигенцию можно сопоставить с нервной системой народа. Что же это получилось за необычное существо, у которого нервная система и тело сделаны из разного этнического материала? Хазанов посвятил «Русофобии» особую статью, где сравнивает меня и с Гитле-

ром, и Розенбергом, и Штрейхером — но вот эту интересную мысль никак не комментирует.

Или еще: по поводу фразы Солженицына «аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами». Померанц уличает автора, что он «засунул опасное слово посредине, чтобы его нельзя было выдернуть для цитирования». В «Русофобии» я высказываю свое недоумение, почему «опасно» именно это слово, стоящее посредине, а не все остальные? Но тщетна была надежда получить ответ: Померанц много раз высказывался о «Русофобии», но говорил о чем угодно, только не об этой своей фразе, смысл которой он мог бы нам открыть. Как жаль!

Когда стало ясно, что на работу будут появляться отзывы, я с большим интересом стал их читать, надеясь встретить обсуждение по существу, пусть бы авторы и были со мной полностью несогласны. Но в результате — полное разочарование. Часто я так и не мог понять, каково же отношение авторов к основным положениям статьи (например, как они сформулированы в начале этой работы). Если даже принять все возражения — и про Природу, и про Бабеля, и о Священном Писании и т. д. — все же остается, например, непонятным: считает ли автор русофобию реальным, весомым фактором нашей жизни? Существует ли такой исторический феномен — «Малый народ»? Впечатление от этих критик было другое: они стремятся внушить, что работу читать не следует, если же кто прочел — тому лучше ее скорее забыть. А сверх того видна в ряде случаев неприязнь к окружающему народу, уверенность в его неполноценности и в призвании «умных людей» решать судьбу «народа-дебила».

Особый оттенок всей дискуссии придают применяемые в ней полемические приемы. Например, Померанц пишет: «Теперь несколько слов о полемических хитростях. Это тоже, кстати, черта несвободного сознания. И. Шафаревич (...) заявляет себя человеком, далеким от «Памяти» (бедной, оклеветанной «Памяти») — и кончает статью трегубой аллилуей в ее честь». Прочитав, я так и ахнул — откуда же это? Но автор приводит точную цитату: «Верю в громадную силу памяти, в то, что каждый народ... и даже все живые организмы... все они хранят в себе память...» А вот это: «Все в жертву памяти твоей...» Так и Пушкин, оказывается, тайно сочувствовал «Памяти»! Ах, неосторожные это были слова о «полемических хитростях» и «несвободном сознании».

Еще пример. Получаю письмо за подписью Алексея Шмелева с рядом вопросов по поводу «Русофобии». В том числе — откуда взяты цитаты из Талмуда. Ответил, указав мои источники (включая недавнюю книгу профессора университета в Тель-Авиве Я. Каца), даже посоветовав, в какой библиотеке эти книги можно найти. Получаю письмо с благодарностью за «ясный и точный ответ». Вдруг в журнале «Знамя» встречаю статью того же Алексея Шмелева «По законам пародии? (И. Шафаревич и его «Русофобия»)». Автор приводит слова М. Агурского по поводу совсем другой статьи другого человека (псевдонима), что там «цитаты, исполненные искажений, (...) заимствованы из антисемитской литературы дореволюционного периода, как книги А. Шмакова, И. Лютостанского и др.». И дальше: «Не пользовался ли Шафаревич этим же оригиналом? Или он обнаружил какие-то новые данные?..» Увы, эти данные известны не только мне, но и Шмелеву. (А после, ссылаясь на Шмелева, казанская газета «Наука» печатает статью: «Как Шафаревич источники извратил».) Что уж тут апеллировать к Священному Писанию и христианским ценностям: на такие проделки не пойдет и средний готтентот!

И еще пример. Был у меня вечер в МГУ в октябре 1989 года, и через несколько дней станция «Свобода» передала сообщение о нем: «от нашего московского корреспондента Марка Дейча». Всем, пришедшим на вечер, не удалось поместиться в зале, и устроители радиофицировали холл. Марк Дейч рассказал, что было совсем немного народу, да и неудивительно, так как уважающие себя люди не пошли бы на встречу с автором «Русофобии» (как любезно по отношению к сотням присутствовавших!). Вечер продолжался три с половиной часа, пока я не ответил на все вопросы. Марк Дейч сообщил, что, ответив на несколько записок, я сказал, что устал и хотел бы закончить вечер, и т. д. Остается недоумение: что это — моральный и профессиональный уровень самого Марка Дейча или стиль радио «Свобода»? Чему можно и можно ли чему-либо верить в передачах этой радиостанции?

Публицист Б. Сарнов пишет: «Я не способен в джентльменском, парламентском стиле полемизировать, скажем, с Шафаревичем». К сожалению, далеко не он один. Вот некоторые характеристики, данные мне и моей работе: фашист, законченный нацист, сравнение с Гитлером-Розенбергом-Штрейхером (в назидание упоминается, что последние повешены), публикация работы в ФРГ — уголовно наказуемое действие, мания преследования, инсинуации, параноидальный бред, инквизитор, слился в одну кучу с Ниной Андреевой и идет с ней разными дорогами к одному обрыву, «фанатическая книга», «националистическая опухоль». «Книга полемики не заслуживает», «говорить не о чем», Синявский предлагает по поводу работы «не браниться, не сердиться, не читать нравоучения, а смеяться» — но ни он сам, ни другие авторы явно совету не последовали. Зато в «Новый мир» пришло письмо, в котором автор возмущается, что журнал напечатал мою статью (совсем другую): «Дело здесь не в содержании статьи, а в имени автора». Развивая эту линию плюрализма, Б. Сарнов потребовал, чтобы КГБ занялось моей работой. В газете «Советский цирк» эссе профессионального эстета о «Русофобии» иллюстрируется каким-то лицом с выпученными глазами и высунутым языком. В газете «Смена» публикация статей с критикой моего интервью той же газете сопровождается редакционным введением, содержащим ругательства, которые я раньше слышал только от пьяных, не полагал

их возможными в прессе... Парамонов — философ — опубликовал эссе с нецензурным (или неоцензурным?) названием, обозначающим вещество, ранее относившееся исключительно к ведению ассенизаторов. На протяжении всего своего философски-ассенизационного исследования он весело купается, барахтается и ныряет в «веществе».

Тогда услышал я (о диво!) запах скверный,
Как будто тухлое разбилося яйцо,
Иль карантинный страж курил жаровней
серной.
Я, нос себе зажав, отворотил лицо.
Но мудрый вождь тащил меня все дале,
дале —
И, камень приподняв за медное кольцо,
Сошли мы вниз, — и я узрел себя в подвале.

IV. «АНТИСЕМИТИЗМ»

К сожалению, то, что обсуждалось выше, — лишь незначительная часть написанного о «Русофобии». Доминирует же — и объемом, и силой страсти — переживание суждений о еврейском течении в современном «Малом народе». Остальное отодвигается на задний план как незначительная мелочь: судьба России, трагедия народа, стоящего между бытием и небытием под тяжестью непрестанного давления на его национальное сознание. Даже само название работы должно было бы указать, что посвящена она русской теме, но это почти полностью игнорируется.

Как и следовало ожидать, господствует, заглушая робкий голос разума, один клич: «антисемитизм!». Уже в «Русофобии» я высказал свое мнение об этом термине: он нарочно оставляется нерасшифрованным, аморфным. Это сигнал, который, идя помимо логики, должен действовать на эмоции, возбуждать агрессивность. Таков испытанный прием управления массовым сознанием. Поразительно, что заданный в старой работе вопрос — что же это такое, «антисемитизм»? — ВСЕМИ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ известными мне критиками не замечается. Никто из них не попытался объяснить, что он имеет в виду: действия, наносящие ущерб людям лишь потому, что они евреи? Пропаганду дискриминации евреев или насилия над ними? Выражение презрения к евреям как нации: типичным чертам внешности или поведения? Да и еще масса возможных толкований. Даже автор, сообщающий, что «Сам Бог наложил абсолютный запрет на антисемитизм», оставляет нас в неведении о содержании этой «одиннадцатой заповеди» (вот «не убий», «не укради» — разъяснений не требуют!).

Уж нашему-то поколению, казалось бы, можно было почувствовать нечистоплотность таких пропагандистских приемов. Каждый сталкивался с совершенно тождественным по духу, логической структуре и социальной функции штампом: «антисоветизм». Оба эти клише-двойника являются, я думаю, продуктами одного типа сознания. Казалось бы, теперь пора устыдиться, как чего-то грязного и постыдного, подобных приемов, пахнущих 70-й и 58-й статьей, да и «законом» 1918 г. против «антисемитской и погромной агитации»: ведущих подобную агитацию «ставить вне закона (?)».

Статьи УК, касавшиеся «антисоветской агитации», были направлены на сохранение режима и власти правящей верхушки. Но так обнаженно это нельзя было сказать и в ход шли «государство», «советский народ» и даже «прогрессивное человечество». Аналогично и клише «антисемитизма» имеет целью наложить запрет на обсуждение действий какого-то узкого слоя, входящего в «Малый народ». Чтобы вычеркнуть из сознания эту сторону, внушается, что речь идет о некоей (хотя и не расшифрованной) угрозе всему еврейскому народу. В частности, все критики моей работы как будто слепнут, доходя до тех ее мест, где высказывается и аргументируется убеждение, что в современном «Малом народе» действует какое-то очень специфическое течение еврейского национализма.

Насколько проще, не утруждая себя аргументацией, выстроить цепочку: антисемитизм — фашизм — 6 миллионов евреев, убитых нацистами (Синявский, для убедительности, — 6 миллионов, убитых в Освенциме!). Этот прием используется постоянно. Одна «критика» так и озаглавлена: «Обыкновенный фашизм». В конце автор (все тот же Б. Хазанов) пишет: «Весь состав идей академика Шафаревича от начала до конца воспроизводит пресловутое «мировоззрение» (Weltanschaung) гитлеровской гвардии и, в сущности, выдает в нем законченного нациста. Все это уже было — и мы хорошо знаем, чем это кончилось». Все это действительно было, причем всего на два года раньше, в том же журнале. Вот как это звучало: «Где-то это было уже — утверждение «национального возрождения» через ненависть врагов, активные поиски этих врагов во вполне определенном направлении — среди евреев, конечно. Память не обманула...» Далее следует цитата: «Да, конечно, это из «Mein Kampf» Адольфа Гитлера». Но это не про меня, а про В. А. Астафьева (по поводу переписки с Эйдельманом) и написано не Хазановым, а его соредактором Любарским. Так что же это за психология: чуть что не понравится — это фашист, повторяющий Гитлера. (Точно так, как писали у нас в 30-е годы!) Ведь если объединить всех, кто когда-то критически относился к каким-то еврейским группам и течениям, то получится очень пестрый список: Евангелист Иоанн, Цицерон, Тацит, Иоанн Златоуст, Савонарола, Лютер, Шекспир, Петр Великий, Вольтер, Державин, Наполеон, Фурье, Вагнер, Достоевский, Розанов, Блок и очень многие другие. Гитлер в этом списке, конечно, тоже должен быть, но занимает совершенно особое место. Однако будет там и Ленин, и даже евреи, такие, как Маркс и Отто Вейнингер. Люди столь разнородные, что присутствие в их соседстве, кажется, ничего не означает.

События последних лет, а особенно почти неограниченная громогласность, еще раз показали национальную ориентацию нашего «Малого народа». Как и в других вопросах, жизнь внесла очевидную ясность там, где раньше приходилось оперировать догадками и косвенными доказательствами. В последние годы страну потрясла

цепь кровавых межнациональных столкновений. Теперь кровь льется все время, многие сотни тысяч превратились в беженцев. Тут можно наглядно увидеть: какой народ более угрожаем, несет бо́льшие жертвы? Как же оценили ситуацию средства массовой информации (в своей подавляющей части) и поддерживающие их (и поддерживаемые ими) левые вожди? Кого они сочли нуждающимися в особой защите: армян (Сумгаит), русских (Алма-Ата, Душанбе, Тува), месхов, осетин? Неподготовленный читатель не поверил бы: мы слышали лишь одно требование — закона против антисемитизма. Об этом публиковались статьи, письма в редакцию, подавались петиции депутатов. В то время как никаких реальных оснований для этого не было. Зато были основания, созданные средствами информации, печатать письма от боевиков «Памяти» с угрозой кровавой расправы над редактором прогрессивного журнала (но когда все мы содрогнулись от ужаса, оказалось, что автор писем — провокатор, желающий скомпрометировать «Память»), анонимные письма до смерти запуганных жертв преследований (хотя в других случаях использование анонимок считается недостойным), публикация тайных инструкций «Памяти» с призывами к расправам, слухи о грядущих жестоких погромах. О них объявляли уже не раз: и к 1000-летию Крещения Руси, и ко дню Святого Георгия, 6 мая 1990 г. И вот парадокс: погромам у нас подвергались, кажется, все народы, кроме евреев.

Столь же сильному давлению подвергается и сознание Запада. Пример — письмо академика Гольданского, опубликованное в 1990 г. в «Вашингтон пост». Название: «Антисемитизм: возвращение русского кошмара». Утверждается, что у нас возникли «злобные антисемитские группы», процветающие «в атмосфере злобы, зависти, поиска «козла отпущения» и ненависти», они «сейчас стали самыми мощными и, безусловно, наиболее быстрорастущими силами раскола, толкающими страну к кровопролитию и гражданской войне». Автор называет их «монархо-фашистами». Они стремятся «закончить то, что начал Гитлер», они «встречают симпатии и попустительство со стороны видных лидеров партии и правительства СССР». Погром назначен на 6 мая 1990 г., и уже сейчас произошло нападение на собрание «прогрессивной группы писателей» в ЦДЛ. Я просто не знаю другого случая такой апелляции к стране, с которой роковым образом связана наша судьба, возбуждения ее общественного мнения — и столь чудовищного искажения всех пропорций. Статья и не приводит никаких фактов: автор ссылается лишь на «анализ» газеты «Советский цирк» и какое-то письмо из ФРГ, подтверждающее, что на Западе «такие заявления» были бы неконституционными. А ведь пишет это парламентарий, наш депутат! Прошло больше года: не совершилось никаких погромов, «монархо-фашисты» не начали гражданскую войну и не произвели кровопролития. Что же, были ли принесены извинения за эту напраслину, возведенную на страну, гражданином которой числится автор? Нет, как и в случае редактора, писавшего об угрозах ему от «боевиков «Памяти». Возбуждены страсти — у нас и в США, — создана паника, под влиянием которой тысячи евреев покинули страну, а те, кто этому способствовали, тихо уходят в тень.

Кульминацией, но почти и карикатурой был «инцидент», или «шабаш», в ЦДЛ. На собрание группы писателей в Доме литераторов пришла компания неизвестно кем пропущенных людей. Появились плакаты, из которых самым криминальным был: «Сионисты, убирайтесь в Израиль!» (бессмыслица: сионисты — это как раз те, кто едет в Израиль). При выдворении прибывших возникла потасовка, были разбиты чьи-то очки. Разразившуюся бурю можно сравнить лишь с «кампаниями» прежних времен, вроде «Свободу Анджеле Дэвис!». Возбужденные выступления по телевидению: депутатов, писателей, обозревателей, поток статей. Да и мне писали: «Как Вы еще можете сомневаться в возможности погромов, когда первый уже произошел в ЦДЛ?» Главную фигуру «инцидента» — Осташвили — отдали под суд. Следственное дело составило 11 томов. Заявления Осташвили, как нарочно кричаще-резкие, передавались по телевидению и сопровождались гневными комментариями... А теперь сравним это с гонением на русских в Туве. Тут уж речь не шла о письмах провокатора или о бессмысленных лозунгах: к середине лета 1990 года число убитых русских превысило 50. И это сообщение, едва промелькнув («Столица», № 4, январь 1991 г.), не вызвало никакой реакции: ни статей, ни телекомментариев, ни дебатов в Верховном Совете, ни депутатских комиссий.

Вот статистическая характеристика пяти событий — столкновений в Сумгаите, Душанбе, Туве, Намангане и «инцидента в ЦДЛ». Приведено число жертв (убитые) и количество строчек, уделенных этому событию в посвященных ему статьях такого типичного для нашей прессы издания, как «Литературная газета»:

	Число жертв	Число строк
Сумгаит	32	0
Душанбе	24	726
Тува	более 80 *	0
Наманган	5	309
ЦДЛ	0	1131

Таков портрет наших средств массовой информации.

«А н т и с о в е т и з м» был предупредительным выстрелом, запретом на обсуждение идей, неугодных правящей верхушке ленинско-сталинско-брежневского режима. «А н т и с е м и т и з м» играет ту же роль для современного «Малого народа», причем часто и в вопросах, не имеющих вообще никакого национально-еврейского аспекта. Например, обвинение в антисемитизме можно услышать по адресу писателя, слишком явно отдавшего свои симпатии деревне, или художника, на картинах которого слишком много крестов и храмов. Недавно «Еврейская газета» (7 мая 1991 г.) опубликовала список, озаглавленный «Антисемитские издания», в котором есть журналы, кажется, вообще никак — ни «про», ни «анти» —

* По данным журнала «Столица» (1991. № 4). По другим данным — около 10.

не касавшиеся еврейских проблем (вроде «Москвы»).

Такой «интеллектуальный расстрел» — сильное средство, но все же не может оказать решающего действия, пока не подкреплен какими-то более материальными мерами. Слишком жгучи и важны вопросы, стоящие перед русским народом, чтобы на них можно было наложить запрет, не прибегая к чему-то вроде Беломорканала. Нормальная духовная жизнь народа требует, чтобы его проблемы свободно обсуждались: не полунамеками, без извинений, постоянных заверений, что мы хоть и русские, но не расисты. Короче говоря, равноправно проблемам других народов. А то вот, например, А. Шмелев, соглашаясь с моим мнением о «запрете» обсуждения ряда русско-еврейских проблем, пишет: «После национал-социализма бесстрастно обсуждать, насколько благотворно или пагубно совместное проживание с евреями (хотя именно такого вопроса я обсуждать не предлагал. — И. Ш.), трудно». Однако он не обнаруживает аналогичных «трудностей» в связи с русскими после расказачивания и коллективизации!

В ряде изданий была опубликована и не раз читалась по «Свободе» критическая статья о «Русофобии» Б. Кушнера. Она выделяется из общей массы своей искренностью. Я способен если не согласиться с автором, то понять его эмоции. Он пишет: «Позвольте сообщить Вам, уважаемый Игорь Ростиславович, что мы так же ощущаем боль, как и Вы, так же любим своих детей и нам так же тяжело видеть, как им забивают гвозди в глазницы, как это было бы тяжело (не дай Бог!) видеть вам по отношению к вашим детям». Вот слова, которые я хотел бы повторить, адресовав тому кругу, взгляды которого автор выражает. Поверьте наконец, что нам так же больно, как и вам, и мы имеем такое же право говорить о нашей боли! У нас была такая же Катастрофа, как у вас, и продолжалась она 25 лет. Был голод на Украине, унесший за год не то 5, не то 7 миллионов (их и пересчитать не удается). За войну население Белоруссии уменьшилось на 1/4 и восстановилось лишь за 40 лет. И о таких же пытках, о каких пишете вы, безо всякого «было бы» вы можете прочесть, например, в материалах о деятельности Киевской ЧК. Автор говорит: «Что же, в известном недавнем периоде русской истории действительно можно наблюдать непропорциональное (как в количественном, так и в эмоциональном отношении) участие евреев. Обстоятельство это представляется мне трагическим для моего народа в такой же степени, как и для Вашего». Неужели действительно «В ТАКОЙ ЖЕ»? Евреи за этот период избавились от черты оседлости, процентной нормы, переселились из местечек в города — в основном крупные, во много раз обогнали другие народы СССР по уровню образования и ученых степеней. У русских было уничтожено дворянство, духовенство, разрушена деревня, катастрофически упала рождаемость. Именно русский, а никак не еврейский народ стоит сейчас перед угрозой гибели. Автор пишет: «Сейчас наступила пора нашего национального расставания», очевидно, подразумевая эмиграцию евреев. Но у русских-то нет другой родины, кроме их разоренной страны. Неужели эта ситуация отражает «ТУ ЖЕ МЕРУ»? Такая холодная отстраненность от чужих бед может очень далеко завести. Б. Кушнер говорит о «Русофобии»: «Кажется, что вот-вот появятся и пресловутые христианские младенцы» (намекая на ритуальные убийства). «Словарь русского языка» Ожегова разъясняет слово «пресловутый» так: «широко известный, нашумевший, но сомнительный или заслуживающий отрицательной оценки». Но ведь убитые-то младенцы были самые настоящие, какова бы ни была причина их гибели (например, в деле Бейлиса, в процессах, описанных Далем). За что же их так пренебрежительно третировать, хоть они и христианские, — можно бы и пожалеть!

Сейчас мы наглядно видим, какой колоссальной силой являются национальные переживания — подчас посильнее экономических факторов и классовых отношений, о которых столько лет долбили как о единственном двигателе истории. Не можем мы отказаться от обдумывания и этого аспекта революции 17-го года — самого трагического кризиса нашей истории. А до сих пор такие попытки встречают яростное сопротивление или полное непонимание. Из многочисленных примеров: в «Русофобии» приведено высказывание одного из вождей с.-д. — Мартова. Он говорит, что, пережив в детстве угрозу погрома, сохранил на всю жизнь «семена спасительной ненависти». Б. Кушнер упрекает меня, что я не ощущаю «страдание другого существа как свое собственное», не понимаю переживаний Мартова или поэта Бялика, вызванных погромами. Зря я, видимо, объяснял, что хочу вообще воздержаться от «оценочных суждений», а пытаюсь понять: что же с Россией происходило? А произошло то, что одним из вождей революции оказался человек, глубинной основой психологии которого была не любовь к этой стране и ее народу, даже не интернационалистски-марксистские идеи, а «семена спасительной ненависти» — к кому? И ситуация, вероятно, была типична не для одного Мартова. Конечно — как не пожалеть трехлетнего Юлика, со страхом дожидавшегося погрома? Но, говоря об истории, как не подумать о всей России, судьба которой оказалась в руках таких вождей? Ведь Россия тоже «существо», и страдания этого существа тоже надо бы чувствовать!

Некогда Янов сравнил обвинение в антисемитизме с атомной бомбой в руках «противников национализма». Это очень тонко подмечено: речь идет именно о борьбе с «национализмом» (конечно, русским — т. е. о русофобии), а не о защите еврейского народа от какой-то угрозы. Например, как иначе понять стальное нежелание замечать, что с «Малым народом» в моей работе связывается лишь некоторое течение еврейского национализма, — и делать вид, что речь идет о всем еврейском народе (аналогично, в связи с участием радикального еврейства в революции). Я пытаюсь примерить на себя: конечно, есть много эпизодов в рус-

ской истории, о которых мне тяжело вспоминать, — например, подавление польских восстаний или политика обрусения инородцев. Если бы я встретил работу, утверждающую, что ответственность за это несет не весь русский народ, а лишь какой-то узкий его слой, то, конечно, ухватился бы за нее и попытался бы эти аргументы развивать. Как мог бы автор, стоящий на глубоко национальной еврейской позиции, наоборот, стараться действия Свердлова, Троцкого или палачей ЧК связать со всем своим народом? У автора, стоящего на национальной почве, думаю, дрогнула бы рука написать и то, что высказал Гроссман о России. Ведь в романе «Жизнь и судьба» он с таким жутким реализмом описывает гибель евреев в газовых камерах. А это была бы судьба **всех** евреев СССР, если бы равнины Восточной Европы не были усеяны русскими и украинскими костями. Этим я отнюдь не хочу сказать, что евреи (или, скажем, грузины) не воевали, — но по числу своему не могли влиять на исход войны. И, конечно, русские защищали **свою** страну и отнюдь не приобрели тем самым право как-то утеснять евреев, но на некоторую благодарность, деликатность в обличении их недостатков могли бы рассчитывать от людей, живущих интересами всего еврейского народа. Разве мог быть поднят людьми, озабоченными еврейской судьбой, этот всемирный гвалт о фантастической (как сейчас всем видно) угрозе погромов? Разве заботило его организаторов то, как это отразится на отношениях других народов — в стране, где сейчас громят чуть ли не всех, кроме евреев! Ведь это похоже на крики нежных родителей, что их ребенку не хватает яблок и апельсинов: можно еще понять, когда кругом все сыты,— ну а если другие дети пухнут с голоду? Не будет ли воспринято как знак жестокого пренебрежения к чужим жизням? (Так же было и с требованиями дать свободу еврейской эмиграции, когда у нас колхозники не имели права уехать из своей деревни). Кинорежиссер С. Говорухин пишет (тут же заверяя, что «Памятью» не завербован!): «Попробуйте взглянуть на нашу прогрессивную прессу глазами нормального здорового человека. Сколько всего случилось за этот год! Баку, Душанбе, Тува, Ош... С живых людей сдирали кожу, жгли на кострах! По газетам же получается: главное событие года — скандал в Доме литераторов». «Или я ничего не понимаю, — скажет нормальный читатель, или тут что-то не так». Это в лучшем случае он так думает, а в худшем — поскребет затылок и промолвит: «А может, правы те, кто говорит, что евреи захватили газеты, радио, телеграф?» Вот вам пример обратного эффекта. Идиотизм, ей-Богу! В редакции газет приходят разные письма. Цитирую одно из них по памяти. Пишет пожилая еврейская чета: «Почему вы так много места уделяете этому процессу (над Осташвили. — **И. Ш.**)? Неужели не понимаете, что это приведет к росту антисемитских настроений?»

Да и в связи с «Русофобией» я встречаю поразительные возражения: будто приводя цитаты из Янова или Гроссмана, я «провоцирую погромы». Я-то в возможность погромов не верю, но кто и правда ими озабочен, должен был бы прежде всего обратиться с призывом не печатать таких произведений, одна цитата из которых может вызвать погром! Наконец, последнее время принесло и совсем поразительные примеры. Так, в Молдавии звучали чудовищные призывы: «Утопим русских в еврейской крови!» Но это не вызвало никакого возмущения, не то что «шабаш в ЦДЛ». Видимо, первая часть призыва вполне оправдала вторую. Говоря конкретнее, сепаратизм и русофобия есть главная цель, а судьба евреев второстепенна.

Все указывает, что течение, столь влиятельное в «Малом народе», так умело манипулирующее образом «антисемитизма», столь же мало озабочено судьбой еврейского народа, как в свое время эсеры — судьбой крестьян или большевики — рабочих. Для них весь народ есть лишь средство, «сухая солома». И мне верится, что когда-то скажет свое слово и «молчаливое большинство». Например, скажет, что невозможно отбрасывать трагедию окружающего народа как нечто, не стоящее внимания сравнительно со своими заботами. И не из страха перед «ростом антисемитских настроений», а просто потому, что это — не по совести. Есть признаки, что это возможно. Например, в статье «Я, русский еврей» («Век XX и мир», № 10, 1990) автор пишет: «И пусть мы, евреи, покаемся первыми: хотя мы действительно живем на земле предков, но ведь это же Русская земля... В первую четверть века, в судьбоносные для России времена, нам следовало бы проявить величайшую осмотрительность, такт по отношению к хозяевам — народу этой страны». Ведь есть, значит, возможность понять точку зрения друг друга. Мне кажется, сейчас успехом было бы хоть понять, даже не соглашаясь.

Для России вновь настали судьбоносные времена. К несчастью, нам всем, всем народам России, не было дано спокойно осмыслить опыт предшествующей катастрофы. И как бы нам всем не повторить еще раз тех же ошибок, но в больших размерах, с еще более страшными последствиями!

Июнь 1991 г.



К 50-летию разгрома немцев под Москвой

БОРИС ХУДОЛЕЕВ

ТАЙНА ПАПКИ «Н»

20 ИЮНЯ 1941 ГОДА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ГИТЛЕРОВСКОГО ВЕРМАХТА ИЗДАЛ СЕКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ — ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПОВЕРЖЕННОЙ РУССКОЙ СТОЛИЦЕ

Разрабатывать конкретные планы «расширения жизненного пространства», а проще говоря — захвата чужих земель, руководство гитлеровской Германии начало, собственно, еще с середины 30-х годов. Специалисты генерального штаба вермахта заблаговременно готовили, например, специальные справочники, своеобразные «путеводители» по многим странам мира, включая Индию, некоторые государства Африки. По мысли сотрудников отдела военной картографии и геодезии генштаба, они должны были облегчить действия оккупантов.

Особое внимание гитлеровские стратеги уделили Советскому Союзу. Только европейской его части они посвятили тринадцать специальных папок со сведениями военно-географического характера. Каждая из них была обозначена одной из литер латинского алфавита — от «А» до «Н».

До последнего времени у нас об этих документах гитлеровского генштаба было мало что известно. Считалось, что они есть лишь в одном из архивов Берлина. Но недавно в фонды Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. поступила одна из этих папок с литерой «Н» — две довольно-таки объемные книжицы под общим названием, где крупным шрифтом выделено слово «Moskau».

Захвату советской столицы Гитлер и его подручные отводили особое место. Они полагали, что падение Москвы подорвет моральный дух и силу сопротивления народа, заставит наше правительство капитулировать.

В известном плане «Барбаросса» отмечалось: «На севере — быстрое достижение Москвы. Захват этого города означает как с политической, так и с хозяйственной стороны решающий успех...»

В успехе агрессор был уверен. Уже после захвата немцами Смоленска был сформирован и полностью укомплектован рейхскомиссариат «Москау» во главе с обергруппенфюрером СС З. Каше. Свою резиденцию тот планировал разместить в здании Моссовета. Кремль захватчики решили отвести под музей «величия Германии».

Наготове были и специальные передовые отряды — «форкоммандо Москау» — под командованием штандартенфюрера СС Ф. Зикса. Они нацеливались на захват правительственных архивов, ликвидацию руководящих деятелей. Экипированы головорезы были хорошо, в том числе справочной литературой. В полевых сумках офицеров лежали и папки «Н» — аккуратные книжицы с грифом «Только для служебного пользования» и скромным названием «Военно-географические данные по Европейской России. Москва. Текст и фотографические виды».

На что обращаешь внимание прежде всего в этом документе сегодня? На дату его выпуска: 20 июня 1941 года. Работу над папкой «Н» гитлеровцы завершили за сутки с небольшим до вероломного нападения на нашу страну.

Что же это за документ — папка «Н»? По форме она — подробный путеводитель, по содержанию — справочник, а по сути своей — характерный образец фашистской идеологии: человеконенавистничество, презрение к нашему народу. Состоит папка из двух разделов. Второй для нас представляет не очень большой интерес — разве что заставляет в очередной раз отдать должное немецкой пунктуальности и педантичности. И еще их разведке. Там соб-

ХУДОЛЕЕВ Борис Георгиевич родился в 1950 году. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище и военную академию. Старший научный сотрудник военно-исторического отдела редакции газеты «Красная звезда».

ран и систематизирован большой фактический материал: адреса всех наших наркоматов и центральных учреждений, иностранных посольств, партийного аппарата, органов НКВД, объектов РККА, сведения об аэродромах, исследовательских институтах, вокзалах, мостах, электростанциях, перечень основных заводов, предприятий связи, снабжения, больниц, аптек, масса всевозможных других данных. Объекты, на которые, по мнению составителей папки, следует обратить особое внимание — Кремль, Дом правительства на улице Серафимовича, — снабжены «фотографическими видами». Прилагается комплект из 25 тематических отрывных карт-схем...

Но если составителей этого раздела папки «Н» можно хоть как-то понять (ведь не в качестве туристов решили побывать в нашей столице), то «откровения» из первого, где собраны сведения общего, так сказать, характера, где даются оценки нашей политической системы, советским людям, — заслуживают особого внимания. Здесь немецкие «эксперты» — явно пристрастные исследователи. Их характеристики, выводы строго соответствуют небезызвестному плану «Ост», суть которого — ликвидация российского государства, порабощение народов нашей страны, физическое их уничтожение.

Начинается папка «Н» с общего обзора нашей столицы. Здесь сведения о ее географическом положении, площади, рельефе местности и климате. А вот что говорится в пункте «воды»:

«Для нынешней 4-миллионной Москвы, при отсутствии в достаточном количестве подпочвенных вод, снабжение водой через канал Москва — Волга является жизненной необходимостью. Нарушение этого водоснабжения довольно значительно парализовало бы обеспечение населения и промышленности водой. Самые уязвимые места всей канальной системы расположены на возвышенных водоразделах. Хотя отдельные водохранилища в цепи озер-водохранилищ могут быть разъединены друг от друга аварийными воротами, тем не менее вывод из строя одного водохранилища остановил бы работу всей системы».

Не потому ли гитлеровцы так упорно рвались к Солнечногорску, Клину, Дмитрову, что стремились как можно быстрее перерезать важную водную артерию — канал Москва — Волга? Мы знаем, что 25 ноября 1941 года небольшим группам врага удалось переправиться на его восточный берег. Но уже через сутки они были ликвидированы. Наступление гитлеровцев выдохлось. И остановили их люди, о способностях и возможностях которых фашисты были, мягко говоря, не очень высокого мнения. Вот какая характеристика дается в папке «Н» москвичам:

«По вопросу о составе населения по национальностям нет подробных данных. Сама по себе Москва, благодаря своему центральному положению в коренных областях русского пространства, является метрополией русского народа, однако наряду с великороссами здесь можно встретить представителей всех многочисленных народов, народностей и племен, объединенных в Союзе ССР». Далее отмечается: «Разумеется, евреи очень широко представлены и занимают в партии и государстве все руководящие посты».

А что же сами-то русские? Конечно, кое-какие положительные качества у них есть, но вообще-то, считают составители папки «Н», это люди второго сорта.

«...Тон городскому населению задает великоросс, народный характер которого гораздо более чужд немецкому, чем обычно принято считать. Наиболее заметны следующие качества великоросса: недоверчивость, терпение, отсутствие имеющегося у нордической расы личного своеобразия каждого отдельного человека, оживленная разговорчивость и быстрое изменение настроения от одной крайности к другой. Вопреки своему, часто большому, личному мужеству, он всегда боится ответственности. Под надзором в большинстве случаев прилежный работник. Он очень склонен к тому, чтобы оставить работу при всяком подходящем случае и его поэтому не без основания третируют, как ленивого. Сильнейшей воле русский охотно подчиняется».

К составлению этого раздела папки привлекались, по всей видимости, те же «специалисты» из ведомства Альфреда Розенберга, которые в июле 1941 года вошли в возглавляемое этим идеологом нацизма «министерство по делам оккупированных восточных территорий», а до этого, накануне войны, сформулировавших так называемые «Двенадцать заповедей поведения немцев на востоке и их обращения с русскими». Вот какие рекомендации там даются:

«Не разговаривайте, а действуйте. Русских вам никогда не переговорить и не убедить словами... По своей натуре русский религиозен и суеверен. Никакого ложного сочувствия к нему... Русские всегда хотят быть массой, которой управляют. Так они воспримут и приход немцев, ибо этот приход отвечает их желанию: «приходите и владейте нами».

Как восприняли незванных гостей русские люди, в том числе москвичи, хорошо известно. Уже в июле 41-го в столице было сформировано 12 дивизий народного ополчения. А в октябре, когда положение на фронте стало критическим, и враг подошел на ближние подступы к Москве, жители города добровольно влились в еще четыре стрелковые дивизии. Всего на фронт ушло свыше 160 тысяч москвичей-ополченцев, в основном это были люди, не подлежащие призыву в армию по возрасту, состоянию здоровья. Они стойко и мужественно сражались с врагом под Вязьмой, Истрой, Наро-Фоминском и Серпуховом, Можайском и Каширой. Это они остановили врага у стен родного города.

Сочинители плана «Барбаросса» все, казалось бы, прилежно, с немецкой скрупулезностью подсчитали. И сколько дивизий у них отмобилизовано, и какое у вермахта превосходство в авиации, механизированных войсках! Составители папок от «А» до «Н» учли, просчитали, с какой скоростью они смогут преодолеть расстояние от границы до Москвы, по каким дорогам будут это делать, через какие мосты преодолевать наши реки...

В папке подсчитано, сколько квадратных метров жилой площади приходится в среднем на одного москвича, но определить их духовные ресурсы фашисты просто не могли.

«Русское население, испокон века стоявшее на низком жизненном уровне, всегда выставляло небольшие притязания на жилую площадь. Сильный прирост городского населения... чрезвычайно усилил в последние годы жилищный кризис. Вновь выстроенная жилплощадь составляет 40 процентов жилплощади 1917 года, в то время как население выросло почти втрое. В настоящее время на каждого жителя выпадает 4,5 кв. метра жилплощади».

Да, в цифрах они разбирались, считать умели и ошибок здесь не допустили. Накануне войны жизненный уровень москвичей, как и всех советских людей, действительно был невысок. Приходилось много тратить на оборону, отказывая себе в самом необходимом. Жили в бараках, в коммунальных квартирах. Гитлеровцы же, учитывая большую скученность населения нашей столицы, как только у них появилась такая возможность, начали регулярно наносить бомбовые удары по ее жилым районам. Этим они старались не только нанести урон, но и вызвать панику у жителей.

Только в октябре авиационные эскадры «люфтваффе» совершили 31 налет на Москву, в которых участвовало около двух тысяч бомбардировщиков.

16 октября в городе было введено осадное положение. Москва превратилась во фронтовой город. Многие ее улицы и площади изменились до неузнаваемости из-за баррикад, окопов, противотанковых «ежей». Так что многие «фотографические виды» из папки «Н» уже вряд ли бы помогли ее владельцам. Никто и ничто уже не в силах было помочь им: на борьбу с врагом поднялся весь народ. А его самоотверженность, мужество, патриотизм специалисты немецкого генштаба в расчет не брали. Они были абсолютно уверены в своей победе и больше беспокоились о том, где будут размещаться в Москве части группы армий «Центр»:

«Для целей расквартирования войск следует в первую очередь иметь в виду казармы Красной Армии. Следует, кроме того, занять гостиницы, театры, школы, выставочные залы, клубы и общежития промышленных предприятий. Материальные парки можно разместить в многочисленных парках и стадионах....»

Адреса их скрупулезно приводятся во втором разделе папки. Интересно, что размещение войск на частных квартирах в ней принципиально исключалось. И вот, оказывается, почему:

«Густонаселенный миллионный город Москва со своей пестрой смесью русских, евреев, украинцев, татар, поляков, белорусов, латышей, армян, восточных азиатов и т. д. представляет картину тесного перенаселения при самых примитивных жизненных условиях. В единичных комнатах со многими детьми на официально узаконенной им жилплощади, на которой недостаточная опрятность приводит к немыслимому загрязнению. ...При таком положении вещей неудивительно сплошное плохое состояние здоровья населения. Опасность заразы велика...»

Оккупанты, как видим, были большими чистюлями, поэтому, наверное, и додумались до чудовищного способа уничтожения людей в душегубках (стерильно) и газовых камерах, замаскированных под бани (гигиенично). Убивая тысячами женщин, стариков и детей, разрушая целые города, они между тем очень пеклись о собственном здоровье. Папка «Н» предупреждала их:

«По числу заболеваний на первом месте стоят малярия и туберкулез. Затем следует оспа, тиф, скарлатина, дифтерия, трахома и бешенство. Чрезвычайно распространены также венерические болезни. Следует также считаться с холерой... и с занесенной с востока чумой».

Откуда взяли такие сведения сотрудники гитлеровской санитарной инспекции, консультировавшие составителей папки «Н», сказать трудно, но хорошо известно и то, что сподвижники фюрера были большими мастерами фальсификации. Им важен был результат, а цель оправдывала любые средства.

Они считали себя «носителями западной цивилизации» и в то же время собирались превратить в солдатские казармы московские театры и выставочные залы, церкви — в конюшни. Как это сделали в Петергофе и Ясной Поляне, во многих других священных для русских людей местах. И не стеснялись признавать:

«Мы — варвары и мы хотим быть варварами. Это почетное звание... Мы должны добиваться не равноправия, а господства... Массы испытывают необходимость в том, чтобы дрожать... Кто может оспаривать мое право уничтожать миллионы людей низшей расы, которые размножаются, как насекомые?! Приняв решение раздобыть новые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет России...»

Эти высказывания из книги Гитлера «Майн кампф» — образчик «философии» человеконенавистничества и мракобесия — его приближенные конкретизировали в плане «использования восточных земель».

«Страна, населенная чуждой расой, должна стать страной рабов, сельскохозяйственных батраков, промышленных рабочих... Без создания определенной

формы современной крепостной зависимости или даже рабства развитие человеческой культуры невозможно».

Исходя из таких «теоретических» обоснований папка «Н» дает следующие рекомендации солдатам группы армий «Центр».

«Для охраны здоровья... необходимо избегать всякого тесного общения с местным населением... Всякие половые сношения чрезвычайно опасны (помимо этого, следует считаться с систематическим использованием проституции в целях шпионажа)».

Ну а какие же выводы они делают после таких «откровений» по поводу населения нашей столицы? И здесь они не оригинальны:

«...С самого начала надо иметь в виду широкие полицейские мероприятия».

Что это такое, уже прочувствовали на себе жители западных областей Белоруссии, Украины, Прибалтики. Еще 16 июля Гитлер так высказался на совещании о целях войны против Советского Союза:

«Гигантское пространство, естественно, должно быть как можно скорее замирено. Лучше всего это можно достигнуть путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд».

Относительно москвичей в директиве штаба верховного главнокомандования вермахта от 7 октября 1941 года задача их «замирения» конкретизируется так:

«Все лица, пытающиеся покинуть город в направлении наших линий, должны быть отогнаны огнем... Перед их захватом они должны быть уничтожены огнем артиллерии и воздушными налетами...»

Да, осенью 41-го положение было критическим. Враг стоял у стен нашей столицы, но мало кто из ее жителей помышлял о капитуляции. В те дни командующий Московской зоны обороны генерал-лейтенант П. Артемьев писал: «...Нужно быть готовым к тому, что улицы Москвы могут стать местом жарких боев, штыковых атак, рукопашных схваток. Это значит, что каждая улица сейчас должна приобрести боевой облик, каждый дом должен стать укреплением, каждое окно огневой точкой, каждый житель Москвы солдатом».

Так оно и было. Тысячи и тысячи москвичей, тех, кто мог носить оружие, ушли на фронт. Около полумиллиона человек, в большинстве своем женщины, приняли участие в возведении оборонительных сооружений.

К зиме 1941 года Москва превратилась в настоящую военную крепость. Но она по-прежнему оставалась столицей, центром, откуда осуществлялось руководство политической и хозяйственной жизнью страны, боевыми действиями на всех участках огромного, от Балтики до Черного моря, советско-германского фронта.

16 октября решением Государственного Комитета Обороны из Москвы началась эвакуация правительственных учреждений и промышленных предприятий. В короткий срок на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию перебрались большинство министерств, ведомств, важнейших заводов. А составители папки «Н» утверждали:

«Пожалуй, нет ни одного города в мире, где не было бы скучено такое множество административных инстанций, как в Москве... Чтобы в случае войны избежать ущерба, который она сможет повлечь за собой, лет десять назад обсуждался перевод столицы в Свердловск, однако этот план позже был отвергнут...

Внезапное перемещение государственных учреждений во время войны в русских условиях можно считать исключенным. При оккупации они попадут в руки вступивших войск. Поскольку, как правило, хозяйство также огосударствлено, легко можно получить сведения о продукции и запасах этого гигантского государства».

Захватчиков очень интересовали материальные запасы. Этому вопросу посвящено немало страниц папки «Н».

«Нельзя с определенностью сказать, можно ли рассчитывать на достаточные запасы продовольствия. В случае оставления города следует ожидать уничтожения имеющихся запасов. Промышленное сырье, а также горючие и строительные материалы, вероятнее всего, должны быть в достаточном количестве».

Да, они не скрывали, что прежде всего собираются грабить. Их фюрер, мечтающий о мировом господстве, так выразил суть своих целей на востоке: «В основном дело сводится к тому, чтобы освоить огромный пирог, с тем чтобы мы, во-первых, овладели им, во-вторых, управляли и, в-третьих, эксплуатировали».

Об этом наглядно свидетельствуют и немецко-русские разговорники, заключающие каждый из разделов папки «Н». Большая часть приведенных там фраз начинается со слов: «дай мне»... «принеси»... «я хочу»... Ну а русскую женщину захватчики должны называть, конечно же, бабой. Так они переводят слово «фрау».

Разговаривать с собой в таком тоне русские, как известно, не позволяли. «Никогда не чувствовать себя побежденными. Даже если перед тобой сотни врагов, даже если один против десяти, даже если смерть в лицо! Бейся с врагом, пока движется хотя бы единый мускул, пока видят глаза, пока повинуется рука, и с последним ударом сердца нанести смертельный удар фашисту». Так в те дни заявляли защитники Москвы. Именно так сражались они у Дубосеково, на Бородинском поле, на многих других участках.

Москва не только сражалась — она оставалась мощной кузницей оружия.

Гитлеровцы, конечно, были осведомлены о возможностях промышленности нашей столицы:

«...Москва является не только главной целью наступления в Центральной России, но и одной из важнейших целей наступления на всем русском простран-

стве, короче говоря — во всей Восточной Европе... Москва — господствующий узел железнодорожных и воздушных путей сообщения и телеграфно-телефонных линий связи всей России.

...Занятие узла путей сообщений — Москвы — нарушает связь между богатой зерном и сырьем Украиной и Севером (Ленинград, Мурманск)... Достижение центра города (Кремля) благодаря современному устройству главных магистралей в черте города не должно было бы натолкнуться ни на какие трудности.

Поскольку все проводные линии связи проходят через Москву или кончаются там и поскольку в Москве находятся важнейшие радиостанции, в случае войны оттуда возможен контроль почти за всей сетью связи. В связи с тем, что вся проводная сеть дальнейших сообщений является надземной, имеется возможность быстро разрушить телефонные и телеграфные линии.

В Москве, в самом крупном промышленном городе Союза, и в прилегающих районах сконцентрирована военная промышленность, и наконец город является крупнейшим гарнизонным центром русских вооруженных сил с множеством военных учреждений и заведений».

Гитлеровцы неплохо были осведомлены о том, что Москва до войны давала почти четверть всей промышленной продукции страны. Знали они и то, как можно подорвать экономику столицы.

«Промышленность Москвы... в значительной степени зависит от внешнего производства электроэнергии. Разрушение прежде всего электростанций Шатуры, Каширы, Сталиногорска, так же как и высоковольтных линий передач, чувствительно нарушило бы промышленное производство Москвы»...

О способах разрушения водоснабжения авторы папки «Н» предусмотрительно отсылают своих читателей к 4-й главе — «Воды». И наконец делают такой вывод относительно промышленности нашей столицы:

«Сосредоточение промышленности делает Москву чрезвычайно уязвимой целью прежде всего для воздушных налетов. Разрушение важнейших оборонных и других заводов лишили бы Советский Союз важнейших предприятий военного хозяйства».

Осуществить это не удалось. Даже после эвакуации большинства оборонных предприятий на восток Москва оставалась мощным военным арсеналом и производителем боевой техники и вооружения. Только зимой 1941/42 гг. она дала фронту 76 тысяч автоматов, 10 тысяч минометов, несколько тысяч противотанковых ружей, вернула в строй 1000 танков, 1200 самолетов.

На выпуск военной продукции быстро переключились предприятия местной промышленности, всевозможные мастерские. На заводе фруктовых вод наполняли бутылки горючей смесью КС, на протезном наладили производство миноискателей, на 2-м часовом — взрывателей к минам...

Одновременно труженики столицы передали в фонд обороны к 1 февраля 1942 года свыше 140 миллионов рублей, большое количество золота, других ценностей.

Москва работала и сражалась. 6 ноября, когда офицеры передовых вражеских частей рассматривали в бинокли окрестности нашей столицы, когда в Красной Поляне устанавливались дальнобойные орудия для обстрела Кремля, генерал-лейтенант К. Рокоссовский писал в газете «Правда»:

«С начала военных действий Гитлер назначал уже до десяти сроков взятия Москвы... В одной из последних листовок немцы хвастливо заявили, что 7 ноября проведут на Красной площади парад войск.

Не удастся! Хотя бои за Москву продолжаются и опасность, нависшая над столицей, не ослабла, уже сейчас можно констатировать провал плана фашистского командования...»

Да, «Тайфун» выдохся, план гитлеровцев захватить Москву потерпел провал. И риторически звучит вопрос, заключающий первый обзорный раздел папки «Н»: «Является ли Москва решающей целью войны?» Видимо, учитывая горький опыт Наполеона, эксперты генштаба вермахта стали несколько осторожнее в своих оценках:

«С занятием или разрушением Москвы руководящий, военный, политический и хозяйственный аппарат и важные устои советской власти будут парализованы, но это не повлечет за собой решения войны. Величайшим противником тогда все еще остается пространство, которое восточнее Москвы теряется в бесконечности.

Будут ли, во всяком случае, имеющиеся восточнее советские части находиться политически твердо в руках руководства после падения столицы — это политический, а не военный вопрос».

В битве под Москвой последнее слово осталось за Красной Армией. 5 декабря, измотав гитлеровцев в оборонительных боях, выбив их танки, советские войска перешли в контрнаступление. В ходе его враг был отброшен от столицы на 150—400 километров.

В те дни в качестве наших трофеев оказался и скандинавский гранит, предназначенный гитлеровцами для сооружения в Москве монумента в честь своей победы.

Состоялся в Москве и своеобразный «парад» претендентов на мировое господство. 17 июля 1944 года 57 600 гитлеровских солдат, офицеров и генералов, взятых в плен в ходе Белорусской операции, три часа «маршировали» по центральным улицам столицы. Вот когда они могли сопоставить увиденное с «фотографическими видами» из папки «Н».

Думается, когда на Поклонной горе откроется здание музея, то в зале, посвященном героической обороне Москвы, будет экспонироваться и папка «Н».

МИХАИЛ НАЗАРОВ

Мир, в котором оказалась эмиграция, или Чего боялись правые

Без этого будет непонятна не только позиция правых, но и миссия всего русского зарубежья: она определялась не только уникальностью ситуации на родине, но в не меньшей степени и состоянием мира, в котором русской эмиграции пришлось существовать. Споры на тему «жидо-масонского заговора» типичны не только для эмиграции, но и для всей переломной эпохи XIX—XX веков.

В некоторых кругах программой этого заговора считаются «Протоколы сионских мудрецов». Основное утверждение состоит в том, что евреи, будучи сами немногочисленны, используют тайную масонскую организацию как инструмент для целенаправленного разложения и порабощения христианского мира его же руками с целью установления своего мирового господства — чем объясняются и революция в России, и власть большевиков. Чтобы отделить здесь факты от домыслов, лучше всего обратиться к масонским и еврейским источникам.

Исследователь Я. Кац в работе «Евреи и масоны в Европе 1723—1939» отмечает, что обвинения в стремлении евреев и масонов к мировому господству «находили симпатии и поддержку в широких кругах еще до того, как они оказались объединены в один лозунг. Слухи, что «таинственные мудрецы» контролируют и эксплуатируют рядовой состав масонства для своих собственных целей, циркулировали почти с самого появления этого движения. Вера в эти домыслы особенно широко распространилась после Французской революции, когда многие противники масонов обвиняли их в ее организации. Наиболее известное литературное изложение этих взглядов — работа иезуита Огюстэна Баррюэля «Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme»...»[1].

Считая, что эти домыслы могли приобрести такую живучесть лишь при наличии каких-то реальных оснований, Кац пытается искать разгадку этого соединения евреев и масонов в совпадении ряда социально-политических причин. Мы расширим поиск, учтя также особенности самих масонов и евреев.

Масонство возникло как организация тайная — не в том смысле, что она скрывает факт своего существования, а в том, что скрывает свои цели. Во всяком случае, провозглашенное «материальное и моральное улучшение человечества» утаивать не было необходимости и принесение масонской клятвы с угрозой мести за ее нарушение заставляло предполагать наличие иных целей или методов, которых не одобрило бы окружение. То есть уже сама секретность вызывала подозрение.

Тайные организации существовали всегда — людям свойственно объединять усилия для достижения поставленных задач. Поэтому сами масоны ищут свои истоки в глубокой древности. Нам достаточно уделить внимание современному масонству (ордену «вольных каменщиков»), которое сформировалось в Англии в конце XVII века в идейном пространстве между религиозной Реформацией и антирелигиозным гуманистическим Просвещением — как неоязыческая религия

[1] Katz J., Jews and Freemasoms in Europe 1723—1939. Harvard University, Cambridge. 1970. P. 219—220.

НАЗАРОВ Михаил — видный представитель «третьей волны» русской эмиграции. Живет и работает в Мюнхене. В прошлом году выступил на страницах «Нашего современника» со статьей «Западники и почвенники. Рассечение двуглавого орла» (1990, № 9).

разума, стремившаяся к объединению человечества; к построению «величественного Храма» нового мирового порядка (в этом и заключается параллель со строителями-«каменщиками»).

Масонская энциклопедия считает, что сначала масонство имело христианские черты и лишь позже Андерсон, автор Книги уставов 1723 г., «изменил прежний христианский характер в пользу «религии, которая объединяет всех людей»[2], то есть в пользу принципов Ветхого Завета. Ю. Гессен (ссылаясь на сходные мнения других авторов) пишет, что изменение, как и упоминание Ноевых законов в Книге уставов в 1738 г., «преследовало специальную цель — открыть доступ в союз евреям», ибо: «Для примирения в масонстве различных христианских учений не было надобности прибегать к Ноевым законам; заповедь Христа была бы в этом случае более уместной»[3].

Этим в основном и объясняется обилие еврейской символики в масонстве вплоть до еврейского летосчисления (от сотворения мира, а не от Рождества Христова), на что всегда обращали внимание правые круги. Как можно видеть, это не было выражением еврейского возглавления лож, а исходило из мировоззренческого — библейского — базиса масонства. Хотя нельзя не отметить и того, что само оформление в Англии современного масонства происходило под еврейским влиянием, совпав с весьма активным возвращением туда евреев при Кромвеле около 1657 г. (после изгнания в 1290 г.). Как подчеркивает Ю. Гессен, масонство «с первых же шагов своей новой деятельности становится лицом к лицу с еврейским вопросом, и вместе с тем в деятельности союза тотчас начинают принимать участие евреи... Еврейский народ пользовался в то время особенными симпатиями со стороны многих просвещенных англичан, а среди пуритан находились даже не в меру восторженные поклонники «народа Божьего»; реформационное движение вызвало особое внимание к Ветхому Завету в ущерб Новому; английское масонство также отдавало предпочтение первому, и потому еврейская религия в своей основе не шла вразрез с религиозными убеждениями основателей союза»[4].

Как бы то ни было, «масонство стало своего рода секулярной церковью, в которой могли свободно участвовать евреи»[5],— отмечает иерусалимская «Encyclopaedia Judaica».

Нужно сказать, что в то время еврейство в целях самосохранения замыкалось в добровольном гетто, уход из которого был связан с проклятьем и отлучением от еврейства (как поступили со Спинозой), поэтому уходить решались немногие. Да и в христианском окружении для некрещеных евреев не было места: они еще нигде не имели равноправия. Только в масонских ложах они могли чувствовать себя свободно, не порывая с еврейской общиной: ложи стали первой «территорией», на которой исчезали сословные и религиозные перегородки; в ложах евреи приобретали деловые «контакты в кругах, которых не могли бы достичь другим способом»,— отмечает Кац. Эта социальная функция лож способствовала их быстрому распространению и сильному стремлению еврейства в масонство во всех развитых странах.

Только в Германии это долго затруднялось — поскольку немецкие масоны упорнее других держались за внешнюю христианскую символику, которая для иудеев была неприемлема. Имелись и прямые ограничения на прием нехристиан (это противоречило масонским принципам, из-за чего еще в конце XIX века заграничные ложи рвали отношения с немецкими «братьями»). Но даже в Германии (в ложах, связанных с заграницей) к началу XIX века евреи в масонстве «были широко представлены старыми, знатными фамилиями: Адлеры, Шпейеры, Райсы и Зихели. Даже самые богатые и наиболее влиятельные франкфуртские фамилии входили сюда: Эллисоны, Ханау, Гольдшмидты и Ротшильды». В начале XIX в. в наиболее солидной, франкфуртской еврейской общине масонами было «подавляющее большинство ее руководства»[6].

С точки зрения евреев, как пишет «Универсальный масонский словарь», «кажется, не было никакой несовместимости между иудаизмом и масонством. В самом деле, ни в законе Моисея, ни в еврейских традициях, ни в повседневной практике с самой строго формалистической ее стороны нет ничего такого, что могло бы вызвать малейшее сомнение у еврея против того, чтобы стать масоном»[7]. Оговорка «кажется» здесь, очевидно, относится к строго ортодоксальному еврейству, которое смешиваться с неевреями все-таки не желало и признавало лишь чисто еврейские ложи (их тоже возникло немало). Но, например, раввин-реформатор Г. Соломон считал «масонство более еврейским движением, чем христианским...» и выводил его родословную скорее от еврейства, чем от христианства»[8].

В XIX в. «масонство приобрело уверенный и признанный статус в группе, образовывавшей центральную опору всего общества. В этом и заключается ключ к пониманию того, почему евреи толпами так страстно стремились в масонство в XIX веке... С тех пор, как масонские ложи стали символом социальной элиты, запрет на прием евреев в эти организации означал отказ им в привилегии, которую они сами считали себя вправе получить... Отсюда то негодование и гневные крики, с которыми евреи вели свою битву за

---

[2] Lennhoff E., Posner O. Internationales Freimaurerlexikon. Wien-München. 1932 (Nachdruck 1980). S. 790—791.
[3] Гессен Ю. Евреи в масонстве. СПб. 1903. С. 6—7.
[4] Там же. С. 4, 7—8.
[5] Encyclopaedia Judaica. 1971, Jerusalem. Vol. 7. P. 123.

[6] Katz J. Op. cit. P. 60, 92.
[7] Dictionnaire universel de la franc-maçonnerie. Paris. 1974. P. 708.
[8] Katz J. Op. cit. P. 221.

вступление в ложи»[9] в Германии,— пишет Кац.

Борьба за столь желанное вхождение в масонство воспринималась евреями как составная часть общей «социальной битвы» за свою эмансипацию. Это совпало с разложением гетто: возник новый тип еврея, «даже не испытывавшего отвращения к христианскому содержанию в масонских ритуалах»,— продолжает Кац. Эти евреи «старались внести свет в гнетущую атмосферу своего иудаизма и смягчить чувство изоляции, овладевшее ими, как только начало смягчаться отвращение к близкому контакту с христианским окружением. Этот тип еврея появляется позже снова, как носитель идеологии, иногда оправдывающей игнорирование религиозных различий, иногда аннулирующей саму проблему и значение религии.

Однако этот распространенный тип еврея не был единственным, взиравшим на масонство. С другой стороны, появились евреи, верные своей религии, которые надеялись, что ложи придут к чисто логическому завершению своих признанных принципов и исключат христианское содержание и символику из ордена»[10].

Таким образом, в Германии борьба евреев за вхождение в масонство стала частью борьбы внутри самого масонства, «где имелось два фланга: христианский и гуманистический. ...И позиция растущего числа евреев во внутримасонских разногласиях была на стороне гуманистов»[11]. Эта борьба демонстрирует суть влияния евреев на масонство в целом, что в других странах произошло без особого сопротивления.

Постепенно ложи стали для евреев не только «отдушиной» в стенах гетто, дававшей глоток свежего воздуха, но и — в соответствии с реформаторскими целями масонства — инструментом политической борьбы за обретение равноправия в государственных масштабах. Неудивительно, что в Европе евреи впервые добились этого в 1792 г., после Французской революции, на результаты которой масоны оказали большое влияние («Свобода, равенство, братство»).

Мистические течения масонства представляли собой сложную смесь оккультизма, астрологии, алхимии, каббалы (в этом еще один источник еврейской символики в масонстве), дополняемые наивной верой в способность человеческого разума постичь конечные тайны Вселенной, обуздать силы природы. Все это руководилось просвещенческим пафосом «свободного искания истины» вне «сковывающих церковных догм». «Свобода мысли для большинства масонов конца XIX и первой половины XX в. означала освобождение от любой религиозной веры, а наиболее решительное меньшинство масонов никогда не скрывало желания просто разрушить традиционные религии»[12] — для «устроения блага человечества». Это решительное меньшинство и определило внешний облик масонства, создав в его лоне могущественный отряд для разрушения консервативных порядков: против монархий с их сословной структурой и против влияния Церкви — за всечеловеческую демократию.

Борьба за этот новый облик мира объединяла, впрочем, все разновидности масонства, от мистической до атеистической; разными были лишь средства — более или менее радикальные. Масонами были многие деятели буржуазных революций, видные либералы и реформаторы. И дело не в том, сколько евреев было в масонских ложах, а в том, что совпадали цели масонства и еврейства, в свою очередь стремившегося сделать окружающий христианский мир более либеральным, менее чуждым себе.

Отождествлению масонства и еврейства особенно способствовало создание в 1843 г. в Нью-Йорке чрезвычайно активной впоследствии еврейской ложи Бнай Брит (Сыны Завета), хотя она имеет лишь внешнее сходство с масонскими. В ней тоже «каждый из «братьев» клятвенно обязан вечно хранить в тайне формы деятельности ложи»; однако в отличие от космополитического масонства цели Бнай Брит подчеркнуто национальные: «объединение еврейских мужчин... для достижения высоких целей человечества», «укрепление духовного и нравственного характера соплеменников», «не отказываясь от еврейства, и даже более того — в сохранении верности еврейству»[13],— пишет «Еврейская энциклопедия». Однако «ничто не мешает масону быть членом ордена Бнай Брит и наоборот»[14],— добавляет масонский словарь. Такое совмещение тоже персонифицировалось в отдельных личностях: например, основателями ложи Бнай Брит в Германии были обыкновенные масоны-евреи[15], в Париже — тоже (эмигрант из России — Г. Слиозберг).

Дело Дрейфуса в конце XIX в.— наглядный пример того, с какой силой этот масонско-еврейский союз проявлялся на практике[16]. Победа «дрейфусаров» и ряд шумных скандалов в связи с незаконными действиями масонов по усилению своей власти во Франции (например, в 1901—1904 гг.: масонская система шпионажа и картотека для контроля офицерского состава армии; циркуляры по проверке мировоззрения чинов полиции) — все это сильно испугало правые круги в Европе. Тем более что и сами масоны уже не особенно скрывали своих целей.

В 1902 г. один из масонских вождей во Франции заявлял: «Весь смысл существования масонства... в борьбе против тиранического общества прошлого... Для этого масоны борются в первых рядах, для этого более 250 масонов, облеченных

[9] Ibid. P. 211—212.
[10] Ibid. P. 202—203.
[11] Ibid. P. 122—123.
[12] Chevallier P. Histoire de la franc-maçonnerie française, Paris, 1975. P. 58, 56.

[13] Jüdisches Lexikon. Berlin. 1929. Band 3. S. 1190, 1192, 1194.
[14] Dictionnaire universel... P. 154.
[15] Katz J. Op. cit. P. 164—165.
[16] См. соответствующую главу в: Chevallier P. Op. cit.

доверием республиканской партии, заседают в Сенате и Палате депутатов... Ибо масонство есть только организованная фракция республиканской партии, борющаяся против католической церкви — организованной фракции партии Старого Порядка...»[17]. А в 1904 г. глава Совета ордена, Лафер, объявил: «Мы не просто антиклерикальны, мы противники всех догм и всех религий... Действительная цель, которую мы преследуем, крушение всех догм и всех Церквей»[18].

Причем, как констатирует авторитетный французский историк масонства П. Шевалье, именно «Дело Дрейфуса... направленное против союза армии и духовенства, дало огромный импульс к завершению антиклерикальной программы»[19]. Это произошло в начале XX века, когда масонство укрепилось у власти, и не только во Франции.

Разумеется, не все масонство было столь агрессивно-атеистическим: между масонскими послушаниями возникли разногласия по поводу признания или непризнания существования Бога. Не всегда оно было и антимонархическим: во многих странах оно просто вобрало в себя королевские династии, не уничтожая монархий, а преобразовав их в своем демократическом духе. Как писал в «Возрождении» Л. Любимов, вышедший из масонства и сохранивший к нему некоторую лояльность:

«Конечно, было бы ошибочно утверждать, что английские ложи не имеют никакого политического или общественного значения, но значение это совсем иное, чем во Франции. Английское масонство есть как бы одно из выражений английской великодержавности — и это особенно ощутимо в колониях, где ложи вольных каменщиков — цитадель английского не только политического, но и культурного главенства... Английское масонство в общем составляет часть того великолепного здания, которое именуется Британской империей»[20]. В это здание могут входить и такие масоны, как глава англиканской Церкви (архиепископ Кентерберийский).

К сожалению, здесь нет места для рассмотрения глубочайшей и интереснейшей проблемы: духовных истоков капитализма — плода протестантской Реформации, масонства и еврейского влияния (как оно отражено хотя бы в книге В. Зомбарта «Евреи и хозяйственная жизнь»). Но смысл этой эволюции очевиден: уход из-под церковной опеки и от христианского миропонимания. Неудивительно, что еще в 1738 г., в один год с введением в масонский Устав упоминания о Ноевых законах, глава католической Церкви папа Климент XII запретил христианам вступать в масонство под угрозой отлучения; этот запрет повторялся множество раз и формально не отменен до сих пор.

К тому же политически наиболее активным было масонство антихристианское, достигшее в Европе (где оно преобладало и численно) огромного политического влияния. П. Шевалье признает, что тезисы О. Кошэна, «который считал масонство одним из главных ответственных за революцию 1789 г.», «содержат большую долю истины»; и что в 1871 г. «большинство коммунаров были масонами и все имели социалистическую тенденцию»[21]. Это влияние, особенно усилившееся к началу XX в., бросалось в глаза и заставляло отождествлять с собой масонство как таковое.

Выше описано в основном масонское слагаемое теории о «жидо-масонском заговоре». У еврейской стороны были свои особенности тоже вызывавшие подозрения — с древнейших времен.

С. Лурье в известном исследовании «Антисемитизм в древнем мире» показывает, что «...обычен в древней литературе взгляд, по которому всемирное еврейство представляет собой, несмотря на свою скромную внешность, страшный «всесильный кагал», стремящийся к покорению всего мира и фактически уже захвативший его в свои цепкие щупальца. Впервые такой взгляд мы находим в I в. до Р. Х. у известного географа и историка Страбона: «Еврейское племя сумело уже проникнуть во все государства, и нелегко найти такое место во всей вселенной, которое это племя не заняло бы и не подчинило бы своей власти»[22]. Известны подобные высказывания Цицерона, Сенеки, Тацита и других античных авторов.

Дело в том, что еврейское рассеяние началось еще в дохристианскую эпоху, и уже тогда в окружающих странах жило больше евреев, чем в Палестине — причем везде на особом положении. Так, во времена Птолемеев в Египте, как отмечает «Еврейская энциклопедия»: «Они пользуются многими юридическими привилегиями, напр., правом не принимать никакого участия в государственном культе; полной внутренней автономией; им принадлежат многие экономические преимущества, напр., монополия в торговле папирусом, откуп на некоторые денежные пошлины; в различных спекулятивных отраслях торговли и государственного хозяйства они играют преобладающую роль, этим еще больше питая враждебное к себе отношение других»[23].

С. Лурье приходит к выводу, что «постоянной причиной, вызывавшей антисемитизм, ...была та особенность еврейского народа, вследствие которой он, не имея ни своей территории, ни своего языка и

---

[17] Hiram. La Franc-Maçonnerie // L'Acacia. 1902. X. P. 8. — Цит. по: Боровой А. Современное масонство на Западе // Масонство в его прошлом и настоящем. Москва. 1923. С. 18.

[18] Chevallier P. Op. cit. P. 61.

[19] Ibid. P. 71.

[20] Любимов Л. О масонстве и его противниках // «Возрождение». Париж. 1934. 30 сент.

[21] Chevallier P. Op. cit. P. 339, 411, 136.

[22] Лурье С. Антисемитизм в древнем мире. Берлин. 1923. С. 207—209.

[23] Еврейская энциклопедия. СПб, Б. г. Т. 2. С. 641.

будучи разбросанным по всему миру, тем не менее (принимая живейшее участие в жизни новой родины и отнюдь ни от кого не обособляясь) оставался национально-государственным организмом». «Государство без территории»[24] — такова характеристика еврейства в рассеянии этого автора.

В целях самосохранения в чужих национальных организмах еврейская диаспора стремилась «повлиять на общественное мнение так, чтобы создать нейтральные и дружественные группы», которые могли бы «вести в самых высших кругах античного общества пропаганду широчайшей терпимости по отношению к евреям»[25]. (В этой связи стоит отметить вывод другого еврейского исследователя о еврейском влиянии в эпоху ересей и Реформации: «почти все реформаторы христианства имели по крайней мере одного друга или учителя—еврея, все важнейшие движения реформации в своих истоках обращались к миру еврейской Библии»[26]. Сходное влияние еврейства на формирование масонства в Англии отмечено в цитированной работе Ю. Гессена, а из исследования Я. Каца совершенно очевидно, что в Новое время еврейство видело в масонстве одну из таких дружественных групп).

«Естественно, ...что эта еврейская пропаганда усиливала антисемитизм в националистически настроенных, верных традиции кругах», ибо эта агитация, а также стремление евреев к самозащите через уничтожение сословных перегородок и через пропаганду демократичности «как ничто другое способствовало разрушению традиционного уклада» коренного населения. Это усугублялось тем, что евреи в тех же целях самосохранения стремились соблюдать местный закон «лишь постольку, поскольку он не противоречит... положениям еврейского закона», и «при борьбе двух государств или двух партий внутри государства... симпатизировать и по возможности содействовать стороне, более сочувственно относящейся к евреям»,— пишет Лурье и продолжает: «...евреи, становясь на сторону той или иной партии, считались прежде всего со своими национальными, т. е. еврейскими интересами», ставя их «выше государственного патриотизма»[27].

Описывая эти черты еврейства, С. Лурье, к сожалению, не ставит вопрос — почему оно такое, и не придает значения еврейской религии. Тогда как именно она была причиной гордого отмежевания евреев от окружения. Как отмечает «Еврейская энциклопедия», «...с древнейших эпох своей истории иудеи хранят сознание того, что только еврейский народ знает истинного единого Бога и является Его избранником; из этого сознания вытекает гордое презрение к окружающим язычникам»[28] (оно наглядно отражено и в Талмуде).

В этой связи А. Кестлер отмечал, что еврейская религия содержит также элемент расизма: «...слово «гой» соответствует... греческому «варвар»... Оно указывает не на религиозное, а на племенное этническое различие. Несмотря на отдельные — и не очень настойчивые — призывы относиться хорошо и к «чужакам» в Израиле, о «гое» в Ветхом Завете говорится всегда с примесью неприязни, презрения и жалости, точно к нему вообще не применимы общечеловеческие стандарты» (а в некоторых местах прямо предписывается двойная мораль в отношении к своим и к чужим). Разумеется, религия, «вызывающая секулярные претензии на расовую исключительность, не может не вызывать секулярные же враждебные реакции»[29].

Эти реакции были заметны даже в масонской среде: главной причиной, почему немецкие «вольные каменщики» считали евреев непригодными для масонских принципов «равенства и братства», — было указание на еврейскую религию, «запрещающую евреям смешивание с обществом гоев»; к тому же «они все еще ждут земного Мессию, обещанного только им одним, богоизбранному народу»[30],— отмечает Кац. Ю. Гессен также приводит высказывания немецких масонов: «...нельзя отрицать, что религиозное учение и законы евреев.., если взглянуть на них во всей строгости, в некоторых пунктах несогласны с человечностью, противоречат идее о человечестве, соединенном в Боге; и к этому относится преимущественно взгляд, будто евреи единственно избранный народ Божий» (Краузе); евреи считают, что «Иегова любит только их самих и ненавидит другие народы. Евреям предписана нравственность лишь в отношении других евреев, по отношению же к другим еврей может действовать согласно своим видам» (Ведекинд)[31]...

Мессианский фактор в еврейской религии особенно важен для понимания рассматриваемой темы. Ибо по сравнению с подозрениями в отношении масонства «домыслы, будто евреи жаждут власти над миром, питались из более глубокого исторического истока. Этот исток — еврейская вера в мессию, который соберет еврейский народ на его древней родине и, в соответствии с распространенной концепцией, установит еврейское господство над всеми другими народами мира. Еврейский мессианизм привлекал внимание христианского мира с древнейших времен...»[32],— отмечает Кац.

К тому же эти обетования выражены в Ветхом Завете: «И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе;

[24] Лурье С. Указ. соч. С. 11, 207.
[25] Там же. С. 146—147.
[26] Там же. Аннотация издательства к исследованию: Louis Israel Newman. Jewish Influence On Christian Reform Movements. New York. Columbia University press. 1925.
[27] Лурье С. Указ. соч. С. 147—148, 166—167, 77.

[28] Еврейская энциклопедия. СПб. Б. г. Т. 2. С. 640.
[29] Кестлер А. Иуда на перепутье // «Время и мы». Израиль. 1978. № 33. С. 102.
[30] Katz J. Op. cit. P. 76—77, 79—80, 84—85.
[31] Гессен Ю. Указ. соч. С. 48—49.
[32] Katz J. Op. cit. P. 219—220.

да не пощадит их глаз твой...» (Втор. 7 : 16); «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их — служить тебе... чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся» (Исаия, 60 : 10—12)...

С распространением христианства взаимоотношения между евреями и окружающим миром наиболее обострились. Евреи с самого начала не приняли вселенский мессианизм Христа, продолжая ждать своего национального мессию. Возникшее христианство уже одним своим существованием воспринималось евреями как бросаемое им обвинение в распятии Сына Божия — и в целях самооправдания они тем более упорствовали в отрицании божественности Христа. А поскольку христианство считало ветхозаветный мессианизм исполненным и упраздненным, евреи видели в этом прямую угрозу своему самосохранению и не упускали возможностей борьбы против этой угрозы (например, распространением ересей). Католики, со своей стороны, применяли такой аргумент, как инквизиция...

Во всем этом, учитывая международные связи еврейской диаспоры, уже можно видеть достаточно причин для появления подозрений о еврейском мировом заговоре. Такое впечатление усугублялось, если учесть, что еврейство имело конкретный могущественный инструмент влияния — деньги.

С. Рот, главный редактор иерусалимской «Encyclopaedia Judaica», отмечает «расцвет еврейского господства в финансовом мире» к XII в., объясняя это устроѕжением церковного запрета для христиан на занятие ростовщичеством, почему евреи и «нашли лазейку в этом, самом презираемом и непопулярном занятии»; от него «к XIII в. зависело большинство евреев в католических странах» [33]. Это объяснение не выдерживает критики, ибо то же свойство прослеживается у еврейства опять-таки с древнейших времен.

Ж. Аттали, президент Европейского банка реконструкции и развития, отмечает особое еврейское «чутье», благодаря которому с самого возникновения торговли «еврейские общины селятся вдоль силовых линий денег». «Уже в III в. еврейские общины сильно рассеиваются по миру, обеспечивая торговые связи от севера Германии до юга Марокко, от Италии до Индии и, быть может, даже до Японии и Кореи». И обладая наилучшей информацией — становятся советниками монархов, влиятельными людьми. Возникает «почти абсолютное, но совершенно ненамеренное, тысячелетнее господство евреев в международных финансах», длившееся до XI—XII вв. И в дальнейшем, хотя они больше не являются единственными финансистами, «их власть остается могущественной» [34],— считает Аттали.

Так, в XIX веке «...английские Ротшильды устанавливают мировые цены на золото и финансируют большинство европейских правительств» [35]. Как писал в том же XIX веке наш умнейший юдофил В. Соловьев, «иудейство не только пользуется терпимостью, но и успело занять господствующее положение в наиболее передовых нациях», где «финансы и большая часть периодической печати находятся в руках евреев (прямо или косвенно)» [36]. А внук раввина Маркс делал из этого факта вывод, что именно евреи — носители капиталистической эксплуатации в мире («К еврейскому вопросу»)... Еще до К. Маркса, повлияв на него, отождествил еврейство с капитализмом один из основоположников сионизма М. Гесс («О капитале». 1845).

В это же время быстро разлагается гетто. Известная еврейская публицистка Х. Арендт описывает, какими социально-психологическими сдвигами это сопровождается в эмансипированной части еврейства:

«Превращение Ротшильдов в международных банкиров и их неожиданное возвышение над остальными еврейскими банкирскими домами изменило всю структуру еврейского государственного бизнеса... Это дало новый стимул для объединения евреев как группы, причем международной группы.

Исключительное положение дома Ротшильдов оказалось объединяющим фактором в тот момент, когда религиозно-духовная традиция перестала объединять евреев. Для неевреев имя Ротшильда стало символом международного характера евреев в мире наций и национальных государств. Никакая пропаганда не могла бы создать символ более удобный, чем создала сама действительность».

«...Еврейский банковский капитал стал международным, объединился посредством перекрестных браков, и возникла настоящая международная каста. Возникновение этой касты, разумеется, не ускользнуло от внимания нееврейских наблюдателей». Члены этой касты «управляли еврейской общиной, не принадлежа к ней социально и географически. Но они не принадлежали и к нееврейской общине... Эта изоляция и независимость укрепляли в них ощущение силы и гордости» [37].

Х. Арендт, как и С. Лурье, также не придает должного значения религиозному аспекту иудаизма, что делает ее исследование весьма поверхностным. Она, кажется, преувеличивает и степень отхода касты еврейских банкиров от иудейской традиции (Ж. Аттали в книге о Варбургах

[33] Roth C. A Short History of the Jewish People. London, 1936. P. 202, 204, 207.

[34] Attali Jacques. Un homme d'influence. Sir Siegmund Warburg. Paris. 1985. P. 23, 25. (Ссылка Аттали на источник: Kedourie. Le Mond Juif. Éditions Flammarion.)

[35] Ibid. P. 48.

[36] Соловьев В. Еврейство и христианский вопрос. 1884 // Соловьев В. Статьи о еврействе. Иерусалим. 1979. С. 8.

[37] Арендт Х. Антисемитизм // «Синтаксис» № 26. Париж. С. 134, 146.

отмечает противоположное). Но и она не отрицает значения еврейского мессианизма в социальной плоскости, отмечая происходившую его трансформацию:

«Главной особенностью секуляризации евреев оказалось отделение концепции избранности от мессианской идеи. Без мессианской идеи представление об избранности евреев превратилось в фантастическую иллюзию особой интеллигентности, достоинств, здоровья, выживаемости еврейской расы, в представление, что евреи будто бы соль земли.

Именно в процессе секуляризации родился вполне реальный еврейский шовинизм... С этого момента старая религиозная концепция избранности перестает быть сущностью иудаизма и становится сущностью еврейства» [38],— считает Х. Арендт, приводя пример Дизраэли.

И здесь сделаем то же важное замечание, что выше сказано о масонах. Не все евреи, конечно, были банкирами; огромная часть еврейского народа веками влачила в гетто жалкое существование. Не все евреи (в этом прав автор «Страны и мира» [39]) выбирают из Библии цитированные выше места: выход из гетто часто был связан именно с отказом от шовинистического мессианизма; возник даже реформированный иудаизм, утверждающий, что «законы справедливости и правды признаются высшими законами для всех людей, без различия расы и веры, и соблюдение их возможно для всех... Неевреи могут достигнуть столь же совершенной праведности, как и евреи... В современных синагогах слова «Возлюби ближнего своего, как самого себя» относятся ко всем людям» [40].

Но не эти бедные и умеренные слои еврейства бросались в глаза правому лагерю, а активные и влиятельные: финансисты, владельцы средств информации, политики — особенно те представители возникшего в конце XIX века сионизма, которые наиболее важными местами в Ветхом Завете считали все-таки обетования, подобные приведенным выше... С такими людьми христианское окружение отождествляло цели всего еврейства (впрочем, и о других народах всегда судят по поведению их лидеров и по их священным книгам).

...Таким образом, в возникновении теории «жидо-масонского заговора» произошло совпадение как описанных свойств масонства и еврейства, так и их интересов на разных уровнях: социальном, политическом, мировоззренческом. Разумеется, не все евреи и не все масоны участвовали в этом. Но в зоне совпадения образовалось активное ядро, которое и послужило прообразом рассматриваемой теории заговора.

Наиболее впечатляюще это символизируют такие еврейские лидеры (упоминаемые в масонских энциклопедиях в числе высокопоставленных «братьев»), как, например, многие Ротшильды; вождь Всемирного Еврейского Союза А. Кремье; еврейские лидеры в Великобритании — барон М. Монтефиоре, в Италии — Э. Натан и другие (многие из них занимали также важные политические посты в странах своего проживания).

Я. Кац в своей книге рассматривает в основном такие слагаемые теории «заговора», как социальные проблемы борьбы за еврейское равноправие. Страх общества перед еврейским мессианизмом отмечен как бы пунктиром, как «предрассудок». Совершенно не отмечает Кац того, о чем говорится в упомянутых работах С. Лурье, А. Кестлера, Ж. Аттали, Х. Арендт, К. Маркса, М. Гесса и др. (разумеется, все они тоже допускают много поверхностных суждений и представляют интерес только в частностях). К тому же, концентрируясь на нетипичной ситуации в Германии, Кац оставляет в стороне огромное влияние масонства в других странах, в том числе деятельность «Великого Востока».

Но и то немногое, что Кац отмечает, приводит его к выводу на примере Франции: в процессе секуляризации «в глубоком расколе французского общества евреи и масоны четко и очевидно оказались на одной стороне — в секулярном лагере... Враждебность против евреев в социальном и политическом плане смешивалась со старыми теологическими протестами в христианской традиции, преобладающей в католической Франции по отношению к еврейским надеждам на мировое господство в мессианской эре... Когда число евреев в ложах увеличилось и стало ясно, что многие из них получили ключевые функции, произошло в некоторой степени наложение обеих групп. Требовалось лишь небольшое умственное усилие, чтобы соединить их — учитывая их социальную близость, вызванную не случайными обстоятельствами, а ставшую выражением их исторического и идеологического подобия» [41].

Как мы видим, еврейский исследователь подтверждает общность социальных, политических и идеологических целей еврейства и масонства. Он прямо связывает проблему эмансипации евреев с необходимостью целенаправленной дехристианизации как общества, так и самого масонства (его освобождения от остатков христианской символики); с этой целью «евреи вели свою битву внутри масонства всеми средствами убеждения, бывшими в их власти» [42]. Только Кац не называет это «заговором», считая подобную борьбу за дехристианизацию мира «не подрывом существующего порядка» [43], а развитием «прогресса»...

[38] Там же. С. 152.
[39] Кушнер Б. Не произноси ложного свидетельства // «Страна и мир». Мюнхен. 1989. № 2. С. 125.
[40] «Еврейская энциклопедия». 1916. — Цит. по: Рид Д. Спор о Сионе. Иоганнесбург. 1986. С. 76.
[41] Katz J. Op. cit. P. 224—225.
[42] Ibid. P. 210. См. также: С. 115, 116, 124, 125.
[43] Ibid. P. 205.

Он даже наивно полагает, что Церковь выступала против масонства лишь из боязни «соперника, который намеревался достичь той же духовной цели другими средствами[44]. То есть Кац странным образом не понимает, что в глазах христиан и «консерваторов» эта «прогрессивная» борьба еврейства и масонства выглядела именно заговором с прямо противоположной духовной целью.

Итак, теория о «жидо-масонском заговоре» имела в Западной Европе широкое хождение уже в XIX веке. И для этого — как ни называть этот союз и как к нему ни относиться — имелись основания. Они-то и оказались отражены, по-видимому, в художественной форме — и в так называемых «Протоколах сионских мудрецов» (в том, что это никакие не «протоколы», сегодня трудно сомневаться[45]), и в романе «Конигсби» (1844) будущего британского премьера Б. Дизраэли, о котором Х. Арендт пишет:

«...Он рисует фантастическую картину, где еврейские деньги возводят на престол и свергают монархов, создают и разрушают империи, управляют международной дипломатией... Основанием для этих фантазий было существование хорошо налаженной банковской сети. Она и послужила Дизраэли прообразом тайного еврейского общества, правящего миром. Хорошо известно, что вера в еврейский заговор была одним из главных сюжетов антисемитской публицистики. Весьма многозначительно выглядит то, что Дизраэли, руководимый прямо противоположными мотивами, и в те времена, когда никто еще и не помышлял о тайных обществах, нарисовал в своем воображении такую же картину»[46].

Мнение исследовательницы, что в те времена «никто не помышлял о тайных обществах», конечно, не соответствует истине (масонские источники отмечают, что и Дизраэли был масоном). Но это не обесценивает ее процитированного вклада в анализ рассматриваемой теории заговора.

«Вот еще характерный пассаж из Дизраэли: «...страшная революция, на пороге которой стоит Германия.., готовится под покровительством евреев; во главе коммунистов и социалистов стоят евреи. Народ Бога ведет дела с атеистами; самые искусные накопители богатства вступают в союз с коммунистами: особая и избранная раса обменивается рукопожатиями с самым низменным плебсом Европы. И все потому, что они хотят разрушить неблагодарный христианский мир, который обязан евреям всем, включая его имя, и чью тиранию евреи не намерены больше терпеть». В воображении Дизраэли мир превращался в еврейский мир, — пишет Х. Арендт и замечает: — Все, что говорил позднее о евреях Гитлер, содержится в этих фантазиях»[47].

То есть «Протоколы сионских мудрецов» не были «программой жидо-масонского заговора», по которой развивался мир. Здесь была обратная причинность: мир в XIX веке находился в похожем состоянии, которое и отразили в духе своеобразной антиутопии как «Протоколы», так и роман Дизраэли. (И в собирательном образе «Большого Брата» у Орвелла можно видеть отражение масонского термина.) Поэтому вера в истинность «Протоколов» живет несмотря ни на какие доказательства их неаутентичности как документа.

Бессмысленно сводить дискуссию к утверждению или опровержению подлинности «Протоколов»; важно понять исторические реалии, которые послужили прообразом для этих текстов. А их совпадения с реальностью только этим не ограничивались. Как раз дальше самое главное только и начинается, имея уже непосредственное отношение к появлению русской эмиграции...

* * *

Первая мировая война и ее результаты дали еще бо́льшую пищу для страхов перед «жидо-масонским заговором», и уже не только правому лагерю, но и широким слоям западного общества. Проблема занимала всех, правые круги лишь не стеснялись говорить об этом вслух. Трудно сказать, насколько масонство и еврейство «управляли» событиями: катаклизмы такого масштаба никогда не происходят точно по плану. Войны и революции не организуются на голом месте; они возможны лишь при наличии существенных причин. Но, имея достаточные средства влияния, эти причины можно устранять или обострять.

Так, масоны верно нащупали «спусковой механизм» войны: противоречия между Россией и центральными державами (Германией и Австро-Венгрией) в отношении к балканским славянам. В суде над убийцами в Сараеве наследника австро-венгерского престола выявилось, что масоны дали для этого оружие и согласовали дату покушения[48]. Но этот акт, развязавший войну, был бы бесполезен, если бы не было многих других обстоятельств.

Нужно сразу признать: никто не виноват в российской катастрофе больше нас самих. Мы не рассмотрели опасностей, не противостояли им, дали себя соблазнить на гибельные пути. «Попустил Господь по грехам нашим», — так говорили наши предки даже после нашествия татар. Но позволительно разобраться и в том, кто и как в очередной раз воспользовался нашими грехами.

---

[44] Ibid. P. 204.

[45] См., напр., хоть и пропагандно упрощенную, но содержащую некоторые полезные сведения книгу о суде в Берне в 1934 г.: Бурцев Л. «Протоколы сионских мудрецов» доказанный подлог. Париж. 1938.

[46] Арендт Х. Указ. соч. С. 152.

[47] Там же. С. 153.

[48] См.: Der Prozess gegen die Attentäter von Sarajewo // Archiv für Strafrecht und Strafprozeß. Berlin. 1917. Band 64. S. 385—418; 1918. Band. 65. S. 7—137, см. там же. S. 385—393.

В анализе любых явлений следует различать второстепенные и главные факторы. Поэтому, нисколько не забывая, что существуют разные евреи и разные масоны, к таким определяющим факторам в Первой мировой войне можно отнести именно поведение верхов, тех и других,— хотя бы потому, что они оказались в числе победителей и большую долю ответственности за происшедшее, несомненно, несут. Приведем лишь факты, имеющие отношение к России.

Считается, что к началу XX века масонских лож в России не было. Их весьма успешное проникновение через «окно», прорубленное Петром I, было пресечено в 1822 г. Александром I. С тех пор масонство в России было запрещено (особенно после восстания декабристов, созревшего в масонских ложах), и в XIX веке известны лишь отдельные вступления русских в заграничные ложи (например, масоном был член 1-го Интернационала Бакунин [49]). В отличие от своих западноевропейских родственников российские монархи более строго относились к христианскому смыслу царского служения, да и призвание православной России ощущалось ими на ином пути.

Однако в то же время, как отмечает П. Шевалье, «за исключением российского самодержавия, масонство могло себя поздравить с признанием и принятием на всей планете. Даже католические страны южной Европы — Португалия, Испания, Италия, — где преследования не пощадили орден... в 1914 г. увидели расцвет Великого Востока и Высшего Совета». Понятно, что «белое пятно» России на масонской карте мира не могло не привлечь внимания зарубежных масонов. А их активность как раз в эту эпоху была поразительна — особенно это характерно для французского атеистического масонства, с которым было связано русское: «после революции 1905 г. масонство смогло привить ложи и на русской земле...» [50]. Причем имеется свидетельство [51] одного из воссоздателей масонства, что основные его очаги в России восходят к Великому Востоку и к тому самому гроссмейстеру Лаферу, который объявил в 1904 г. целью масонства «крушение всех догм и всех Церквей».

Еще более возмутительным «белым пятном» Россия была в глазах международного еврейства: Российская империя, где к тому времени находилась самая большая часть еврейского народа (около 6 миллионов), оставалась практически единственным (за исключением небольшой Румынии) государством, в котором существовали ограничения для евреев по религиозному признаку. Поэтому именно в России при поддержке из-за границы наиболее обострились описанные проблемы взаимоотношений между еврейством и христианским окружением.

[49] Dictionnaire universel... P. 114.
[50] Chevallier P. Op. cit. P. 217.
[51] См.: Берберова Н. «Люди и ложи». Нью-Йорк, 1986, С. 188, а также: 18—19, 22—23, 25; Николаевский Б. Русские масоны и революция. Москва, 1990, С. 131.

Борьба международного еврейства за равноправие единоверцев в России началась еще в конце XIX в. и усилилась во время русско-японской войны. А. В. Давыдов (масон 33°), в свое время имевший доступ к секретным документам русского Министерства финансов, отмечает безуспешные попытки царского правительства «прийти к соглашению с международным еврейством на предмет прекращения революционной деятельности евреев». Причем банкир «Шифф признал, что через него поступают средства для русского революционного движения» [52]. С. Ю. Витте упоминает в мемуарах, как при подписании мирного договора в Портсмуте еврейская делегация (с участием Я. Шиффа — «главы финансового еврейского мира в Америке» и Краусса — главы ложи Бнай Брит) требовала равноправия евреям, и когда Витте пытался объяснить, что для этого понадобится еще много лет, — последовали угрозы [53].

Экономическая сторона этой борьбы была, возможно, еще более важной: России были закрыты зарубежные кредиты, в то время как Япония имела неограниченный кредит и смогла вести войну гораздо дольше, чем рассчитывало русское командование. «Encyclopaedia Judaica» объясняет, почему: Шифф, «чрезвычайно разгневанный антисемитской политикой царского режима в России, с радостью поддержал японские военные усилия. Он последовательно отказывался участвовать в займах России и использовал свое влияние для удержания других фирм от размещения русских займов, в то же время оказывая финансовую поддержку группам самообороны русского еврейства. Шифф продолжил эту политику во время Первой мировой войны, смягчившись лишь после падения царизма в 1917 г. В это время он оказал поддержку солидным кредитом правительству Керенского» [54].

Что здесь понимается под «группами самообороны», уточняет издание нью-йоркской еврейской общины: «Шифф никогда не упускал случая использовать свое влияние в высших интересах своего народа. Он финансировал противников самодержавной России...» [55].

О том, как финансовое господство еврейства проявилось в Первой мировой войне, дает представление приводимая А. Солженицыным (в сжатом виде) стенограмма обсуждения русским правительством в августе 1916 г. еврейского ультиматума об отмене ограничений евреям: «...повсюду на Западе (и от внутренних банков тоже) тотчас были обрезаны кре-

[52] Давыдов А. В. Воспоминания. Париж. 1982. С. 223—226.
[53] Витте С. Воспоминания. Москва. 1960. Т. 2. С. 439—440. — Ср.: B'nai B'rith News May 1920. Nr. 9. Vol. XII // Netchvolodow A. L'Empereur. Nicolas II et les juifs. Paris. 1924. P. 58.
[54] Encyclopaedia Judaica. 1971. Jerusalem. Vol. 14. P. 960—961; Vol. 10. P. 1287; см. также Cholly Knickerbocker // New York Journal-American. 1949. 3.II.
[55] The Jewish Communal Register of New York City 1917—1918. New York. P. 1018—1019 // Coston H. La haute finance et les revolutions. Paris. 1963. P. 119.

дить России на ведение войны, недвусмысленно закрыты все источники, без которых Россия не могла воевать и недели. Наиболее ощутительно это сказалось в Соединенных Штатах, ставших банкиром воюющей Европы». Кривошеин предлагал просить международное еврейство об ответных услугах: «окажите воздействие на печать, зависящую от еврейского капитала (это равносильно всей печати), в смысле перемены ее революционного тона...». Сазонов: «Союзники тоже зависят от еврейского капитала и ответят нам указанием прежде всего примириться с евреями». Щербатов: «Мы попали в заколдованный круг. Мы бессильны: деньги в еврейских руках, и без них мы не найдем ни копейки...» [56].

Это уже был выход событий на прямую дорогу к Февралю. Поскольку в подготовке Февральской революции интересы масонства и еврейства совпадали, неудивительно, что ее финансировали и Я. Шифф, и Великий Надзиратель Великой Ложи Англии, видный политик и банкир лорд Мильнер [57]. (Говоря об активности Мильнера в Петрограде накануне Февраля, ирландский представитель в британском парламенте прямо заявил: «наши лидеры... послали лорда Мильнера в Петроград, чтобы подготовить эту революцию, которая уничтожила самодержавие в стране-союзнице.) [58] Своя причина для поддержки революционеров была у Германии и Австро-Венгрии: ставка на разложение воевавшей против них русской армии, но и здесь, по всей видимости, помогали еврейские банкиры, в том числе родственники и компаньоны Шиффа — Варбурги [59].

В 1917 г. из масонов состояли [60]:

— ядро еврейских политических организаций, действовавших в Петрограде (ключевой фигурой был А. И. Браудо — «дипломатический представитель русского еврейства», поддерживавший тайные связи с важнейшими еврейскими зарубежными центрами [61], а также Л. М. Брамсон, М. М. Винавер, Я. Г. Фрумкин и О. О. Грузенберг — защитник Бейлиса, и др.);

— Временное правительство («масонами было большинство его членов» [62], — сообщает и масонский словарь);

— первое руководство Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов (масонами были все три члена президиума — Н. С. Чхеидзе, А. Ф. Керенский, М. И. Скобелев и два из четырех секретарей — К. А. Гвоздев, Н. Д. Соколов).

Сразу же после образования Временное правительство начало разработку декрета о равноправии евреев «в постоянном контакте с беспрерывно заседавшим Политическом бюро», т. е. еврейским центром, — пишет его член Я. Г. Фрумкин. Но «Бюро высказалось за то, чтобы не издано было специального декрета о равноправии евреев — были голоса и за такое решение, — а чтобы декрет носил общий характер и отменял все существующие — вероисповедные и национальные ограничения». После публикации декрета еврейское Политическое бюро отправилось с депутацией к главе Временного правительства кн. Львову и в Совет рабочих и солдатских депутатов — «но не с тем, чтобы выразить благодарность, а с тем, чтобы поздравить Временное правительство и Совет с изданием этого декрета. Так гласило постановление Политического бюро» [63].

То есть Февраль был их совместной победой, в которой большевики практически не участвовали (лишь иронию судьбы можно видеть в том, что приходу Ленина к власти в Октябре косвенно помогли те же масоны Антанты, требовавшие от Временного правительства продолжения войны любой ценой — чем и привели его к краху).

Таким образом, во время Первой мировой войны у России не оказалось в мире друзей, и в то же время, будучи необычным, чужеродным «белым пятном» на карте мира, она притягивала к себе все противодействующие силы: еврейство, масонство, военных противников (Германию и Австро-Венгрию), социалистов, сепаратистов... В западных кругах, помимо политических интересов, существовали и экономические: одна шестая суши с ее природными богатствами была заманчивым призом для «сильных мира сего». В этом сложении самых разных враждебных сил и их интересов и состоял план [64], предложенный Гельфандом-Парвусом германскому правительству.

Дело усугублялось тем — и в этом наш главный грех, — что наиболее активная часть российской интеллигенции была не мудрым водителем нации, а проводником разрушительных идей, слепым инструментом враждебных сил. Никакой глава государства не смог бы этому натиску противостоять политически. Поэтому вряд ли оправданно объяснить катастрофу непроведением реформ — в этом, конечно, тоже была причина, но пассив-

---

[56] Солженицын А. Собр. соч. Париж. 1984. Т. 13. С. 263—267.

[57] См.: Goulévitch A. Czarism and Revolution. Hawthorn, California. 1962. P. 230.

[58] Parliamentary Debates. Hous of Commons. Vol. 91. Nr. 28. 1917. 22 March. col. 2081. — Цит. по: Алексеева И. Миссия Мильнера // «Вопросы истории». 1989. № 10. С. 145.

[59] См.: Germany and the Revolution in Russia. 1915—1918. Documents from the Archives of the German Foreign Ministry. Edited by Z.A.B. Zeman. London. 1958. P. 24, 63, 92; L'Allemagne et les problèmes de la paix pendant la Première guerre mondiale. Ducuments extraits des archives de l'Office allemand des Affaires étrangères. Publiés par André Scherer et Jacques Grunewald. Paris. 1962. P. 137.

[60] Чтобы это увидеть, нужно совместить данные хотя бы из следующих двух работ: Берберова Н. Указ. соч.; Фрумкин Я. Из истории русского еврейства // Книга о русском еврействе (1860—1917). Нью-Йорк. 1960. Правда, нуждаются в уточнении даты вступления в масонство некоторых из членов Политического бюро.

[61] Jüdisches Lexikon. Berlin. 1927. Band 1. S. 1149; Александр Исаевич Браудо. Очерки и воспоминания. Париж. 1937.

[62] Dictionnaire universel... P. 1166.

[63] Фрумкин Я. Указ. соч. С. 107.

[64] Текст см. в сборнике: Germany and the Revolution in Russia... P. 140—152.

ная, а не активная. Когда нужный реформатор появлялся — Александр II, Столыпин, — его убивали представители тех же самых «прогрессивных» кругов, ибо реформы препятствовали их стремлению к «великим потрясениям». Особенно это касается периода столыпинских реформ, которым противодействовали и либеральные, и революционные партии — от кадетов до большевиков. Поэтому также не имеет смысла все сводить к «отсутствию политических способностей» у Николая II.

Свои решения Государь принимал вовсе не под чьими-то влияниями (это сильно преувеличено его противниками). Он был человеком мягким, но не слабым, а скорее даже непоколебимым — там, где ему не позволяли поступить иначе его нравственные принципы. Он не был способен на расчетливый компромисс и интригу. В политике, как и в жизни, он руководствовался чистой совестью, но этот метод не всегда приносил ожидаемые плоды. Характерна инициатива Николая II по созыву первой в истории конференции по разоружению в Гааге в 1899 г. — она, конечно, была обречена на неуспех в мире, в котором назревала схватка за глобальный контроль...

Даже сдержанный Г. Катков, проводя верную параллель с образом князя Мышкина, отметил в личности императора «некий элемент святости», веру «в некую как бы волшебную и неизбежную победу справедливых решений просто в силу их справедливости. А это ошибка, так же, как ошибочно верить, что правда восторжествует среди людей просто потому, что она — правда. Это ложное толкование христианской этики есть корень «нравственного разоружения»...» Отсюда, по мнению Каткова, и «общественные беды» России [65].

Но такой упрек в «разоружении» можно сделать многим святым (и самому Христу)... Вряд ли это уместно, ибо победное значение святости действует на духовном, а не политическом уровне. И оно становится очевидным не сразу. Возможно, на этом уровне для России было бы гораздо хуже не иметь такого Государя... Поэтому возьмем для оценки российской ситуации иную точку отсчета: окружающий мир находился в некоем вопиющем противоречии с такого рода честной политикой, и в лице своего искреннего монарха Россия оказалась еще одним «белым пятном» на карте мира. Оно притягивало к себе все враждебные силы; в него летела всевозможная грязь и клевета (достаточно просмотреть американскую и русскую либеральную печать того времени). В этой беззащитности можно видеть роковую неизбежность революции: честные политические шаги русского царя, продиктованные побуждениями его христианской совести, вели к ускорению катастрофы.

Так, он не мог оставить на произвол судьбы славянскую Сербию — и этим (точным был выстрел в Сараево) дал втянуть себя в войну против монархической Германии, с которой у России геополитические интересы «нигде не сталкиваются», — так писал П. Н. Дурново в докладной записке Государю в феврале 1914 г., предостерегая против англо-французской ориентации. Но именно к этой ориентации издавна толкала пресса, дипломатия (многие послы — в масонских списках Берберовой) и «прогрессивная общественность», продемонстрировавшая в начале войны «патриотический подъем».

Конечно, защитить Сербию было необходимо, и вина Германии за начало войны неоспорима. Однако эта враждебность нагнеталась давно. Как отмечает даже У. Лакер, «пресса в России, как и в Германии, сыграла главную роль в ухудшении отношений между обеими странами... Русские дипломаты в Берлине и немецкие дипломаты в русской столице должны были тратить значительную часть своего времени на опровержение или разъяснение газетных статей. ...Никогда и нигде пресса не имела столь отрицательного воздействия на внешнюю политику, как в России». Газеты публиковали и то, «что оплачивалось теми или иными закулисными фигурами». «Можно быть почти уверенным, что без прессы Первой мировой войны вообще бы не было» [66]. (Правда, Лакер здесь имеет в виду правую русскую прессу. Защищая интересы балканских славян, она действительно далеко не всегда учитывала мировую раскладку сил. Но антинемецкие настроения издавна культивировались и в более влиятельной «прогрессивной» печати. То же было в Германии, где, как отмечал Лакер, «общественное мнение» еще в 1890 г. добилось серьезного успеха в разрыве связей между русской и германской монархиями. Однако дальновидные представители именно правых кругов всегда выступали за союз России с Германией; среди либералов же сторонников такого союза практически не было.)

Уже в ходе войны чувством долга была продиктована (оказавшаяся губительной для России) жертвенная верность Государя союзникам по Антанте, позже предавшим его.

А его непреклонное упорство в еврейском вопросе, восстановившее против России мировое еврейство, объясняется не только стремлением ограничить нараставшее еврейское влияние в общественной и экономической жизни страны [67], но и тем, что Николай II не мог признать достойной равноправия религию с качествами, отмеченными выше А. Кестлером. Государь не мог нравственно принять и той релятивистской «февральской» системы ценностей, которую России ультимативно навязывал окружающий мир. Компромисс царь ощущал как измену по отношению к своему долгу и к христиан-

[65] Катков Г. Февральская революция. Париж, 1984. С. 349—352.

[66] Laqueur W. Deutschland und Russland. Berlin. 1965. S. 57—59.

[67] Дижур И. Евреи в экономической жизни России // Книга о русском еврействе... С. 155—182.

скому призванию России. Поэтому даже отречение царю представлялось предпочтительнее в ситуации, когда «кругом трусость и измена, и обман», — таковы были последние царские слова.

О глубине измены и общественного разложения свидетельствует то, что царя тогда предал почти весь высший генералитет, в том числе будущие основатели Белой армии ген. Алексеев и ген. Корнилов — последнему выпало объявить царской семье постановление Временного правительства о ее аресте (если верить М. С. Маргулиесу и Н. Берберовой, то по инициативе А. И. Гучкова были посвящены в масоны генералы В. И. Гурко, М. В. Алексеев, Н. В. Рузский, А. М. Крымов, А. А. Маниковский, Теплов [68]...). Предали Государя даже члены династии: и тот великий князь, который впоследствии был избран «вождем» на Зарубежном съезде (он потворствовал отречению); и другой великий князь, который в эмиграции принял титул Императора (1 марта 1917 г. он явился в Государственную Думу и предоставил офицеров и матросов своего Гвардейского экипажа в распоряжение революционной власти...).

Разумеется, позже всем им пришлось стыдиться за эти поступки и искупать свою вину, кто как мог. Думается, и миссия эмигрантского императора была бы более успешна, если бы он соединил ее с раскаянием за 1 марта, дав в личном покаянии символ общенационального, а не только настаивал на своих правах. Не в постепенном ли осознании нашим народом своего греха и необходимости покаяния за него заключается внутреннее содержание всего периода коммунистической власти? И не потому ли этот период так затянулся, что это осознание развивалось очень медленно?..

Тогда могло быть два варианта освоения Западом российского «белого пятна»: его включение в общемировую систему целиком или его расчленение на составные части и включение их по отдельности. История распорядилась иначе: ценою огромных жертв Россия, несмотря на свою национальную катастрофу, осталась «белым пятном», за освоение которого внешний мир снова ведет борьбу. Но те силы, которые подготовили Февральскую революцию, к жертвам и разрушениям периода коммунистической власти уже прямого отношения не имеют.

Это сохранение российского «белого пятна» на карте современного мира можно объяснить лишь тем, что хотя в большевистском руководстве и имелось очень много евреев, причины этому были другие, и Октябрь имел уже другое идейное содержание, чем Февраль. Марксизм-ленинизм был не столько прагматически-политическим явлением, сколько утопической «религией» с обратным знаком. Именно этой фанатичной «религиозностью» можно объяснить невосприимчивость евреев-большевиков к западным либеральным влияниям. Их еврейство модифицировалось в особую, интернационалистическую ипостась (лишь изредка обнаруживая собственно национальные черты: как, например, еврейский национал-большевизм Э. Багрицкого в поэме «Февраль»). А постепенное влияние русской почвы, соками которой режим был вынужден питаться, паразитируя на ней (это прекрасно почувствовал Сталин в борьбе за власть против Троцкого и его «старой гвардии»), привело впоследствии к вытеснению евреев из партруководства.

Но в 1920-е годы уникальную идеологию большевистского джинна, выпущенного из бутылки Февралем, многие за границей недооценили: и международное еврейство, полагавшееся на кровную связь с евреями-интернационалистами (неоправдавшаяся ставка на Троцкого); и атеистическое масонство «Великого Востока», угнездившееся в социал-демократических партиях и надеявшееся на идейную родственность с большевиками (не помогла и популярность в СССР масона-коммуниста Андре Марти). Недооценил марксистов-большевиков и правый фланг русской эмиграции, поначалу ничего, кроме этих двух видов родственности — с еврейством и масонством — в них не видевший.

Тем не менее утверждение, будто «жидо-масонский заговор» продолжался в России и после захвата власти большевиками, можно понять на описанном историко-политическом фоне, учитывая перечисленные и новые факторы:

— непропорционально большое участие евреев в революции [69], в советской администрации, в карательных органах — чем выше уровень, тем больше (причем политическое качество их должностей было гораздо важнее их количества); к тому же возглавили страну бывшие эмигранты, контакты которых с людьми типа Я. Шиффа и Гельфанда-Парвуса уже тогда были известны;

— бросалась в глаза помощь большевикам со стороны западного капитала в целом, и особенно американского (с большим участием еврейства и масонства) [70], эгоистически стремившегося с самого начала революции завоевать российский рынок независимо от режима, который в России установится. Здесь важно лишь отметить наличие этого фактора, который не мог остаться незамеченным;

— огромное впечатление на эмиграцию произвело принятие коммунистами пятиконечной звезды — пентаграммы: она «относится к общепринятым символам масонства», имеет связь с традицией каббалы и «восходит к «печати Соломона», которой он отметил краеугольный

[68] Берберова Н. Указ. соч. С. 25, 36—38.

[69] См. сборник еврейских публицистов: «Россия и евреи». Берлин. 1923. (Репринт: Париж, 1978). А также: Бернштам М. Микроб коммунизма или тифозная вошь? // «Вестник РХД». Париж. 1980. № 131. С. 292—294.

[70] См. книгу гуверского профессора: Sutton A. C. Wall Street and the Bolshevik Revolution. New Rochell, N.Y. 1974.

камень своего Храма»[71], — объясняет популярный масонский словарь. Государственные символы всегда принимаются продуманно — у большевиков же это произошло внезапно и без убедительных объяснений. Было ли это тактической приманкой для западных политиков или просто недомыслием, стремлением выглядеть «прогрессивно», иметь модный значок «как у людей»? Во всяком случае, для правого фланга эмиграции этот факт лежал в том же русле, что и использование в США той же пентаграммы в армии, еврейской звезды в государственной и полицейской символике, масонских знаков на американских долларах (правда, в США это было неудивительно);

— был также очевиден союз масонов и коммунистов в Западной Европе, прежде всего во Франции в 1920—1930-е годы, когда они совместно противостояли «национально-клерикальной» и затем «фашистской опасности» (пики этого сотрудничества: победа «картеля левых сил» в 1924 г., что привело к открытию советского посольства в Париже: «народный фронт» в 1935—1939 гг.). Этот союз, как и существование масонов-коммунистов, давали правым кругам повод думать, что то же самое (если не большее) происходит и в СССР.

Чего не было: масонство там было запрещено вместе со всеми некоммунистическими течениями. В 1920-е годы не раз появлялись сообщения о преследованиях масонов в советской России, например, в связи с деятельностью организации «АРА», руководимой масоном Г. Гувером, будущим президентом США. «АРА» (American Relief Administration) оказала немалую помощь голодающим в России, но она, очевидно, заботилась и об идейном окормлении; два сотрудника «АРА» фигурируют в числе организаторов в 1923 г. ложи «Астрея» в Петрограде, у которой было в подчинении еще 6 лож[72], раскрытых большевиками. В числе руководящих членов Всероссийского Комитета помощи голодающим (связанного с «АРА») также были масоны: Е. Кускова, С. Прокопович, М. Осоргин и др., арестованные и высланные за границу — большевики видели в этом Комитете соперничающую «буржуазную» политическую структуру.

Сотрудничество (экономическое, дипломатическое) между большевиками и «сильными мира сего», особенно в годы нэпа, конечно, существовало, но при этом каждая сторона стремилась использовать другую в своих целях. Большевикам была нужна западная техника и дипломатическое признание, а западному капиталу — российские ценности и природные богатства.

Возможно, в довольно пестром советском руководстве поначалу оставался и какой-то узкий «смазочный» слой между теми и другими, на основе прежних связей. Например, масон Ю. В. Ломоносов: сначала он — «правая рука министра путей сообщения» Временного правительства; пробыв в Америке в 1918—1919 гг. (в группе посла-масона Б. А. Бахметева), он «вернулся и работал у большевиков: член президиума ВСНХ»; в 1920 г. под его контролем, при участии фирмы Я. Шиффа «Кун, Леб и К°» и «красного банкира» О. Ашберга, происходил вывоз царского золота в США[73] (как видим, после революции деньги по тому же каналу, но в гораздо бóльших количествах, потекли в обратную сторону...). Но достоверных сведений о принадлежности руководящих большевиков к масонству очень мало.

Е. Кускова утверждала, что в числе масонов «знала двух виднейших большевиков». Н. В. Вольский писал, что масоном был большевик С. П. Середа, будущий нарком земледелия. Секретарь (т. е. глава) масонского Верховного Совета с 1916 г. меньшевик А. Я. Гальперн указал на известного масона-большевика И. И. Скворцова-Степанова, будущего наркома финансов, и на посещение масонских собраний М. Горьким. Собравший эти показания меньшевик Б. Николаевский писал, что в масонскую организацию «входили и большевики, через их посредство масоны давали Ленину деньги (в 1914 г.)». Об этой акции финансирования, «которая встретила положительное отношение Ленина», писал также Г. Я. Аронсон (масон до 1914 г.) на основании опубликованного в СССР лишь в отрывках конспиративного письма большевика Н. П. Яковлева[74]. Г. Катков также отмечает, что имевшие отношение к масонству большевики И. И. Скворцов-Степанов и Г. И. Петровский установили в 1914 г. «по-братски» контакт с масоном А. И. Коноваловым для финансирования большевистской партии[75]. Из книги Н. Берберовой узнаем, что М. Горький был близок к масонам через масонку-жену Е. П. Пешкову и приемного сына, видного французского масона З. А. Пешкова[76] (брата Я. Свердлова). Там же опубликовано свидетельство Е. Д. Кусковой, что Н. И. Бухарин, выступая в 1936 г. перед эмигрантами в Праге, сделал масонский знак — «давал знать аудитории, что есть связь между нею и им, что прошлая близость не умерла»[77]. В один из масонских словарей включен К. Радек, правда с оговоркой, что «его принадлежность к масонству, часто упоминаемая, никогда не была доказана»[78].

[71] Lennhoff E., Posner O. Op. cit. S. 204, 483, 809, 1192—1193.

[72] «Возрождение». Париж. 1926. 2 июля. С. 2; 3 июля. С. 1.

[73] Берберова Н. Указ. соч. С. 137, 170; Sutton A. C. Wall Street and the Bolshevik Revolution. New Rochell. N.Y., 1974. P. 159—161.

[74] См.: Николаевский Б. Русские масоны и революция. Москва. 1990. С. 110, 113, 117, 67, 69, 60, 169—170; «Вопросы истории». Москва. 1957. № 3. С. 176; Аронсон Г. Масоны в русской политике // «Новое русское слово». Нью-Йорк. 1959. 8—12 окт.

[75] Катков Г. Указ. соч. С. 214—215; Ср.: Старцев В. Российские масоны XX века // «Вопросы истории». 1989. № 6. С. 49.

[76] Берберова Н. Указ. соч. С. 148.

[77] Там же. С. 98, 248.

[78] Faucher J.-F. Dictionnaire historique des francs-maçons. Paris. 1988. P. 367—368.

Интересная фигура в этом отношении — Л. Троцкий. Он описывает, как во время заключения в Одессе в 1898 г. в течение целого года усердно изучал масонство, получал соответствующую литературу от друзей, «завел себе для франкмасонства тетрадь в тысячу нумерованных страниц и мелким бисером записывал в нее выдержки из многочисленных книг... К концу моего пребывания в одесской тюрьме толстая тетрадь... стала настоящим кладезем исторической эрудиции и философской глубины... Думаю, что это имело значение для всего моего дальнейшего идейного развития»[79], — признает он. Ссылаясь на это, масонская энциклопедия отмечает, что и к большевизму Троцкий пришел через масонство, но масоном не стал[80]. (Тогда тем более интересно выяснить по советским архивам, почему, обладая «кладезем эрудиции», создатель Красной армии выбрал ее символом пентаграмму.)

Проф. Н. Первушин пишет, что арестованного большевиками в 1920 г. бывшего министра Временного правительства Н. В. Некрасова (секретаря масонского Верховного Совета в 1910—1912 и 1916 гг.[81]) по чьей-то таинственной протекции «освободили и даже допустили к работе в Центральном союзе потребительских обществ в Москве, со значительным повышением по службе». Даже в 1950-е годы Кускова отказала Первушину в опубликовании списка масонов, «так как в Советском Союзе остались члены этой группы и, в частности, в самых высших партийных кругах (!), и она не вправе поставить их жизнь под угрозу»[82] (восклицательный знак Первушина).

Но даже из приведенных примеров следует лишь то, что оставшиеся в СССР масоны скрывали свое прошлое, а не правили страной, иначе бы им никакие заграничные разоблачения не могли быть опасны. После уничтожения Сталиным старой «ленинской гвардии» шансы на то, что на партийных верхах остались масоны, были практически сведены к нулю.

А что касается сотрудничества масонов и коммунистов за границей, даже такой критик масонства, как А. Костон, считает, что «коммунисты не поддерживают ложи, когда те находятся у власти, но они поддерживают масонов в тех странах, где те в меньшинстве, поскольку надеются пользоваться ими в своей борьбе против реакции». Большевики «не собирались служить французским масонам, а пытались использовать их» в своих политических целях: Троцкий надеялся, что приход к власти либералов-масонов «типа Керенского создаст чрезвычайно благоприятные условия для коммунистов»[83]. Тот же Троцкий в 1922 г. на IV Конгрессе Коминтерна отвергал масонство вполне искренне как явление буржуазное, каким оно в сущности и было. Поэтому и произошло совмещение обуржуазившейся части социалистических партий и атеистического масонства; последнее видело в этом способ влияния на рабочие массы для удержания их от крайностей — что понимали большевики, стремившиеся как раз к этим крайностям.

Однако, в отличие от советской России, победа еврейско-масонского союза в Западной Европе была очевидна и впечатляюща. Результаты Первой мировой войны говорили сами за себя: падение трех консервативных европейских монархий (в глазах союзников монархическая «Россия попала как бы в разряд побежденных стран», так как «Мировая война... имела демократическую идеологию»[84],— П. Б. Струве); приход к власти правительств масонской ориентации в Германии и в государствах, возникших на месте Австро-Венгрии и в отделившихся частях бывшей Российской империи; провозглашение «еврейского национального очага» в Палестине. Да и сами победители не скрывали своего торжества, о чем свидетельствует итоговая Парижская (Версальская) конференция 1919—1920 гг., проведенная под руководством масонов и еврейских организаций. Об этой конференции стоит привести несколько цитат из еврейских энциклопедий.

Вот, например, организаторы и участники этой конференции со стороны США: член Верховного суда Л. Брандейс (он же президент Мировой организации сионистов) был председателем американской Комиссии «по сбору материалов для переговоров о мире»[85]. Другая энциклопедия отдает должное «Американскому еврейскому конгрессу, разработавшему предложения для Парижской мирной конференции 1919 г. Члены Американского еврейского комитета Дж. Мак, Л. Маршалл и С. Адлер участвовали в конференции и в значительной степени, благодаря их деятельности и связям, евреям были предоставлены права», которых они хотели. Б. Барух, председатель Комитета военной промышленности США, сначала был «фактически ответственным за мобилизацию американского военного хозяйства»; а затем «работал в Высшем экономическом совете Версальской конференции и был личным экономическим советником президента Вильсона»[86]. Во время войны банковская группа Шиффа кредитовала и Антанту, и Германию; а братья Варбурги поделили сферы влияния, и в то время, как Пауль «имел решающее влияние на развитие американских финансов во время мировой войны», Макс оказывал услуги Германии и затем участвовал в

---

[79] Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Берлин. 1930. 143—147.

[80] Lennhoff E., Posner O. Op. cit. S. 204.

[81] Николаевский Б. Указ. соч. С. 56; Ср.: Аврех А. Масоны и революция. Москва. 1990. С. 143.

[82] Первушин Н. Русские масоны и революция // «Новое русское слово». 1986. 1 авг. С. 6.

[83] Coston H. La Republique du Grand Orient. Paris. 1964. P. 110—111, 179—180.

[84] Струве П. Размышления о русской революции. София. 1921. С. 9—10.

[85] Encyclopaedia Judaica. Berlin. 1929. Band 4, S. 1010.

[86] Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим. 1976. Т. 1. С. 108, 301.

Парижской конференции с немецкой стороны «как специалист по вопросам репараций»[87].

Одним из плодов этой конференции стала Лига Наций, которая «была, в сущности, масонским творением, и ее первым президентом стал французский масон Леон Буржуа»[88]; гордостью за это «творение» проникнуты многие масонские источники. Об этой первой попытке создать мировое правительство в немецкоязычной «Еврейской энциклопедии» сказано:

«Лига Наций, созданная на мирной конференции 1919/1920 гг. ... соответствует древним еврейским профетическим устремлениям и поэтому стоит в определенной духовной связи с учениями и воззрениями евреев... Кроме специальных вопросов... есть две области, в которых судьба евреев формально связана с Лигой Наций: создание еврейского национального очага в Палестине и обеспечение прав меньшинств»[89] (выделено в энциклопедии).

Причем еврейский «национальный очаг» в Палестине впервые был провозглашен в Декларации Бальфура (министр иностранных дел Великобритании, масон), при «непосредственном участии в ее подготовке» упомянутого члена Верховного суда США Л. Брандейса — это произошло в 1917 г., в одну неделю с Октябрьским переворотом в России...

Все это вместе взятое — в том числе случайные совпадения — не могло не произвести впечатления. В 1920-е годы стала чрезвычайно популярной тема «мирового жидо-масонского заговора», якобы целенаправленно действовавшего и на Западе, и в советской России. «Протоколы сионских мудрецов» вышли на многих языках (даже на арабском и китайском); в Англии они были напечатаны в солидном издательстве и обсуждались в английском парламенте.

Обеспокоенная газета «Таймс» (владелец которой, лорд Нортклифф, был большим другом еврейства), сравнивая «пророческие предсказания» «Протоколов» с происходящим в России, писала, что большевистские лидеры — «в большом проценте евреи, образ действий которых соответствует принципам «Протоколов». От «этого жуткого сходства с событиями, развивающимися на наших глазах», «нельзя просто так отмахнуться». Утверждение, что «Протоколы» сфабрикованы русскими реакционерами, «не затрагивает самой сути «Протоколов»; «необходимо объективное расследование», иначе «это питает огульный антисемитизм»[90]...

Только на этом фоне можно понять и последующее трагическое развитие в побежденной и униженной Германии: это была реакция — конвульсивная, слепая, злая, перечеркнувшая собственные духовные ценности — реакция крайне правых сил на победу их противников в Первой войне... И лишь ценою еще одной мировой войны масонству в Европе удалось утвердиться окончательно, а еврейству — создать свое государство...

Их усилия и в промежутке между войнами добавляли новые факты в рассматриваемую теорию заговора. Тот шовинизм, который отметили А. Кестер и Х. Арендт, приобрел новые черты во многих лидерах политического сионизма, стремившихся повторить в Палестине ветхозаветные «войны Яхве». В. Жаботинский прямо утверждал расовое превосходство евреев «детализированной расовой теорией, развитой им в ряде статей» (например: «Раса», 1913). Ш. Авинери обращает внимание, что «в год прихода нацистов к власти в Германии Жаботинский пишет в подобном же духе в брошюре под названием «Лекция по еврейской истории», изданной организацией Бейтар на идише в Варшаве (1933)»[91].

Заметим, что В. Жаботинский тогда же, в 1932 г., вступил в масонство, но пробыл в ложе недолго[92]. Видимо, потому, что свой собственный «орден» — Бейтар — увлекал его больше. В статье «Идея Бейтара» (1934) Жаботинский ставит этой военизированной еврейской организации такую цель: «...превратить Бейтар в нечто вроде мирового организма, такого, который будет способен по знаку из центра в тот же миг осуществить всеми десятками своих рук одно и то же действие во всех городах и государствах»[93]...

Вторая мировая война дает новые совпадения, впечатлившие сторонников «единой тайной руки» союз демократий и тоталитарного СССР как в войне, так и в создании еврейского государства... Лишь испуг Сталина перед симпатиями собственных евреев к Израилю и начавшиеся антиеврейские чистки в советском руководстве в конце 1940-х годов заканчивают этот период совпадений, ставя все на свои места: начинается холодная война... Удивительно, что Дуглас Рид и после этого, уже в подавлении Венгерской революции 1956 года, находил «продолжение еврейско-талмудистского руководства революцией в ее центре в Москве»[94].

В наши дни, ретроспективно, можно лучше понять происходившее в России в промежутке между мировыми войнами, в том числе причины и движущие силы революции. Но в те годы часто приходилось судить по отвлекающим внимание внешним признакам, причем ни Запад (затушевавший свое предательство России), ни большевики (приписавшие все революционные лавры себе) не были заинтересованы в объективном анализе происшедшего. (Возможно, именно этим объясняется замалчивание масонской темы в

[87] Jüdisches Lexikon. Berlin. 1930. Band IV/2. S. 1331, 1329.
[88] Mariel P. Les Francs-Maçons en France. Paris. 1969. P. 204.
[89] Jüdisches Lexikon. Berlin. 1930. Band IV/2. S. 1225; Band I. S. 1137.
[90] The Times. London. 1920. 8.V. P. 15;

[91] Авинери Ш. Основные направления в еврейской политической мысли. Израиль. 1983. С. 237, 239.
[92] Берберова Н. Указ. соч. С. 125—126.
[93] Цит. по: Авинери Ш. Указ. соч. С. 245.
[94] Рид Д. Спор о Сионе. Иоганнесбург. 1986. С. 420.

советской школе и историографии, что просто удивительно в сравнении со значением масонства в формировании западного общества.)

Поскольку из этих событий вырастает вся история XX века вплоть до наших дней, то и сегодня мало кто заинтересован в объективном анализе. Это приводит, с одной стороны — к крайности чернобелых трактовок, с другой — к отметанию всей проблемы как «черносотенного мифа». Поэтому даже на основании безупречных источников трудно писать на столь табуированную тему в столь телеграфном стиле — где каждый факт заслуживает отдельной книги. На эту психологическую трудность жалуются многие видные историки, обставляя даже несомненную информацию осторожными амортизаторами-извинениями. Тем же, кому все это кажется «черносотенным мифом», следует заглянуть хотя бы в указанные источники, в еврейские и масонские энциклопедии по всем затронутым темам, событиям, именам — сводя информацию воедино. Многое, конечно, еще предстоит уточнить тем исследователям, которые (хочется надеяться) получат доступ к документам в архивах.

Приведенные примеры относятся к прошлому, но в них содержится постоянный психологический элемент: тайная организация масонов (в их числе длинная вереница президентов США) всегда будет вызывать подозрения, а еврейское влияние в мировой политике и прессе невозможно скрыть. Впечатляющих фактов много и в наши дни.

Главное же, что часто упускается при анализе этой проблемы: рассматриваемый «заговор» есть часть общего энтропийного процесса Нового времени, который и раньше не исчерпывался орденскими или национальными рамками. Проблема заключается в дехристианизации мира, в его отпадении от Бога — в апостасии. В этом секулярном русле лежат и Реформация, и Просвещение, и масонство, и марксизм, и большевизм. И в этом духовном процессе виноваты не масоны или «малый народ»: они не только его участники, но и его продукт. Поэтому-то и соединялись в этом русле усилия всех этих течений: это было естественным проявлением их духовного родства, сущность которого часто оставалась вне их сознания. В том числе — вне сознания всего еврейского народа, активно и по-разному участвовавшего в этом процессе. Только в рамках христианской историософии можно понять судьбу евреев во всех ее проявлениях, ставшую религиозной осью человеческой истории.

Основной водораздел в спорах о теории «мирового заговора» заключается в том, что считать здесь первичным: духовный процесс апостасии и саморазложения человечества, в котором возникают соответствующие деструктивные организации; или же тайные организации, которые вызывают этот процесс.

Очевидно, все дело в том, где искать первоисточник зла, действующего в мире. С христианской точки зрения, это зло заключается не в человеке, а в более мощных силах, противоборствующих замыслу Божию о мире и воздействующих на человека, пользуясь его свободой воли.

В эмигрантских спорах о масонстве Н. Бердяев, беря для оценки правильный духовный масштаб, верно писал, что силы зла в мире могут «действовать разнообразными, не непременно организованными и централизованными путями», то есть нельзя все зло в мире сводить к политическому заговору. Он правильно упрекал правые круги, что они упрощают проблему, относя этот вопрос «целиком к сыскной части, к органам контрразведки»[95]. Но при этом он сам упускал из виду, что эта заговорщическая сторона тоже имеется, и не принимать ее во внимание — тоже упрощение. Ведь невозможно отрицать, что единомышленникам свойственно образовывать организационные структуры. То есть зло в мире может действовать именно разнообразными путями, в том числе и организованными (даже если члены таких организаций не осознают себя инструментами зла).

Здесь мы имеем два взаимосвязанных уровня — духовный и политический, — питающих друг друга с той или иной степенью сознательности действий участников. Ключ к проблеме — в ее рассмотрении на этих разных уровнях, которые не следует смешивать или сводить проблему только к одному из них. То есть под влиянием сил зла, действующих в мире, происходит злоупотребление человечества своей свободой и бессознательное саморазложение общества. Но внутри этого процесса для какой-то части политиков и властителей ставка на свободу может быть инструментом сознательного разложения общества до атомизированного, духовно ослабленного состояния — для господства над ним.

Поскольку подобные организационные структуры действуют скрыто — трудно судить об их истинных замыслах и о масштабе их влияния. Но существование их несомненно. Они хорошо просматриваются в отношении масонства и еврейских банкиров к России в годы революции — их целенаправленную координированную деятельность правый фланг имел все основания воспринимать как политический заговор. Левый фланг не в силах отрицать эти факты, ему лишь остается считать этот заговор «прогрессивным»...

В столь сложном мире пришлось русской эмиграции бороться за самосохранение. Значительная часть ее — осознанно или интуитивно — пыталась понять и сохранить русское духовное призвание в чуждом окружении, где многие либералы (а не только масоны и еврейские финансисты) разделяли те же антихристианские идеи. Только, к сожалению, эта борьба нашими эмигрантами не всегда велась с должным пониманием ее духовного масштаба.

[95] Бердяев Н. Жозеф де Местр и масонство // «Путь». Париж. 1926. № 4. С. 183—187; репринт см.: «Новый мир». Москва. 1990. № 1.

Летопись России: история в лицах

ЮРИЙ ЛОЩИЦ

ДВЕ ЛЮБВИ

ПОЧЕМУ так трудно начинать почти всякий новый труд? Что держит человека: боязнь неудачи и прилюдного срама? Или обычная лень, изворотливая настолько, что она-то сама и внушает боязнь неудачи и срама?

В ком из нас не сидит евангельский «злой раб ленивый», зарывающий полученную деньгу в землю, якобы для лучшей сохранности? Но каждому — догадываемся или нет — свойствен и «страх Божий», то есть, для данного случая, совестливое опасение, чтобы начинаемый труд не оказался пустым, напрасным, а то и вредным своими последствиями.

И потому, принимаясь за новое, необычное дело, человек почти всегда испытывает борения: то в жар его кидает, то в холод, то он исполняется отвагой, то сникает, подозревая в себе полную ничтожность; бессилие опутывает его липкой паутиной; мысль позорно, как в бредовом сне, спотыкается раз, другой и десятый все о ту же первую ступеньку... Кто не испытывал такого хоть однажды, тот еще не жил.

У наших древних было хорошее средство одолевать такие борения: они никогда не начинали труд, не благословясь. Вот и киево-печерский монах Нестор, первый великий писатель и историк Древней Руси, приступая к рассказу «о житии преподобного отца нашего Феодосия, бывша игумена монастыря сего», начал так:

«Господи, благослови, Отче!»

* * *

Мать узнала о случившемся лишь на третий день после того, как паломники, вместе с сыном ее Феодосием, ушли из Курска. И тут же кинулась в погоню. Похоже, она действовала не хуже воеводы, настигающего в поле ворога. А калики, похоже, решили, что это какой-то мужик полоумный гонится за ними и орет благим матом. Голосок-то у нее совсем ведь был мужичий, низкий и сиплый. Если не видеть, так и не поверишь, что баба. Да и повадками своими она многих испугала: сразу и не сообразили, как вести себя лучше.

Будто зверина бешеная, накинулась на подростка, схватила за космы, повалила наземь, стала пинать ногами, куда попало — по спине, в ребра, в бока. А он сжался в комок и молчал, только вздрагивал. Никогда ведь так прежде не била. Будто всю душу хотела выколотить из него. Но больней, чем удары, обжигал его стыд перед паломниками. Еще минуту назад шли себе мирно, с молитвой на устах, как и положено идти в Палестину, ко Гробу Господню. Если бы он хоть словом заикнулся в Курске, что у него такая матушка, ни за что бы не взяли его с собой. Выходит, он и ее, и их обманул, обманом захотел попасть в Святую землю.

А она и их, паломников, облаяла, оплевала с головы до ног бранью. За то, что лестью сманили со двора, считай, выкрали, охмурили посулами и лживыми баснями... Пускай своих нарожают и ими распоряжаются. А это ее родное, кровное, если захочет, то сама и разорвет на куски, но никому не отдаст... И еще, и еще показывала, как она его любит-то — ногами, ногами, ногами, пока не запыхалась, не выдохлась, не зашаталась, как пьяная.

Но и теперь не перестала его срамить: окрутила веревками, захлестнула ими туго-натуго и в таком позорном виде потащила на поводу домой, как отбившегося телка.

Нет, он еще не знал, на что она способна. Дома, где и стены родные помогают, с еще большей жестокостью принялась калечить дитя родимое, вколачивать в не-

---

ЛОЩИЦ Юрий Михайлович родился в декабре 1938 г. в селе Долинское Одесской области. Выпускник филологического факультета Московского университета. Читателям хорошо знаком по ряду книг, вышедших в серии «Жизнь замечательных людей — «Григорий Сковорода», «Дмитрий Донской», «Гончаров». Живет в Москве.

го кулаками и ногами любовь свою небывалую. Уж так-то старалась, что и за нее страх брал: не помешалась ли матушка? Или мерещилось ей, что это в нем самом засел бес, отвращающий сына от любящей родительницы? И не сына она колотила, а самому тому бесу метила по шее, по щекам, в живот?.. Насилу отдышалась после расправы. Стеная и охая, замкнула его в клети на все запоры. Ушла неведомо куда.

Было время Феодосию подумать о случившемся. Двое суток сидел взаперти, без еды и питья, прислушиваясь к побитым местам, к ошеломленному звону крови в голове... Раньше, когда был жив отец, она так не распоясывалась. А теперь все хозяйство на ней, и немалое: городская усадьба да земли на селе. В том ее правда: не для себя же она с покойным мужем все добро копила, но для детей, а дитё старшее нос от дома воротит и добра того не ценит. Или они его в церковь не пускали? Или на ученье денег жалели? Или сами ходили в нехристях? Нет, все как у людей. А ему, вишь, неохота, чтобы все как у людей. Мальчишки на праздник бегают по улицам нарядные, этого же не уговоришь переодеться из рванины в чистое да красивое. Только мать позорит, будто она его силком в черном теле держит. Поиграй с мальцами, пошали, как все! Вырастешь — не до того будет. Нет, упрется, насупится, лоб выставит, у-у! — так бы и расшибла лоб тот бычкастый. Все ведь назло родной матери. А то еще надумал со смердами в поле черную работу тянуть. Хо-орош, хозяин! Тогда-то она его в первый раз и вразумила по-настоящему. А он, нет чтоб пореветь да повиниться, молчал — бесенок. Мать за него ревела. Его бьешь, а самой больней. Словом, наказание Господне, прямой растет у нее святоша. Ну, да ничего, яйца курицу не станут учить...

Через два дня она чуть не силком его накормила, но, боясь, как бы снова не утек, нацепила ему на ноги железные оковы. Так он и гремел по двору теми железами, пока вконец не вымучил ей любящее сердце. Разрыдалась, в ноги ему пала, стала те обручи лобызать, просить прощения за побои и срам. Она ведь любой стыд на себя примет, любое наказание понесет, лишь бы он не оставлял ее, потому что нет у нее никого дороже на свете, не житье ей без сыночка родименького.

И Феодосий сжалился, сказал матери те самые слова, которые жаждала услышать: как он теперь при ней, так и будет, никуда больше не уйдет.

И она тут же разомкнула на его щиколотках тяжелые скрепы. Иди, куда глянешь, делай, что любишь.

А ему полюбилось печь просфоры для церковных нужд, потому что знал: в иные дни просфор столько не допекалось, что даже не могли в городе служить божественную литургию. И, кажется, тут уж все были довольны, — и церковный причет, и нищие, которым раздавал вырученные от продажи просфор деньги, и сам он, а главное, мать. Целых двенадцать лет не подавала она виду, что тяжко ревнует его к невиннейшему этому и чистейшему занятию — печению просфор. Но, наконец, возроптала: ну, что он так позорит ее? весь город над ним смеется; возится, будто старуха какая, в тесте, весь в муке и саже. И как ни убеждал мать, как ни внушал ей, что занятие его чистое, благое и, надеется, богоугодное, потому что и сам Христос назвал хлеб своей плотью, она только на время смирялась. Чаще и чаще возобновлялись у нее приступы гнева, и опять принялась рукоприкладствовать.

Он не вытерпел, сбежал в другой город, нашел там приют у священника. Но, конечно, был без труда обнаружен ею, избит, притащен домой, и снова держала его в затворе.

Что есть любовь родительская? Да и любовь ли это или рабство? Или похоть материнства? Так бы, кажется, и держала его всю жизнь под подолом, как злая квочка цыпленка. Но, кажется, и птицы, и звери поступают разумнее, чем она.

Разве такою любовью любила Сына своего Божья Матерь? Да Ее почти не видно и не слышно в Евангелии: только при зачатии, рождении и при смерти Сына — в образе сначала Умиленной, а затем Скорбящей Тишины. Матерь Божия, Ты у нас — Тишина. Мир никогда не узнает, не услышит Твоих попреков и укоров, ропота и сетования — во все тридцать три года земной жизни Сына. Твоя любовь к Нему — смиренная Тишина, полнейшее и добровольное самозабвение во имя Сына. Потому что Ты сразу поняла: не Ты — причина и цель любви, а Он. И, значит, не Он для Тебя, но Ты для Него. И лишь тогда мать смеет сказать про себя: я люблю... Пусть Он не вспомнит обо мне ни разу за всю жизнь, хотя и знаю, что это не так, пусть Он учит людей, что нужно отпрянуть от отца и матери, от земной родительской любви во имя любви небесной, но я все равно буду любить, сокровенно и полно, в тишине и избытке, во сне и в яви, ибо Дитя больше Матери и прежде Матери...

А разве сам Сын не любил Мать Свою, разве не вспоминал Ее, восходя на Голгофу, разве не поручил ближайшему из учеников, юному Иоанну, чтобы тот заботился о Ней до самой Ее смерти? И не смертью вовсе стала Ее кончина — Успением. Сын пришел к одру Ее упокоения и принял Ее на руки, — не почившее старое тело, а детскую светлую и тихую душу материнскую, и понес этого любимого ребеночка на небо... И русскому человеку сразу лег на сердце этот праздник — проводы материнской души на небо, святое Успение. И стал любимым праздником на Руси. И именем множества храмов. Потому что люди почувствовали: в Успении торжествует любовь Сына к Матери. Здесь в отношениях Сына и Матери все окончательно ставится на свои места, все восполняется по справедливости и итожится навечно. Сын полной мерой — божественной и человеческой — на любовь отвечает любовью, принимает на руки, как дитя, Ту, что когда-то носила Его под сердцем и на руках. В сиянии вечности поднимает Ее надо всем земным, тлен-

ным и мимоидущим, относит в незыблемый круг любви небесной.

...И стал Феодосий искать выхода из того тесного и душного закута, в который замыкает его обуянная ревностью мать. Она стреножила его опять железами, чтоб никуда не мог вырваться. А он приглядел себе другие цепи — те, что приковывают человека к самому Христу: стал тайно носить под одеждой железный пояс — вериги. Чтобы ежеминутно, во сне и в яви, напоминали ему о той Любви, которая помогает вытерпеть материнское беснование. Цепи впивались в тело при каждом неосторожном движении, даже при сильном вдохе, и рубаха от тех язв набухала сукровицей... Будто лютый пес, выгрызает в его нутре все-все соблазны земные.

Конечно, рано или поздно она должна была обнаружить... Ну зачем же, сынок, зачем? Ну что ты еще удумал, глупенький? Разве мало тебе, что чаще других ходишь в церковь, печешь свои просфоры и вечно молчишь, занимая ум свой молитвами, зачем же еще и тело свое несчастное тиранишь? Разве где Христос приказывает нам носить на себе железа? Не Он ли учит, что бремя Его легкое? А ты что? Разве это не гордыня пред всеми остальными? Не от Бога ли дана людям заповедь: «Плодитесь, размножайтесь»? И разве ты калека какой? Жил бы всем и себе на радость, порадовал бы и меня внучатами...

Сказала бы она так, он, может, и устыдился бы, и послушался ее советов. Да где там! Заметив однажды бурые пятна на его рубахе, мать повалила Феодосия, принялась в ярости рвать руками пояс, скользкий от хлынувший крови. Не человек — тяжелая лютая медведица, прыгающая на ворога своих чад.

И он после того уже твердо решил про себя: уйдет. И так уйдет, чтобы она уже не нашла. «Если кто не оставит отца или мать и не последует за Мной, то он Меня не достоин».

Нестор в «Житии Феодосия» приводит одну трогательную подробность бегства, которую современники могли узнать, конечно, лишь от самого печерского игумена. Юноша надумал идти в Киев, чтобы попроситься в какой-нибудь из его монастырей. Но дороги не знал. На его счастье попался в пути обоз торговцев, шедших как раз в стольный город. Но, боясь погони (мать накануне его ухода на несколько дней отлучилась в сельское свое имение), он и от купцов держался на порядочном расстоянии, стараясь лишь не терять их из виду. По ночам, когда они разводили костер и кашеварили, он сидел вдали, глядя на огонек, окруженный тьмой, будто заранее испытывал себя одиночеством и мраком, холодом и голодом. И ночными настораживающими звуками, про которые нельзя было сразу понять: от кого или от чего исходят? И поглядывал, ежась от предутреннего ветра, на восток: скоро ли набухнет небо серой наволочью, забрезжит бледно-розовым краешком?

Так начиналось русское монашество. Так занималась его заря. Если бы Феодосия приняли в один из благоустроенных городских монастырей многолюдного Киева, его имя, скорей всего, затерялось бы в местных синодиках и уже через два-три века ничего не сказало потомкам. Но он и в стольном Киеве нашел, казалось бы, невозможное. Нашел то, что потом по всей нашей земле находили и осваивали почти все великие воины русской монашеской дружины. Нашел пустыню. Нашел предельные испытания для духа и плоти, потому что пустыня была в стороне от города, на диком тогда, почти никем не навещаемом лесном берегу Днепра. Нашел пещеру и жившего в ее холодном нутре учителя-пустынника.

Его звали Антоний. С тех пор эту двоицу, Антония и Феодосия, почитают как родоначальников и законодателей русского монашества. Вместе изображают их на иконах, вместе поминают в церковных песнопениях. Антоний был старше, опытней, к тому времени он уже побывал на Афоне, где изучил монашество греческое, болгарское, грузинское, а по книгам и преданиям — опыт иноков Сирии, Палестины, Египта. Это знание вошло в его подвижнический обиход как свое, глубоко врезалось в морщины землистого лица, как будто он уцелел и вышел от тех тысячелетней давности времен, когда первохристиане просачивались со свету в подземелья, подобно каплям воды и шепотом тут пели и ждали с часу на час последнего суда... Земля еси и в землю отыдеши... Не было еще такого, чтобы в земле кому-то места не хватило. Пусть войдет всяк новичок, если не боится. Тут стоит великая тишина, которою человек испытуется. Тут слышно, как око шевелится в глазнице и как волос падает с главы, тут каждый недобрый помысел в человеке слышен, будто грохот в тучах. А Феодосий вошел в эту тишину с благодарностью и вздохом облегчения, — она укроет его навсегда и ото всех.

День потек за днем, месяц за месяцем, год за годом, а на четвертом году у входа в пещеру объявилась мать.

Она победила. Она нашла свое, совершила то, что невозможно ни для кого, кроме матери. Столько лет потратила на это: наказывала множеству людей, чтобы сообщили, если кто увидит его или что о нем услышит. Назначила большую плату тому, кто укажет на точный след. До конца уверена была, что все, как и прежде, будет по ее, а не по его воле. Невероятно! Тычась почти вслепую, хватаясь за всякий слух, за всякую недомолвку, она все же вышла прямо к этой пещере; вот уж, право, всем матерям мать: почти с того света извлечет теперь сына.

Годы и ее по-своему умудрили. Боже упаси, понимала она, дать сейчас вырваться наружу ярости. Это на потом она оставит, иначе все насмарку пойдет. Тихими уветливыми просьбами, горькими слезами, голосом убогой, всеми кинутой нищенки вдруг легко расположила она к себе доверчивого старца Антония, и он тут же пообещал, что попробует уговорить ее сына, который, правда, никогда ни к кому

не выходит, чтобы тот завтра нарушил правило.

Но Феодосий, узнав о приходе матери, наотрез отказался встречаться. И куда только делись ее мудрость и тихость! Антоний смутился, увидев перед собой совсем другую женщину — угрожающую, властную, необузданную. «Изведи мне, старче, сына моего, — требовала она, — дай его увижу! Жить не буду, коли не увижу! Пусти мне сына, а то умру не по-людски. Сама себя погублю вот тут, у пещеры, коли не покажешь его».

На языке современном такие доводы обычно расцениваются как заурядный шантаж. Но старец, видимо, вовсе не был знаком с подобными приемами. Он растерялся и снова ушел уговаривать ученика.

Она умела ждать. Знала, что добьется своего, как и раньше. Своего никому не отдаст. Он — ее жаркого чрева плоть, а не этой вот затхлой земной утробы.

И он, наконец, сдался, вышел.

Но когда увидела его, поняла вмиг: угрозы и побои теперь бессильны. Не то, что он стал сильнее ее, где уж там. Просто жизнь его преполовинилась, и этот человек ей уже ничем не подвластен. Вся сила ушла от нее к нему, а при ней — только ощущение собственной никчемности. Она не такого рожала, не такого искала. И все же принялась плакать, умолять: пусть все будет по его воле отныне, но пусть он хотя бы ее старость пожалеет, вернется домой и поживет там до ее смерти и схоронит, чтобы все было, как у людей, а потом уж вернется сюда, коли так уж тут ему хорошо...

Так продолжалось несколько дней подряд. Приходила к пещере, проливала слезы, как по покойнику, жалкая, обессиленная, с комом в горле, мешающем говорить. Какая то была пытка для него! Лучше бы разъярилась, избила его. И он неустанно молился за себя и за нее, чтобы одолеть наваждение. И, в свою очередь, умолял: пусть останется в Киеве, ее постригут в женском монастыре, и тогда они будут видеться. Ведь тогда все будет по-другому, потому что она душу свою спасет.

А она как будто и головой согласно кивала, но всякий раз настаивала на своем, и все это было уже просто невыносимо, впору было ему в отчаяние прийти и вместе с псалмопевцем возрыдать над безысходностью семейной распри. Се бо в беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати моя... И она всякий раз своим присутствием как бы напоминала ему: да, да, во грехах породила тебя, и никуда не денешься, никакой молитвой не отмолишься, нету таких молитв. Нету человеку выхода из круга земной грешной любви, она, сынок, сильнее всех твоих мечтаний...

Но вот, когда он почти уже не выдерживал, она приходит однажды и говорит, едва шевеля бесцветными губами: «Исполню все, что ты мне велишь...»

И так исполнила.

Когда дочитываешь до конца Несторово «Житие Феодосия Печерского», остается ощущение великой протяженности во времени, размеренного ритма долгой жизни, которую по заслугам увенчивают духовная мудрость и старческие седины. Но этим ощущением читатель обязан исключительно Нестору, сумевшему поразительным образом «раздвинуть» рамки жизни Феодосия. Потому что на самом деле тот скончался совсем еще молодым, не дожив и до сорока лет (время его смерти известно точно: 3 мая 1074 года; годом же рождения принято считать 1036). И в монастыре он пробыл не так уж долго — всего около восемнадцати лет. И лишь на год пережил своего духовного наставника Антония, — тот скончался, действительно, в глубокой старости, девяностолетним.

Когда Феодосий родился, Киев еще лишь обретал облик столицы православной державы. Еще даже не было начато строительство каменной Софии. Вспомним, что на ту пору не прошло и полувека со времени Крещения Руси. А когда игумен Феодосий умирал, в его монастыре только-только возводились стены знаменитого в будущем Успенского собора.

За три года до кончины Феодосия в Киев безбоязненно пожаловал некий волхв и смущал людей всякой околесицей: обещал, в частности, что Днепр вскоре вспять потечет и вообще земли начнут перемещаться: Греческая-де земля окажется на месте Русской, а Русская — на месте Греческой. В ту же самую пору, как свидетельствует «Повесть временных лет», волхвы мутили воду не только на Днепре, но и в новгородских пределах, на Шексне. А также на Волхове, где с языческими жрецами сурово расправлялся воевода Ян Вышатич.

Время Феодосия — пролог христианства на Руси. Его пора — молодость русского монашества, если только к понятию «монашество» вообще применимо это слово: молодость. Потому что монах, по роду призвания своего, обязан подводить итоги жизненного опыта — своего и всех предшествующих поколений христиан. Когда его постригают, весь возраст христианства налагается на его плечи. И он становится старше любого из нас — на все века монашества. По крайней мере, призван, определен быть старше.

Похоже, мать Феодосия, когда выклянчила, наконец, чтобы тот вышел к ней из пещеры, вмиг поняла смысл случившейся перемены: за эти годы, что она его разыскивала, он не просто сильно изменился внешне, — он сделался невероятно стар, старше земли, из которой сейчас вышел к ней. И поняла сразу свою обреченность, хотя долго еще не хотела смириться.

Мы видели, скольких взаимных мук стоила эта в ней перемена. Наивно думать, что отношения Феодосия с матерью были для тех времен чем-то исключительным. Скорее, они были обыденностью духовной жизни русских людей нескольких поколений. Об этом, кстати, и Нестор в том же самом житии красноречиво свидетельствует. Сразу вслед за рассказом о матери и сыне. Не одна она приходила в Печеры, чтобы «свое вернуть». Один из молодых постриженников, насильно облаченный снова в прекрасные светские одежды и отвозимый в Киев, по дороге бросается

в лужу, чтобы измарать ненавистный ему теперь кафтан. Киевский князь, настаивая на возвращении в город новых печерских послушников, даже велит посадить в затвор игумена монастыря (до игуменства Феодосия). И лишь встретив твердый единодушный отпор всей братии, грозящей уходом в другую землю, князь вынужден отпустить игумена и схваченных вместе с ним молодых монахов. Они же возвращаются в пещеру, как «храбри от брани, победивше супостата своего врага».

Сравнение монаха с воином, побеждающим в битве, кажется древним, как само монашество. Но каждое из таких испытаний оказывалось единственным в своем роде, монашество постоянно обновляло себя в борениях.

От мук, пережитых подростком, юношей и затем молодым монахом Феодосием, почти полтора века отделяют юность другого великого подвижника славянского мира — Саввы Сербского. И Феодосий, и Савва стали первыми святыми иноками своих Церквей и своих народов, «отцами монашества» — один на Руси, другой в Сербии. Судьбы их схожи и в том, что и для Саввы стяжание веры началось с отказа от обычной, «как у всех» родительской любви — во имя любви новой, обнимающей и просветляющей собою любовь тварную.

Юношу звали Растко. В доме своего отца, великого жупана Стефана Немани, властителя сербской деспотии Рашка, он рос, что называется, на всем готовом. Уже пятнадцати лет от роду получил в управление целую область отцовой державы. А когда исполнилось ему семнадцать, родители заговорили о женитьбе младшего сына. Растко из своей области прибыл в отцов дом, встреча была радостной, рекой полилось вино из заповедных подвалов. На исходе многодневного пированья юноша запросился на олений лов в горы. По обычаю, родители благословили сына на молодецкую забаву. Накануне он заслал загонщиков на верх планины. Договорились, что утром будет ждать их под горой.

Загонщики отбыли, вскоре засобирался и Растко со своими дружинниками. Ночевали в условленном месте, на лесной поляне. После обильной вечери на свежем воздухе охотников сморил крепкий молодой сон. А когда на заре очнулись, увидели: нет нигде их господина. Тут же выяснилось, что не один он исчез, недосчитались нескольких слуг молодого Неманича и старого афонского монаха, который, по просьбе Растко, был накануне тоже взят на охоту. Дружина решила вернуться во двор деспота Стефана. Родителей весть об исчезновении сына расстроила страшно. Увидев слезы на глазах госпожи, весь двор предался скорби.

Стефан первым пришел в себя и сообразил, что произошло. Он славился как властелин щедрый, нищелюбивый, но, видать, это про таких, как он, сказано: корми пса, пусть тебя укусит. Монах-афонец, старый пес, охмурил его сына! Когда Растко только приехал к родителям, тут же почти и калугер на дворе объявился. С Афона к Стефану нередко приходили монахи за подаянием для бедствующих монастырей. Этот старик был рус родом и из русского монастыря. Вот как хитро все разыграли старый с молодым! Растко с малых лет обучен грамоте, его к книгам, как муху на мед, тянет. И с калугерами он, с пришлыми просителями, сколько помнится, всегда приятельство водил. Точно, этот последний и охмурил его.

Погоня, спешно снаряженная Стефаном; розыски и поимка беглецов на Афоне, в русском монастыре; тайное, в обход бдительности преследователей, пострижение Растко в монахи, с новым именем Савва; отказ его вернуться домой, — эти и другие события жизни первоиерарха Сербской Церкви описаны древним автором (его звали, как и киевопечерского игумена Феодосием) столь живописно, подробно и захватывающе, что современные исследователи не без основания именуют «Житие Саввы» «средневековым романом». Тут действительно почти и нет натяжки, если иметь в виду, что роман, по жанровому определению, есть сочинение о любви. Сербский Феодосий, подобно нашему Нестору, как раз и писал о двух разных пониманиях смысла и назначения любви. И самое, быть может, поразительное при параллельном чтении обоих житий: сходная развязка. Савва в конце концов тоже уговаривает своего отца принять монашеский постриг. Стефан приезжает на Афон, чтобы вместе с сыном строить здесь сербский монастырь — знаменитый впоследствии Хиландар.

Замечательно, что «Житие Саввы» уже в древние времена стало на Руси любимым не только монастырским, но и домашним чтением, распространилось в великом множестве списков.

Не зря говорится, что считать до двух — это уже мудрость. Именно этот счет до двух содержит в себе основополагающий догмат о двуприродной сущности Богочеловека Христа. Этот же счет мы слышим почти в каждом евангельском стихе, в том числе и в самом трудном задании Христа человеку: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тут уже содержится разделение: на любовь и Любовь. На любовь к самому себе и Любовь к ближнему, а значит, через ближнего — к самому Богу, который есть Любовь. Он ведь не говорит, что любить себя — плохо. Наоборот, плохо не любить себя. Бог сразу пожелал, чтобы человек любил себя, ибо без такой малой натуральной любви никакая жизнь невозможна — ни у растений, ни у зверей, ни у людей. Себялюбие благословлено Богом, как и все остальное, сотворенное им для жизни. И когда подтверждает: «...как самого себя», — то тем самым свидетельствует о правоте и образцовости самолюбия. Но и о его малости, ограниченности. Потому что можно, конечно, прожить на земле и в кругу любви малой. Она ведь все равно пышет из человека, не замыкается на нем одном, даже если бы и захотел он не отдать никому ни капли, ни крошки со своего стола.

Когда мать Феодосия Печерского уверяет себя, сына и соседей, что любит его, то она права хотя бы потому, что однажды народила его, отделила от своего тела, выкормила, одела и обула. Другое дело,

что она никак не хочет смириться с этой «утечкой» себя самой вовне и непрестанно ищет, как бы снова вернуть, присвоить себе отделившееся от нее существо, сделать его чем-то наподобие послушной части собственного тела. Расширившийся было круг малой любви вновь стремится к сжатию, к возвращению в первоначальные тесные пределы натурального себялюбия. Тут замышляется своего рода «поедание» плодов любви. Но, так сказать, символическое, в отличие от множества примеров буквального пожирания детенышей родителями на разных этажах животного мира.

Естественное себялюбие не хочет считать до двух и так далее, но всячески ухищряется закончить счет на единице. На себе единственном. Обеспечивая тем самым лишь минимум жизни. Тогда живое существо рождается и умирает в скорлупе малой животной любви, не ведая об источнике своего бытия — о первой, высшей Любви.

Игумену киевских Печер Феодосию суждено было стать одним из самых ранних на Руси свидетелей, стяжателей и исповедников этой Любви. Он сам возрастал в ее свете, терпя то материнскую брань и побои, то подземный мрак, то капризный нрав киевского князя, то хулу и угрозы христогонителей, засевших в русском стольном граде.

За короткий срок он успел испытать и прожить разные возрасты монашеского века: послушничество, затвор, молчание, учительство. Он не то чтобы переходил из возраста в возраст, из служения в служение; в его удивительном опыте часто совмещались разные возрасты и служения. Уже став игуменом, он мог без всякого колебания отправиться, подобно юному послушнику, на заготовку дров или в пекарню, чтобы месить тесто. Или же на все недели Великого поста, оставив братию, закрывался в пещере. Или принимал на себя подвиг бесстрашного исповедничества, кажется, мало совместимый с ежедневными трудами игумена.

Так, Нестор рассказывает, что Феодосий «нередко вставал ночью и тайно уходил к евреям, спорил с ними о Христе, укорял их и этим им досаждая, и называя их отступниками и беззаконниками, и ожидая, что после проповеди о Христе будет ими убит». Этот поступок невольно воскрешает в памяти мужество первохристиан, одиноких исповедников, окруженных толпами разъяренных врагов.

Или еще пример. В своем «Слове о вере христианской и латинской» Феодосий, обращаясь к киевскому князю Изяславу и желая остеречь его от общения с людьми «латинской веры», говорит: «Не подобает же, чадо, хвалить чужую веру. Если хвалит кто чужую веру, то оказывается своей веры хулителем. Если же начнет непрестанно хвалить и свою веру, и чужую, то оказывается такой двоеверцем, и близок он к ереси».

Это говорилось в лицо князю, который и до, и после общения с печерским игуменом не раз вставал на скользкий путь «двоеверия».

Но и через этот труднейший, опаснейший опыт Феодосий восходил в своем постижении Любви. Ведь это он же говорил, наставляя монахов: «Аще ли видиши нага или голодна или зимою или бедою одержима, аще ли ти будет жидовин, или сарацин, или болгарин, или еретик, или латинянин, или от всех поганых — всякого помилуй и от беды избави, яко же можеши...»

Если можешь. Если это в твоих силах.

Феодосий обладал подобной силой.

И все-таки нельзя напоследок уйти от вопроса, который, наверное, смущает каждого второго читателя этих строк. Да, Феодосий показал русскому человеку путь от любви малой, житейской, эгоистической и малодушной к Любви небесной, божественной. Но сам-то он, отказавшись от малой любви, тем самым, как и всякий монах, прерывал на земле продолжение жизни, не исполнил призыва, прозвучавшего с небес еще в раю: «Плодитесь, размножайтесь...»

Но мы не станем понимать эту Божью первозаповедь буквально. Так ведь и сам Христос, не имевший ни жены, ни детей, собрал вокруг себя в веках великую семью любящих и возлюбленных. И продолжает собирать.

ОТ РЕДАКЦИИ: Израильский публицист Г. Брановер обратился в редакцию, оспаривая аутентичность текста, приведенного в статье А. Казинцева «Я борюсь с пустотой» («Наш современник», 1990, № 11). Текст следующего содержания: «Славные сыны Израиля Троцкий, Свердлов, Роза Люксембург, Мартов, Володарский, Литвинов вошли в историю Израиля. Может быть, кто-нибудь из моих братьев спросит, что они сделали для Израиля? Я отвечу прямо: они непосредственно или посредственно старались уничтожить наших наибольших врагов — православных гоев. Вот в чем заключалась их работа. Этим они заслужили вечную славу!» — со ссылкой на первое зарубежное издание книги Г. Брановера «Возвращение» приведен по газете «Русская жизнь» (от 15 июня 1983 года, с. 7), издающейся в Сан-Франциско (США). Автор статьи, откуда взята таинственная цитата, — граф Аполлон Соллогуб.



Русская мысль

Г. КРЕМНЕВ

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ И РУССКОЕ БУДУЩЕЕ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

«Столетие Леонтьева» (т. е. «русский XX век») — так называлась одна из публикаций этого года, посвященных памяти мыслителя, поставившего перед собой, на первый взгляд, невыполнимую задачу: заглянуть в будущее — России и мира.

Это «будущее» (которое для нас — все еще неосмысленное прошлое, неподъемным грузом мешающее жить сегодня и застилающее наш собственный взгляд вперед — в наше будущее) было предсказано им со столь неправдоподобной точностью, что цитаты-доказательства могут показаться «подложными»:

«Вообразим себе, что лет через 50 каких-нибудь весь Запад сольется (мало-помалу утомленный новыми европейскими войнами) в одну либеральную и нигилистическую республику наподобие нынешней Франции (...). Положим, что и эта форма солидной будущности не может иметь, но так как всякое, хотя бы и преходящее, но резкое направление человеческих обществ находит себе непременно гениальных вождей, — то и эта обще-федеративная республика лет на 20 — 25 может быть ужасна в порыве своем. Если к тому времени Славяне, только отсталые от общего разрушения, но неглубоко по духу обособленные, со своей стороны не захотят (по некоторой благой отсталости) сами слиться с этой Европой, а будут только или Конституционным Царством, или даже и без конституции, только, как при Александре II, монархией, самодержавной в центре и равноправной, однообразно-либеральной в общем строе, то республиканская все-Европа придет в Петербург ли, в Киев ли, в Царьград ли и скажет: «Откажитесь от вашей династии, или не оставим камня на камне и опустошим всю страну». И тогда наши Романовы, при своей исторической гуманности и честности, — откажутся сами, быть может, от власти, чтобы спасти народ и страну от крови и опустошения. И мы сольемся с прелестной утилитарной республикой Запада» (письмо к И. И. Фуделю, 6-23.7.1888).

«Вообразим себе на минуту — что в 81 году торжество нигилистов в России было бы полное. В России республика. Члены дома Романовых частию погибли, частию в изгнании. Монастыри закрыты, школы «секуляризованы». Некоторые церкви приходские так и быть пока еще оставлены для глупых людей.

Чернышевский Президентом; Желябов, Шевич, Кропоткин Министры...» (Гос. лит. музей, ф. 196, оп. I, е. х. 5).

«Коммунизм в своих буйных стремлениях к идеалу неподвижного равенства должен рядом различных сочетаний с другими началами привести постепенно, с одной стороны, к меньшей подвижности капитала и собственности, с другой — к новому юридическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и принудительным корпоративным группам, законами резко очерченным; вероятно, даже к новым формам личного рабства или закрепощения» [1].

«(...и для исполнения особого и великого религиозного призвания Россия должна все-таки значительно разниться от Запада и государственно-бытовым строем своим. Иначе она не главой религиозной станет над ним, а простодушно и по-хамски срастется с ним ягодицами демократического прогресса (родятся такие уроды — ягодицами сросшись)» (письмо к свящ. И. Фуделю, 19.1—1.2 1891).

Подобная зоркость может быть объяснена не столько даже особым даром предвидения, сколько, думается, тем ускользнувшим от исследователей леонтьевского

творчества обстоятельством, что мировоззрение его системно и — внутри себя — продуманно и логично до такой степени, что это позволяет «исчислить» все возможные варианты развития глобальных культурно-исторических процессов (самым трудным и мучительным оказалось определить степень вероятности или, как Леонтьев однажды выразился, «сбыточности» этих вариантов).

Леонтьевская мировоззренческая система — это хитросплетенный и весьма сложный синтез культурологии, государствознания, политологического анализа, историософии, которые все — как к своему увенчанию или концентру всех этих «окружностей» — устремлены к тому, что придется назвать футуро-эсхатологией: все «сценарии» будущего рассматриваются здесь исключительно в виду конца истории, понятого — в полном согласии с христианской ортодоксией — как «неминуемое все-таки светопреставление» (социальные и даже геологические потрясения, ведущие к «всеобщему безначалию», из недр которого родится антихрист; Второе Христово Пришествие и Страшный Суд; преображение вселенной — «новая земля» и «новое небо»).

Действительно, предположив, что история есть «смена культурно-исторических типов» (здесь Леонтьев — шаг в шаг — следует за Данилевским), и допустив, что после романо-германской культуры (вступившей со второй половины XIX века на путь упростительного смешения[2], слияния некогда независимых и самобытных национальных государств в единую все-европейскую федерацию, неминуемо перерастающую в мировое государство) новых типов не будет, Леонтьев рисует такую, изумляющую прежде всего своими подробностями картину всемирного «предсмертного смешения»:

«Однородное буржуазное человечество, (...) дошедшее путем всеобщей, всемирной однородной цивилизации до такого же однообразия, в котором находятся дикие племена, — такое человечество или задохнется от рациональной тоски и начнет принимать искусственные меры к вымиранию (напр., могут только приучить всех женщин перед совокуплением впрыскивать известные жидкости, и они все перестанут рожать (...), или начнутся последние междоусобия, предсказанные Евангелием (я лично в это верю); или от неосторожного и смелого обращения с химией и физикой люди, увлеченные оргией изобретений и открытий, сделают наконец такую исполинскую физическую ошибку, что и «воздух как свиток совьется», и «сами они начнут гибнуть тысячами» (письмо к К. А. Губастову, 15.3.1889).

Хотя все — закономерно и неотвратимо — движется к буржуазно-утилитарной мировой республике[3] (утверждая данный тезис, Леонтьев предельно честен перед самим собой и своими читателями, возможно, именно по этой причине столь немногочисленными), это движение — его-то мыслитель и называет революцией — можно замедлить, задержать, в чем и усматривается суть и главная задача христианской политики. Посему, для Леонтьева, все, что препятствует уравнительно-освободительному процессу, — благо, будь то самодержавная монархия, крепкий сословный слой, крестьянская община, соединение Церквей, мистические секты (понуждающие «синодальное» Православие в России к активному им противодействию) или же «охранительный социализм»[4].

И напротив, ослабление и упадок этих сдерживающих, «задерживающих» начал, торжество «принципов 89 года XVIII столетия» — это, по Леонтьеву (не дерзающему, однако, предрекать конкретные эсхатологические «времена и сроки»), явные и непреложные культурно-исторические знамения «кончины века сего», симптомы все быстрее приближающихся «последний событий» (В. Соловьев).

Парадоксальность леонтьевской позиции[5] заключается в том, что он, по натуре своей страстный боец, является не участником совершающейся у него на глазах — и понятной одному лишь ему[6] — всемирной (но, прежде всего, русской) трагедии, а — по мере сил — беспристрастным (т. е. стремящимся не впасть в самообман, не выдать страстно желаемое... пусть даже за возможное) ее аналитиком; он не столько свидетель, сколько врач, освидетельствующий несомненно больной и старый уже культурно-государственный организм России[7].

Тем неожиданней — голос светлой надежды, звучащий в одной из самых мрачных его работ, предсмертной статье (а по сути — духовном завещании) «Над могилой Пазухина»:

«Мы не осуществили еще в истории назначения нашего; мы можем думать и мечтать об этом назначении весьма различно. Но несомненно и то, что мировое назначение у нас есть; ясно и то, что оно еще не исполнено. (...) Истинно мировое есть прежде всего свое собственное, для себя созданное, для себя утвержденное, для себя ревниво хранимое и развиваемое, а когда чаша народного творчества или хранения переполнится тем именно особым напитком, которого нет у других народов и которого они ищут и жаждут, тогда кто удержит этот драгоценный напиток в краях национального сосуда?! — Он польется сам через эти края национализма, и все чужие люди будут утолять им жажду свою» (Собр. соч., т. 7, с. 417).

Возможно ли (и в какой форме) исполнение этого леонтьевского прорицания и как оно должно быть понято и истолковано?

На эти вопросы каждый должен ответить сам — в меру своего постижения духовного избранничества и мирового предназначения России[8].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. К. Н. Леонтьев. «Собрание сочинений», М., 1912, т. 6, с. 59—60.

2. Исследованию культурологии и историософии Леонтьева посвящены содержательные статьи Т. Глушковой: «Боюсь, как бы история не оправдала меня...» («Наш современник», 1990, № 7) и «Преждевременный Константин Леонтьев» («Домострой», 1991 № 4).

3. С одной стороны, Леонтьев трезвенно (в аскетическом смысле этого слова) констатирует: «Против объединения всех когда-нибудь в одно государство нет никаких указаний. Всемирность религиозная не требует, конечно, космополитических граждан и культур, как думают иные; это вздор; но она и не запрещает их. Христианское учение об этом умалчивает» («Культурный идеал и племенная политика», рукопись, Гос. лит. музей, ф. 196, оп. 1, е. х. 5). С другой же, грозно предостерегает: «Спасемся ли мы государственно и культурно? (...) Если же нет, то мы поставлены в такое центральное положение именно только для того, чтобы, окончательно смешавши всех и вся, написать последнее «мани — фекел — фарес!» на здании всемирного государства...» (Собр. соч., т. 6, стр. 47). Особо отметим явно просматриваемую здесь связь между разрушением русской монархической государственности и темой «валтасарова пира» (Дан., гл. 5).

4. «Я имею некий особый взгляд на коммунизм и социализм, который можно формулировать двояко: во-1-х, так — либерализм есть революция (смешение, ассимиляция), социализм есть деспотическая организация (будущего); и иначе: осуществление социализма в жизни будет выражением потребности приостановить излишнюю подвижность жизни (от 89 года XVIII стол.)» (письмо Л. А. Тихомирову, 20.09.1891). Собственно, только тот, кто знаком с леонтьевской концепцией «охранительного социализма», может по достоинству оценить всю историософскую глубину и серьезность шутки Леха Валенсы: «Социализм — это самая длинная дорога к капитализму».

5. «Мне же, наконец, надоело быть гласом вопиющего в пустыне! И если Россия осуждена, после короткой и слабой реакции, вернуться на путь саморазрушения, что «сотворит» один и одинокий пророк? Лучше о своей душе побольше думать, что я с помощью Бога и старца и стараюсь делать... Моя душа без меня в ад попадет, а Россия как обходилась без моего влияния до сих пор, так и впредь обойдется» (письмо В. В. Розанову, 13.07.1891).

6. «Мирные изобретения (телефоны, жел. дороги и т. д.) в 1000 раз вреднее изобретений боевой техники. Последние убивают много отдельных людей, первые убивают шаг за шагом всю живую, органическую жизнь на земле. Поэзию, религию, обособление государств и быта...» (письмо В. В. Розанову, 30.07.1891).

7. А доживи Леонтьев до предсказанного им с такой точностью 2 марта 1917 года, он, несомненно, констатировал бы «летальный исход», все дальнейшее — по логике этого предположения — представляется «постисторической отсрочкой». (Причем было бы неверно — вслед за П. Б. Струве — утверждать, что коммунисты исполнили леонтьевскую мечту «подморозить Россию»: Леонтьев имел в виду нечто иное; кроме того, и сама сегодняшняя «разморозка» — как ни относиться к этому процессу — это все же «легализованное разложение» России после-мартовской.)

8. От себя укажем (помимо, естественно, «Великой Дивеевской тайны») на пророчество преп. Серафима о «помиловании и спасении России (...) в последних годах 20-го столетия» («Русский Паломник», 1990, № 2, с. 96), а также на древнее византийское пророчество о «последнем василевсе» (см. В. М. Истрин. «Откровение Мефодия Патарского...», М., 1897) и — в связи с этим пророчеством — на рассказ об «Императоре Михаиле» в 1-м томе «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына. И последнее прорицание. Вячеслав Иванов, 1917 год, 11 ноября (ст. ст.):

Знаю, Господи, — будет над Русью чудо:
Узрят все, да не скажут, пришло откуда.
И никто сего чуда не чает ныне.
И последи не сведает о причине.
Но делом единым милости Господней
Исхищена будет Русь из преисподней.
Гонители, мучители постыдятся;
Верные силе Божией удивятся,
Как восстанет дивно Русь во славе новой
И в державе новой, невестой Христовой.
И вселенной земля наша тем послужит;
А Сатана изгнан вон, горько востужит,
Что одолеть не силен ее твердыни,
Божии не горазд разорить святыни,
Но своею же победился победой.
Кто верит вести, слово другим поведай.

* * *

Последняя крупная публицистическая работа К. Н. Леонтьева — «Кто правее? Письма к Владимиру Сергеевичу Соловьеву» (1890—1891) — посвящена принципиальному спору с философом П. Е. Астафьевым (1846—1893), точнее, с двумя его статьями: «Национальное самосознание и общечеловеческие задачи» («Русское обозрение», 1890, № 3) и «Объяснение с г. Леонтьевым» («Московские ведомости», № 177, 29.6.1890). Эта работа была напечатана лишь в 1912 г. в составе 6-го тома леонтьевского Собрания сочинений. Однако при публикации две главы (по нумерации рукописи — 3-я и 4-я) оказались не напечатанными; эти главы, по предположению исследователей леонтьевского наследия, должны быть помещены после «письма 3-го» (по нумерации Собрания сочинений: т. 6, с. 305). Рукопись статьи сохранилась (Гос. лит. музей, ф. 196, оп. 1, е. х. 6 и 7). Одна из этих глав публикуется впервые — в том виде, в каком сам Леонтьев подготовил текст для издания (не состоявшегося по вине Соловьева).

Спор с Астафьевым, начавшись с, казалось бы, недоразумения (обвинения леонтьевской статьи «Национальная политика как орудие всемирной революции» в нападении на национальный идеал и национальное начало вообще) постепенно перерос в подробное обсуждение тех вопросов, которым посвящен главный теоретический трактат Леонтьева, к которому он неоднократно возвращается в работе «Кто правее?», — «Византизм и славянство» (1873 — 1875). Суть этих проблем можно выразить кратко так: всемирная ассимиляционная революция и все, что ей противостоит (национальное начало, понятое не как племенной «суверенитет», а как культурная самобытность; крепкая государственность с элементами «совестливого» деспотизма; «старое», «филаретовское», «афонское», греко-российское Православие).

В 1890 г. Леонтьев как бы подвел итоги своей полуторадесятилетней подспудной полемики со славянофильством, всегда казавшимся ему учением односторонне моральным, «в одно и то же время и не государственным, и не эстетическим», «слишком эгалитарно-либеральным для того, чтобы достаточно отделять нас (русских) от новейшего Запада» (т. 6, с. 335).

Сам необычный жанр этой статьи — обращение к В. С. Соловьеву, на которого Леонтьев продолжал смотреть как на «служителя теократического идеала» и который в это самое время вел на страницах либеральных изданий ожесточеннейшую полемику с «поздними славянофилами», и призыв к нему быть арбитром в этом споре «единомышленников на 2/3», являются еще одним и, пожалуй, самым впечатляющим свидетельством уникальности леонтьевской мировоззренческой позиции внутри консервативного лагеря.

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

КТО ПРАВЕЕ?

ПИСЬМА К ВЛАДИМИРУ СЕРГЕЕВИЧУ СОЛОВЬЕВУ

Письмо третье.
Революция по г. Астафьеву и революция по-моему

В первой заметке своей о моей брошюре («Русское обозрение») г. Астафьев отнесся к термину «революция» совсем не так, как отношусь я.

Уже из прежних моих сочинений, достаточно ему знакомых, явствует, что я революцией называю весь тот эгалитарный прогресс, который обнаружился с полной систематической силой в конце XVIII века во Франции и продолжается до сих пор не только там, где его ищут сознательно, но очень часто и там, где его опасаются и ненавидят. Я не намерен, конечно, здесь сызнова излагать и объяснять то, что я уже достаточно подробно излагал и объяснял в стольких прежних статьях моих (см. «Византизм и славянство» и особенно **последние шесть** глав)[1]. Лучше, доказательнее этого я не берусь написать о том же. И вы, Владимир Сергеевич, знаете, что для меня «революция» и «прогресс» — одно и то же. (Конечно, прогресс, понятый **не как развитие**, не как **дифференцирование в единстве**, а **как уравнение** и **ассимиляция**).

Я в этом случае держусь терминологии Прудона, который особенно просто и ясно еще в 50-х годах говорил, что **революция** есть не что иное, как движение человечества к всеобщему земному умеренному благоденствию и высшей справедливости, необходимым условием которых должна быть всеобщая ассимиляция до полнейшего однообразия всех людей, даже и умственного[2].

Дальнейшей ассимиляции, по моему взгляду, всегда предшествует **смешение**, т. е. ничем почти невозбраняемое и **ускоренное движение** самих людей туда и сюда, вверх и вниз по социальной лестнице, из страны в страну, от одного занятия к другому и т. д.

Было время, когда г. Астафьев эту мысль мою о **смешении**, как **предсмертном** явлении в истории всякого общества и всякого организма, очень ценил и называл даже **глубокой**. Он о ней помянул добром и во втором своем мне возражении. Он ценит эту **гипотезу** мою как психолог, ибо находит, что **социальное смешение** влечет за собою **психическую смуту**, неустойчивость убеждений, смешение понятий, неясность или неопределенность чувств и т. д.[3]

Революция, ассимиляция, эгалитарно-либеральный прогресс — все это для меня только разные названия одного и того же процесса. Этот процесс, если он не приостановится и не возбудит наконец крайностями своими глубочайшее себе противодействие, должен рано или поздно не только разрушить все ныне существующие особые ортодоксии, особые культуры и отдельные государства, — но, вероятно, даже уничтожит и само все-человечество на земле, предварительно сливши, **смешавши** его в более или менее **однородную**, более или менее **однообразную** социальную единицу.

В однообразии — смерть.

Все, что служит космополитизму, все, что служит всемирному **ускоренному движению и общению**, хотя бы самым невинным и непреднамеренным образом, — служит поэтому **всеобщему разрушению жизни** на этой земле.

Это мое мнение не противоречит ничуть потребностям всемирной Христианской проповеди, всеобщего Христианского **общения** и мысли о неизбежности при этом некоторого **однообразия в Христианстве. Незадолго до конца** исторической жизни **человечества** на этой (старой) земле и под этим (старым) небом — Евангелие должно быть проповедано **повсюду.**

И это есть, конечно, своего рода ассимиляция. И проповедь всеобщего Христианства есть проповедь разрушительная, революционная, если хотите. Она революционна в двух отношениях.

Во-первых, проповедь Христианства, в наше время столь охранительная для обществ, на почве Христианской выросших и развившихся, будет разрушительна для стран мусульманских и языческих, буддийских, конфуцианских и т. д.

Христианская проповедь в этих странах может послужить к ниспровержению того векового строя, который основывался на этих разнородных исповеданиях. Для **этих стран** — она революционна.

Во-вторых, проповедь **всеобщего** Христианства революционна еще и потому, что при успехе своем она в значительной мере должна будет **усилить** общечеловеческое **смешение, ослабить** еще больше развивающее **дифференцирование; приблизить** человечество к еще большей противу теперешнего **однородности;** послужить всеобщей **ассимиляции жизни** на земном шаре.

Стойкости же **вечной**, прочности **незыблемой** и всеобщее принятие Христианства **земному обществу** — все-таки не доставит.

Так пророчит и само Евангелие. После

повсеместной проповеди Христовой веры приблизится конец.

К этому же самому Евангельскому выводу мы придем, если допустим, что моя гипотеза — предсмертного смешения — верна.

Если она верна для отдельных государств и культур, то она должна оказаться верною и для всемирного государства и для всеобщей более или менее однородной Христианской культуры.

Если окажется, говорю я, при более точном и специальном исследовании этого вопроса, что моя гипотеза верна, — то придется согласиться, я думаю, что она не только не противоречит Евангельским и Апостольским предсказаниям, — но и вполне совпадает с ними.

Но хотя с самой общей точки зрения это и так, однако между ассимиляцией Христианской и ассимиляцией утилитарной (в духе нынешнего прогресса) разница все-таки огромная не только со стороны их сознательных целей, совершенно противоположных, — но и со стороны тех социальных результатов, прямых и косвенных, которые могут выйти из их торжества.

Христианство и не может, я не ищет даже (по существу своего учения) приблизить всех людей к одному «полезному» и среднему типу до такой степени, до какой ищет и может приблизить их к этому типу буржуазно-европейский прогресс в случае долговременного своего торжества. («Люди утратят всякое понятие о разнообразном развитии характеров, об индивидуальности и ее пользе», — говорит Дж. Ст. Милль).

Некоторая степень всеобщего сходства (ассимиляции), разумеется, необходима и для всякой высшей степени развития (для наибольшего единства в наисильнейшем разнообразии).

Не углубляясь далеко в историю, возьмем, например, Россию лет 50, 70, 100 тому назад.

Сословия наши тогда были очень резко разграничены; роды воспитания весьма различны; привычки, вкусы, понятия, предрассудки, народный быт в провинциях — были очень разнородны. Но все эти разнородные русские люди были между собою сходны в том, что они все говорили одним языком, были подданными одного и того же Царя и в подавляющем большинстве крещены в одну и ту же Православную веру. Эта степень ассимиляции достаточная; она не чрезмерна. Много же дальше какой-нибудь подобной этой ассимиляции Христианство и не ищет дойти. Мы знаем, что оно издавна уживалось с весьма разнородными общественными порядками. Демократическая же ассимиляция никакого иного порядка, кроме своего собственного, признавать не хочет.

Ассимилируя людей более или менее настойчиво, более или менее удачно со стороны исповедания, Христианство всего остального в жизни людей и не искало непременно в себя претворить. Оно довольствовалось всегда ролью мозга и нервной системы в живом организме, — не торопясь обратить его в бесформенную и однородную массу.

Дальше этой роли мистического единения в общественном и племенном разнообразии Христианство и не могло даже идти, как я сказал, по существу своего учения.

Высший идеал его: святость, отречение, аскетизм, самоотвержение во Христе — доступен немногим. Всем доступна только самая низшая ступень — возможность посредством веры и покаяния избавиться от адской муки за гробом. И больше ничего!

«Званых много, — но избранных мало»!

Прогресс же, со стороны личного идеала, удовлетворяется очень малым — мелким стоицизмом в ежедневном труде, той «вексельной честностью», о которой напомнил г. Астафьев, — миролюбием, главным образом поневоле, ибо отдельные люди будут все более и более опутываться мелкой сетью однородной легальности и т. д.

Идеал общественной жизни по требованиям прогресса — несравненно ниже, однороднее и ровнее, чем та картина жизни, которая допускалась Христианством с самого начала и допускается им до сих пор.

Демократический или утилитарный прогресс (я не хочу сказать прогресс рационалистический, ибо настоящий разум совсем не за него!) не допускает ничего вне себя; он слишком сер для этого. Христианство, допуская издавна вне себя многое, отчасти преднамеренно, отчасти и невольно (по невозможности вполне справиться) — старается только всего этого — вне стоящего, благотворно коснуться, старается всюду лишь протянуть нити своего оживляющего влияния.

Сверх того, Христианство не может существовать без мистически-освященной иерархии. Вот и еще причина неравенства и несходства между людьми.

Прогресс же никакой своей иерархии не придумал; да и не нуждается в ней.

По всем этим причинам даже и повсеместное, самое искреннее и глубокое восприятие Христианского учения (в форме какой бы то ни было Церковности) не грозит уравнять и ассимилировать человечество до той убийственной однородности, до какой может довести его современное учение прогресса при долгом и беспрепятственном господстве.

Сверх всего этого не надо забывать и того, что от проповеди учения Евангельского всем и всюду до искреннего и глубокого принятия его всеми и всюду еще очень далеко!

Изо всего сказанного, мне кажется, легко вывести еще раз и окончательно следующий вывод:

— всеобщая Христианская ассимиляция человечества и по сознательным (мистическим, духовным) целям своим, и по возможному образу воздействия своих — как преднамеренных, так и невольных — на общественную жизнь ничуть не сходна с утилитарной ассимиляцией «прогресса».

Для народов, на Христианстве выросших, этого рода ассимиляция — мистически-

церковная — с какой бы стороны она ни пришла, — есть и будет прежде всего явлением охраняющим, зиждительным, а никак не революционным, подобно ассимиляции утилитарной (свободно-равенственной).

Для миров же не Христианских, для государств и культур, возросших на Мусульманстве, Браманизме, Буддизме и т. д., Христианская ассимиляция, конечно, будет так же разрушительна (революционна), как она была разрушительна для древних языческих миров; но даже и для них, по всем выше перечисленным причинам, этого рода ассимиляция не может быть так полна и в историческом смысле убийственна, как ассимиляция европейской эгалитарности.

Если «последние времена» — **еще не слишком** близки, если Христианству предстоит в самом деле не одна только последняя и неудачная проповедь, но и временное торжество (воинствующей Церкви), то никакого нет сомнения, что это временное торжество будет иметь больше характер **всеобладания,** чем характер **всесмешения** и **всепретворения.**

Временное и высшее торжество земной, воинствующей Церкви будет, вероятно, больше похоже на **последнее и сознательное** единство в **последнем организованном** разнообразии, чем на смешение в однородности.

Я говорю еще раз — **временное** торжество, **последнее** единство, **последнее** разнообразие потому, конечно, что и при этом торжестве, и при этой наилучшей (положим) организации жизни нельзя ожидать ни вечного покоя сердец на **этой** земле, ни вечной нерушимости общественного строя.

Нельзя этого ожидать ни по здравому смыслу, ни судя по предсказаниям Св. Писания.

Вам, должно быть, лучше моего известно, что даже и те мистические мыслители, которые думают, что перед концом света пройдет еще на земле целое тысячелетие — мира, любви и порядка, — и они все-таки говорят: **«перед концом»,** то есть и они не решаются отрицать того, что когда-нибудь «прейдет» окончательно «образ мира сего». Даже и это тысячелетнее **всеобладание** Церкви, эта **теократия будущего,** это последнее и **высшее** единство в **кой-каком** остаточном разнообразии — и оно, **по разуму может,** а по Евангелию даже **должно** разрешиться опять **тем же:** все-**смешением** и **всерасторжением** общественного материала, **отступлением** от единства и власти веры.

Помните пророчество Исайи (гл. 24): **«Се Господь рассыплет вселенную и опустошит ю...» «И будут людие аки жрец, и раб аки господин, и раба аки госпожа; будет купуяй яко продаяй, и взаим е́мляй аки заимода́вец, и до́лжный аки ему же есть до́лжен. Тлением истлеет земля и расхище́нием расхищена будет земля».**

Но как бы то ни было, произойдет или нет когда-нибудь соединение Церквей; в Православие ли перейдут Католики; или Православные подчинятся Римскому единоначалию; настанет ли—**перед концом—** такое тысячелетие мира и любви или уже **и теперь** все бесповоротно и быстро, с небольшими лишь задержками, движется к этому концу[4], во всяком случае — ассимиляция Христианская никогда не может быть сходна с нынешней европейской, буржуазной ассимиляцией.

И из того, что человек опасается последней и ненавидит ее, вовсе не следует, чтобы он был врагом и все-христианской ассимиляции.

Даже и **не исповедуя лично** в сердце своем ни одного из Христианских исповеданий, человек, **ставший на почву моей гипотезы,** может легко различить и в будущем плоды религиозного единения от результатов утилитарного уравнения.

Даже и не **веруя лично,** говорю я, человек, допустивший верность моей гипотезы смешения в однородности, всегда должен предпочесть без колебания первое — последнему.

Бо́льшего против прежнего разнообразия исторической жизни, увы, теперь уже нечего ждать впереди! Человечество пережило его — оно уже перезрело. **Новых** племен, **действительно** молодых народов негде искать. Все известно; все или бездарно, как негры и краснокожие в Америке, или более или менее **старо** — и в Китае, и в Индии, и в Европе; и даже в России... Какая у нас молодость! **Функции** жизни становятся, правда, все сложнее и сложнее; **движение жизни** все ускореннее и запутаннее; но **формы** или **типы** ее развития — все однороднее и серее. **Идеал человека** — все ниже и **проще;** не герой, не полу-бог, не святой; не чудотворец; не рыцарь; **а честный труженик.** Надо поэтому и с чисто рациональной точки зрения предпочитать тот род ассимиляции, который обещает быть менее всепоглощающим и всепретворяющим, то есть менее мертвящим, менее убийственным.

И это еще, я повторяю, не веруя лично, не исповедуя всем сердцем Триединого Бога и не поклоняясь пламенно всему тому, что из учения о Св. Троице истекает...

Если же к вышеуказанному рациональному предпочтению у человека прибавится и личное Христианское чувство, то, конечно, отношения его к ассимиляции Христианской и к ассимиляции эгалитарно-европейской станут еще более противоположными.

Перед одной — благоговение; против другой — глубокая ненависть!

При размышлениях о влиянии на историю все-христианской ассимиляции у верующего человека является неизбежно особого рода высшее соображение, которого у него нет в виду при мысли об ассимиляции утилитарной. Эстетика исторической жизни у лично верующего Христианина должна уступить место вопросу о его же **личном загробном спасении души.**

Истинно верующий Христианин не сомневается в том, что ему самому, **единолично,** надо будет рано или поздно дать ответ на Страшном Судище Христовом, и потому он **не имеет права** простирать свое **бескорыстное** служение исторической **эстетике до степени принесения ему в**

жертву своего индивидуального «Я» в загробной жизни. Если бы эстетика (разнообразие) истории была бы ему и в высшей степени дорога, он, в сфере своего влияния, обязан приносить ее в жертву в том случае, когда она представляется ему помехой: как спасению его собственной души, так и обращению наибольшего числа людей в Христианскую веру. Насколько эстетика жизни помеха Христианству, и даже помеха ли она ему; и не состоят ли все жестокие стороны этой эстетики в глубокой и тайной органической связи с процветанием Христианства, — это еще вопрос; я думаю, что состоят; но здесь нет места и времени об этом распространяться.

Каждый грамотный Христианин из Катехизиса (а неграмотный — по устному преданию) знает, что всякое расширение Христианской проповеди приближает человечество к тому ужасному часу, когда все на этой земле пройдет и погибнет; но он знает также, что ему сочтется на Суде Божием всякое мельчайшее личное его действие для обращения людей в Христианскую веру, или хоть для их в ней утверждения. Земное человечество он от окончательной исторической гибели спасти не может; но он может и должен стараться о личном своем спасении, о том, чтобы быть в раю, а не в аду; и этому соображению он обязан приносить в жертву даже все политические, культурные и эстетические убеждения и вкусы свои.

Поэтому, если принять и само Христианство за смесительную, ассимиляционную (т. е. революционную) силу, способную при повсеместном, даже и далеко не полном и кратковременном торжестве своем, все-таки значительно уменьшить разнообразие жизни и духа на земном шаре, — то и тогда человек, лично верующий во Христа, Сына Божия («пришедшаго в мир грешныя спасти, из коих первый есмь аз!»), не может, не должен, не имеет права противиться этого рода ассимиляции, этого рода окончательной революции. Он обязан даже содействовать ей, по мере сил своих и в пределах своего влияния. И пусть гибнет и ослабевает шаг за шагом та полнота и разноцветность жизни, которую мы, люди конца XIX века, еще застали на земле, несмотря на все усилия и триумфы утилитарного европеизма. Пусть гибнет этот turgor vitalis *, пусть блекнет все больше и больше тот пышный расцвет истории, в котором жили еще не очень дальние наши предки!

Всеобщему Христианству я должен, если это окажется необходимым, принести в жертву: и драгоценные мне национальные особенности моей дорогой отчизны, и все, еще недавно столь великолепное разнообразие исповеданий, бытовых форм, государственных учреждений и даже, быть может, разнообразие самой природы, ибо Христианство роковым образом влечет в наше время за собой повсюду всю опустошительную, подавляющую искусственность новейшей европейской жизни. За католическим или протестантским проповедником следует французский или английский инженер, противу ассимилизующего завоевания которого не в силах уже устоять ни девственные леса, ни песчаные степи!

Отклонюсь еще на мгновение от главной темы моей — для того, чтобы еще больше разъяснить то побочное, что в этих письмах моих несравненно важнее главного.

Есть, мне кажется, три рода любви к человечеству. Любовь утилитарная; любовь эстетическая; любовь мистическая. Первая желает, чтобы человечество было покойно, счастливо, и считает нынешний прогресс наилучшим к тому путем; вторая — желает, чтобы человечество было прекрасно, чтобы жизнь его была драматична, разнообразна, полна, глубока по чувствам, прекрасна по формам; третья — желает, чтобы наибольшее число людей приняло веру Христианскую и спаслось бы за гробом.

Я понимаю, что вторую любовь — эстетическую — следует в случае столкновения и неизбежного выбора приносить в жертву последней (Христианской); но никто не докажет мне, что человек мыслящий и самый добрый обязан эту же самую эстетическую любовь подчинять требованиям первой, которая одинаково, по существу своему, враждебна и религии, и поэзии; ибо и для той, и для другой необходимы страдания, и нередко самые сильные и глубокие; а революция утилитаризма и ассимиляции жаждет если не уничтожить, то хоть ограничить донельзя все виды страданий...

Христианство обязывает человека жертвовать во многих случаях поэзией истории для торжества веры истинной, но никак не для торжества безбожного благоустройства миллионов людей — однообразных, неизвестных мне лично и даже по типу, по быту и по идеалам своим в высшей степени мне противных и ничтожных!

Революция есть всеобщее стремление к смешению, к ассимиляции, к смерти. Но предсмертной ассимиляции Христианского характера я обязан содействовать; ассимиляции же утилитарной или демократической я имею право противиться — не только как эстетик, но и как тот же верующий человек, ибо она отвергает все сверхчувственное и духовное.

Я кончил о Христианской ассимиляции. Это длинное отступление мое не было случайным увлечением мысли в сторону. Оно было преднамеренно и даже необходимо. Я, собственно, для вас, Вл. Серг., распространился об этом. Я желал, чтобы между нами по этому вопросу не было недоразумений, и думал, что вам легче будет судить того, кто вполне вам высказался.

Я помню, вы говаривали мне, что я хоть «одной ногой, да твердо стою на религиозной почве». «Другая же нога ваша (прибавляли вы) находится в области эстетики». Это не только остроумно, но и

* Здесь: жизненная мощь (лат.).

верно; готов согласиться. Но именно потому, что я эти слова ваши так хорошо помню, я и опасался, чтобы вы не подумали, что я не в силах и обе ноги поставить когда нужно на религиозную почву. Я понимаю, чему стоит жертвовать эстетикой истории, а чему — не стоит. Для спасения загробного и вашей души, и моей, и многих, многих тысяч других душ — стоит. А для умеренного земного прозябания миллионов неверующих и только трудолюбивых «средних людей» — не стоит отказываться ни от войн, ни от дуэлей; ни от Буддизма, ни от Мусульманства; ни от деспотических Царей, ни от надменных аристократов; ни от таких характеров, как Наполеон I, Бисмарк, Екатерина II и... даже Варрен-Гастингс, которого вы считаете позором Англии...

Теперь недоразумение между нами с этой стороны, кажется, уже невозможно. Не правда ли?

Насчет Христианской ассимиляции я, кажется, в первый раз объяснился здесь подробнее прежнего; но об ассимиляции утилитарной я писал достаточно, и люди, знакомые хоть слегка с моими сочинениями, могли бы знать, что, по-моему, она-то и есть настоящая революция. Или, наоборот, выражаясь точнее: нынешняя религиозно-политическая и социальная революция — есть не что иное, как движение ко всемирной безбожной ассимиляции. И г. Астафьев знает отлично, что я так привык мыслить и выражаться.

Почему же он в своей первой заметке начал говорить о восстаниях, Цареубийствах, о воззвании Локка «к небу»?.. Восстания часто бывают реакционные, против ассимиляции и смешения (Баски в Испании; наше Польское отчасти; Вандея). Посягательства на жизнь Государей, Президентов, Министров и тому подобных могущественных людей бывали также нередко вовсе не революционного (в моем смысле) характера. Нелегально; преступно; ужасно и т. д. — не значит еще в моем смысле революционно (ассимиляционно).

Казнь Людовика XVI действительно имела сознательную ассимиляционную цель. Но уже казнь Карла I в Англии имела двоякое значение; с одной стороны, эта возмутительная казнь была делом либерально-демократической разнузданности; но вместе с тем она имела для Англии и обособляюще-национальное, своего рода консервативное значение. Все Стюарты более или менее были склонны к Католицизму. Исторические же судьбы Англии требовали резкого церковного обособления (ибо разнообразие частных культур европейских в единстве общих оснований в то время росло, а не умалялось, как теперь).

Преступления Жака Клемана и Равальяка были также реакционного характера. Они вызваны были фанатическим служением Католическому единству. Президента Соединенных Штатов Линкольна убил приверженец Южного рабовладельчества; и это — реакция против ассимиляции и смешения. Шведского короля Густава III убил граф Анкарштрем — тоже реакционер, представитель крайне-аристократической партии; значит, тоже враг смешения. Покушение Жоржа Кадудаля на жизнь Наполеона I было делом легитимистов, людей, тоже желавших соблюсти сословное «дифференцирование». Все эти последние перечисленные мною преступления и посягательства вовсе не имели в виду той революционной ассимиляции, о которой я говорю в моей брошюре. Все эти нелегальные и преступные действия были, так сказать, антиреволюционные; они предпринимались и свершались с целями охранительными; одни в пользу Церковного единства, другие в пользу сословного неравенства; то есть вообще в пользу того состояния общества, которое я называл не раз органическим разнообразием в мистическом единстве, а не в пользу ассимиляции, не в пользу смешения и последующих за ним — разложения и упрощения до степени почти однородных этнографических остатков. Надо было опровергнуть самую терминологию мою; надо было доказать, что нынешнее революционное движение не есть стремление ко всеобщей ассимиляции; или, иначе, что революцией надо называть всякого рода преступные и насильственные действия противу каких бы то ни было существующих властей, а никак не эгалитарный и рационалистический прогресс во всех его видах и на всех его разнообразных легальных и нелегальных путях.

Тогда было бы ясно, что насильственное, например, и удачное восстановление в современной Франции Католической Монархии было бы действием революционным; а новейшее потворство социалистам в Германии делом не революционным (делом охранительным, реакционным) — потому только, что оно легальным путем исходит от самого Императора.

До сих пор я думал, что когда хочешь возражать кому-нибудь, то надо или опровергнуть самую терминологию противника; или, принявши эту терминологию, доказать ему, что он из собственных оснований своих выводит неправильное заключение.

Пусть г. Астафьев докажет живыми примерами, фактами, а не отвлеченными рассуждениями — или то, что человечество с XVIII века не стремится ко всеобщей ассимиляции. Или то, что это космополитическое стремление нельзя назвать революцией, потому что оно ничего в себе разрушительного не имеет. Это дело другое. А он сам говорит в конце заметки своей, что нельзя космополитизм (т. е. антинациональную ассимиляцию) признать началом охранительным.

Мне кажется, что я могу ошибаться только в следующем прямом и ясном смысле: никакой ассимиляции нет. Человечество стремится теперь к обособлению в виде групп более прежнего разновидных и разноосновных; создаются новые, крепкие, смелые религии не рационального оттенка, а более мистического (ложные они или нет — с этой стороны, — все равно); старые исповедания, со своей стороны, отстаивают себя с величайшим упорством. Государственные учреждения в разных странах все более и более укло-

няются от какого-нибудь общего, прежнего прототипа; сословия, цехи, корпорации, конгрегации крепнут в своей исключительности, несмотря на постоянную и ожесточенную борьбу. Провинции в недрах этих своеобразно устроенных государств соединены с метрополией своей в самых разнородных сочетаниях: начиная от совершенно рабского подчинения и до полной автономии, почти до независимости. Что ни шаг, то новый, невиданный в другом месте быт; недопустимые в другом городе или в другой провинции вкусы, обычаи и моды; то, что кажется в одном месте возмутительным и безнравственным, — в другом представляется весьма естественным и даже очень милым. Но при всем при этом человечество сознает, до известной степени, свое единство не только физиологическое, но и душевное, умственное. В некоторых, исключительно высших слоях своих оно вступает и во взаимное общение не только посредством насилия и войны (хотя и это случается часто), но и в мирное, умственное общение. Это умственное общение (чтение чужих, иноземных книг или покупка произведений искусства, например), доступное в большинстве случаев лишь избранным, правящим и самым богатым классам, — не может уменьшить разнообразие развития духа и быта; ибо нации вступают в общение только этими верхами своими; низшие же классы остаются при своем неведении чужого, при своих верованиях и суевериях, при своих уже вкоренившихся обычаях и понятиях; а малочисленные высшие представители обеих стран или наций, поставленные между двумя разнородными и могучими влияниями — между влиянием чужой мысли и упругой самобытностью своей народной почвы, — только глубже и многостороннее развиваются; две-три яркие черты чужой окраски на густом фоне своего национально-государственного воспитания — делают их только более совершенными и содержательными. И т. д. И т. д. (Таково было, например, высшее дворянство русское при Екатерине II, Александре I и Николае Павловиче)[5].

— «Вот как идут теперь дела! Какая же тут ассимиляция? Какая же тут революция, — если даже и принять мнение Леонтьева, что революция есть ассимиляция, т. е. разрушение всего старого без замены положительным новым!..»

Да! Если бы оно было так. Но всякий понимает, что дела идут в наше время не по тому пути органического дифференцирования, который я сейчас описал, а по совершенно противоположному. Всякий знает, что нарисованная мною картина гораздо больше похожа на так называемую эпоху Возрождения, чем на наше время, на века XV, XVI и XVII, чем на XIX век. Можно, пожалуй, доказывать, что космополитическая ассимиляция это есть благо, а не зло; можно, пожалуй, даже верить, что она приближает историю к торжеству равномерной и рациональной правды и приблизительного счастья на земном шаре. Хотя и это еще весьма гадательно, но все-таки понятно; я сам могу такого рода счастья человечеству ничуть не желать, но я понимаю эту ходячую, эту избитую мысль. Я понимаю, что люди, у которых практическое нравственное чувство преобладает над религиозными и эстетическими потребностями, могут обольщать себя подобными надеждами; могут в доступной им области влияния с весьма честным, хотя и глупым убеждением толкать дальше людей на пути к этой ассимиляции; но, разумеется, самого факта ассимиляции этой не может отвергать ни приверженец ее, ни враг.

Не знаю также, можно ли хоть на мгновение усомниться в том, что этот ассимиляционный процесс действует разрушительным (революционным) образом на все старые религиозные, культурные и государственные организмы или организации?

Настоящая революция проявляется не в насильственных действиях противу установленных властей, не в восстаниях, — ибо те и другие могут иметь цели религиозные, монархические, аристократические или вообще национально-обособляющие, — а в разрушении всего организованного, то есть прочно и устойчиво дифференцированного; то есть все в той же неорганической ассимиляции, в смешении.

Вот мои «обоснования». Не знаю, заслуживают ли они названия философских. Вероятно — нет; я за этим и не гонюсь; ибо вообще чисто метафизическую работу ума я считаю отчасти приготовительной умственной гимнастикой, весьма полезной для других, более живых целей (напр., богословских или социальных); отчасти же особого рода умственной роскошью, пышным и могучим, но почти бесплодным расцветом чисто интеллектуальной мощи в известные эпохи исторической жизни; в эпохи, обыкновенно предшествующие либо предсмертному разложению культурных государств, либо новому мистическому творчеству (Эллинская философия лучшего периода; Александрийская Православная догматика).

Не знаю, заслуживают ли названия философских мои «обоснования», но они ясны, я думаю, до грубости. Всякая эгалитарная реформа; всякое уравнение прав; всякое слишком далеко простертое и неразборчивое заимствование у передовых и демократических наций нашего времени; всякий международный съезд, даже и с весьма полезной ближайшей целью; всякая железная дорога и телеграфная нить, ускоряющие общение, движение (смешение) жизни, — есть проявление революции, ибо служат космополитической ассимиляции, жертвуя ей всеми местными, сословными, религиозными, юридическими, бытовыми и даже умственными оттенками.

Назовем, пожалуй, эту революцию благом.

Всеобщая ассимиляция есть сущность современной нам всемирной революции; это надо, мне кажется, признать независимо от того, благом ли или злом мы считаем эту революцию; враги ли мы ее или приверженцы.

Но у г. Астафьева совсем иная номенклатура, совсем иные «обоснования».

«Орудиями революции (говорит он) становились, как мы знаем, порой и наука, и искусство, имена же Марсилия Падуанского, Ла-Боэси, Мильтона, Суареца, Марианны и других напоминают нам, что даже в религии не раз пытались искать освящения для теорий народовластия, цареубийства и революции; а «мудрый» Локк даже специально изобрел для революции (не для инзуррекции ли?) благочестивую кличку — «апелляция к Небу». Что же все это может доказывать?! Конечно уж не враждебность революции и консервативность начала космополитического!!» Так говорит г. Астафьев.

Значит, у него не то революция, что сознательно или бессознательно способствует всеобщей демократизации, всеобщему рационализму, всеобщей утилитарной ассимиляции; а все то, что действует нелегальным, преступным путем восстания против установленных властей или посягательством на жизнь людей власти и влияния.

Я этого вовсе не понимаю, и к тому вопросу, которым я занимаюсь в моей брошюре («Национальная политика»), это вовсе даже не относится.

По-моему, либерально-европейская конституция, дарованная Болгарии совершенно легально Русским Правительством, — есть одно из весьма важных проявлений всеобщей революции; ибо это дело ассимилировало Болгар — со всеми другими западными, либерально устроенными народами.

А если бы теперь нашлась в Болгарии партия, достаточно сильная и достаточно умная, чтобы, изгнав Кобурга и Стамбулова, избрать на престол Православного Князя и предоставить ему полнейшую самодержавную власть, даже до права учреждать в Болгарии привилегии, сословия и неравноправность, то — пролейся тут хотя бы и потоки крови в междуусобной борьбе, — я бы не счел себя вправе назвать эти события проявлением революции (или ассимиляции)...

А назвал бы это междуусобие, эту нелегальность охранительными, реакционными, пожалуй, даже и творческими, зиждительными, ибо сословий в Болгарии до сих пор никаких не было.

Кто ж из нас двух правее с национальной точки зрения?

Или, пожалуй, спрошу так: чей взгляд на сущность революции всемирной — определеннее, точнее?

Мой взгляд или взгляд г. Астафьева?

ПРИМЕЧАНИЯ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА

1. Сборник мой «Восток, Россия и славянство», т. 1.

2. См. его «Confessions d'un revolutionnaire» и «Contradictions economiques» (1850 и 1851).

3. См. две брошюры г. Астафьева «Смысл истории...» и «Симптомы и причины...», Москва, 1885.

4. Так думают многие духовные люди наши; между прочим, затворник — епископ Феофан. В небольшой заметке своей, озаглавленной «Отступление в последние дни мира», он выражается так: «Приятно встречать у некоторых писателей светлые изображения Христианства в будущем; но нечем оправдать их. Точно, благодатное Царство Христово расширяется, растет и полнеет, но не на Земле — видимо, а на небе — невидимо, из лиц, и там, и здесь, в Царствах земных, приготовляемых туда Спасительною Силою Христовою». «На земле же господство зла и неверия расширяется видимо».

5. Наши отцы и деды высшего круга тщетно старались походить на иностранцев; а мы теперь пытаемся как будто стать независимыми. Но как ни велико было прежнее рабство русской мысли, — строй русского общества даже и в 1-й половине XIX века был настолько еще своеобразен, что в жизни, на деле эти отцы и деды наши были людьми несравненно более русского типа, чем мы.

Теперь теоретическая жизнь наша неизмеримо возросла; наша мысль становится все независимее и смелее; это правда. Но зато, с другой стороны, общественный строй наш стал несравненно ближе к западному; привычки и ходячие понятия сделались более европейскими. Прежние заимствованные теории и вкусы теперь лишь принесли свои практические плоды.

Многие из нас (быть может, самые лучшие и способные) давно уже возненавидели это подражание и стали стремиться к освобождению русской мысли из западного пленения. Мысль эта стала действительно сильнее, смелее, богаче; «национальное сознание» наше стало глубже и яснее (ведь и вы, В. С., представитель особого рода национального сознания нашего). Все это так. Но сами-то мы, по образу жизни нашей, по всем неотразимым потребностям и по всем въевшимся в кровь привычкам, — по всему типу нашему стали гораздо более обыкновенными европейцами, чем были эти отцы и деды, подражатели только в принципе...

Принесет ли — и скоро ли принесет — плоды житейской самобытности и силы теперешняя независимость и сила нашего мышления? Это еще неизвестно.

Дай Бог, чтобы принесла! А малым с этой стороны утешаться не следует!..

Не всякая независимость мысли и не всякое ее богатство влечет за собою неизбежно выразительность и силу жизни.

Французское умственное творчество 1-й половины нашего века было удивительно богато; но многое ли перешло в жизнь, много ли претворилось в нее из всех этих смелых мечтаний, глубоких соображений, блестящих теорий? За этим пышным расцветом французской литературы на деле что последовало очень скоро? Ослабление мировой политической силы; а во внутренней жизни — весьма, конечно, значительная будничная и мелкая добропорядочность, — и больше ничего!

То, что В. Гюго воображал «лазуревым», — вышло серым.

Публикация Г. Кремнева.

К 170-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

НЕ УСТУПАТЬ ДУХУ ВЕКА

Нас проиграли, как дворовых в карты, — заметил мне собеседник с проницательностью, свойственной истинным поэтам. Да, лишили дома, работы, места на земле.

Нам выпало стать свидетелями эпохи разлома. Времени провокаций — от невинной почти пачкотни Норинского до недавних, слишком всем памятных событий. «Путч» вспыхнул, как шутиха, но нешуточной была скатившаяся затем с «демократизированных» кремлевских высот революция с торжеством «революционного правосознания» по всей стране — от Съезда народных депутатов в Москве до заводов Урала, до флотилий Владивостока.

Вещают с телеэкранов: «Московский КГБ в наших руках», «Верховный Совет проголосовал правильно», не задумываясь, что в демократическом обществе отсутствует понятие «правильное» голосование, а службы безопасности находятся не в руках политических партий, а под контролем профессионалов.

Но даже не это сегодня главное. Главное — распад Союза, не осознанный народом до конца (поезда еще ходят, работают нефтепроводы и линии электропередач), но трагически реальный.

Мы видим безмерную жестокость — в Осетии, Грузии, Молдове, Литве. И беспримерное лицемерие — министры всей Европы съехались в Москву потолковать о прогрессе в деле соблюдения «прав человека». Мы видим суды над печатным словом и литераторов, строчащих на машинке стихи вперемежку с доносами. Мы видим разграбление имущества, созданного трудом всего народа, и запланированное правительством обнищание, которое превратит Россию в ночлежку из пьесы «На дне».

Нам кажется — обстоятельства непреоборимы. Само время повернуло против нас.

И все-таки я хочу сказать: не бойтесь! А испугались многие. Не только перевертыши, поспешившие рассыпать набранную в одном издательстве книгу о Валентине Распутине. Достойные люди почувствовали, как почва уходит из-под ног.

Надо перебороть страх. Думаете, обстоятельства всевластны? Нет, и время оказывается бессильно против мужественного борца. Доказательства можно найти повсюду. И прежде всего в искусстве — здесь они особенно убедительны. Каждый подлинный художник вступал в поединок со временем. Пожалуй, самый яркий пример — Федор Достоевский, чей юбилей будто затем и пришелся на страшные дни, чтобы дать опору, подбодрить, вдохновить.

Сейчас патриоты объявлены «реакционерами», лучшие из них, такие, как Распутин, — «заговорщиками». А кем только не объявляли Достоевского! И заговорщиком — поставили на Семеновском плацу в ожидании петли. И реакционером — год за годом журналистские перья вершили над ним позорный ритуал гражданской казни. Газеты петербургских биржевиков, издания московских «прогрессистов» в один голос поносили его, сбиваясь на базарную брань. И все-таки он не сдался. «Дневник писателя» никогда не сойдет со своей дороги, никогда не станет уступать духу века, силе властвующих и господствующих влияний...». Это не только формула самого любимого и долговечного из журналов, издававшихся писателем. Это — «символ веры». На всю жизнь.

«...Не запугивайте себя сами, не говорите: «Один в поле не воин» и проч. Всякий, к т о и с к р е н н о з а х о т е л и с т и н ы, т о т у ж е с т р а ш н о с и л е н» (разрядка моя. — **А. К.**), — писал Достоевский в одной из глав «Дневника». Он назвал ее «Русское решение вопроса».

Действительно, сколько веков живет Россия усилиями людей, возжаждавших истины. В редкие за все эти столетия годы им не мешали. Куда чаще затрудняли дело всячески, преследовали, заточали. Но если в душе есть нечто не дающее коснеть в бездействии, то, что писатель назвал желанием истины, человек обретает великую силу. «Не подражайте, — настаивал Достоевский, — некоторым фразерам, которые говорят поминутно, чтобы их слышали: «Не дают ничего делать, связывают руки, вселяют в душу отчаяние и разочарование» и проч. и проч. Все это фразеры и герои поэм дурного тона, рисующиеся собой лентяи. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связан-

ными руками может сделать массу добра».

Как всегда, Достоевский пророчески прозорлив. «И со связанными руками» — вроде бы риторический оборот. Но спустя всего три с небольшим десятка лет лучшим людям России связали, заломили руки, отправили в СЛОНы и ГУЛАГи. «Дневник» выходил в 1876—1877 годах, накануне роковых восьмидесятых. Читатели нашего журнала помнят лагерную легенду, рассказанную бывшим соловецким узником Борисом Ширяевым. Богородица, читаем в «Неугасимой лампаде», послала преподобному Сергию Радонежскому «мощь наложить заклятие на бесов, больших и малых, на Гога и Магога, сроком на полтысячи лет». «Теперь считай, — говорит герой повествования, — 1380-й плюс 500, ровно 1880. Кончилось заклятие! Вышли Гог и Магог из каменного затвора. Понеслись бесы по Руси, сначала чуть заметной поземкой, а потом разгулялись, разыгрались, засвистели, закрутили метелью».

Достоевский острее большинства современников ощущал роковой характер эпохи. Открывая в 1877 году «Дневник писателя», он предупреждал: «...Россию ожидают, может быть, чрезвычайные и огромные события... Что ожидает мир не только в остальную четверть века, но даже (кто знает это?) в нынешнем, может быть, году?.. Видно, подошли сроки чему-то вековечному, тысячелетнему, тому, что приготовлялось в мире с самого начала его цивилизации».

Тут нет ошибки в прогнозах. Все сбылось, хоть и не в том же году, а в последующие годы. И если сейчас мы читаем слова Достоевского как пророчество о сегодняшнем дне, то это не потому, что все, мол, в мире повторяется, а его, мира, все равно не убыло, на всех хватит. Нет, мы очевидцы т о г о ж е процесса, второй его, через столетие почти накрывшей нас волны.

Писатель прозаически расшифровал свои апокалиптические пророчества. С мрачной экспрессией Достоевский набрасывает картину современного ему мира: «Недаром же все-таки царят там (на Западе. — А. К.) повсеместно евреи на биржах, недаром они движут капиталами, недаром же они властители кредита и недаром, повторю это, они же властители и всей международной политики, и что будет дальше — конечно, известно и самим евреям: близится их царство, полное их царство! Наступает вполне торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские, национальные и даже народной гордости европейских народов. Наступает, напротив, матерьялизм, слепая, плотоядная жажда л и ч н о г о материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами — вот все, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей».

Страшно читать? Узнавать в прочитанном день сегодняшний — страшнее. Но задумаемся и обретем надежду — раз текст и сейчас звучит современно, значит, за целое столетие не так-то уж преуспела «слепая, плотоядная» сила, значит, приостановилось, хотя, конечно же, отнюдь не замерло вовсе победное шествие антихристианских идей. Что же отодвинуло сроки? Лучшие люди России — духовные борцы: писатели, церковные подвижники, ученые, а вместе с ними и практические деятели — от премьера Петра Столыпина до промышленника и мецената Саввы Мамонтова — приняли грозный вызов, стали на пути, казалось бы, неудержимого потока и отсрочили его окончательное торжество.

Может быть, потому и жива еще сегодня русская культура (пусть порушенная и сожженная, но прорастающая сквозь пепел новыми и новыми живыми побегами), жива сама Россия, хотя и растерзанная, обескровленная, униженная, может быть, и мы с вами живы потому, что нашлись люди, не давшие себя запугать.

«Я человек, и пока живу, то могу страдать, мучиться и иметь стыд за свой поступок. Жизнь и мир от меня зависят». Из набросков к «Дневнику писателя».

Пожалуй, особенно ярко воля к добру и свету, бесстрашная решимость отстоять их в борьбе с надвигающимся мраком запечатлелась именно в «Дневнике». Удивительное издание: амальгама жанров — от рассказа до судебной хроники, сплавленная воедино горением души, личностным авторским началом. Ни в каком другом произведении Достоевский не сказался так полно и горячо, как в «Дневнике писателя». Поединок со временем, борьба за судьбу России, запечатленная на его страницах, не опосредована художественными условностями. Не просто автор — сам человек. Не только идейная борьба — борьба за право жить на земле и строить жизнь на принципах «теснейшего нравственного и братского единения людей».

Тем поучительней чтение журнала Достоевского. Ибо слишком схожи эпохи. Иногда до мельчайших деталей.

«Чувствуешь себя как в каком-то вихре; захватило вас и вертит, и вертит», — еще до «Дневника» написано, общее ощущение эпохи. А это «Дневник» за 1877 год: «...Наше время, столь неустойчивое, столь переходное, столь исполненное перемен и столь мало кого удовлетворяющее...» Такие высказывания рассыпаны по томам Полного собрания сочинений: «Хуже того, что есть, никогда не было... В это царствование от реформ пропала общая идея и всякая общая связь. Прежде хоть какая-нибудь да была, теперь никакой. Все врозь. Был хоть гаденький порядок, но был порядок. Теперь полный беспорядок во всем».

К слову, о распаде связей — Достоевский проницательно подметил: он на руку Европе. Наши лукавые политики хотят поставить ее гарантом целостности хотя бы «общего экономического пространства», оставшегося от разоренного Союза, а то и гарантом неприкосновенности наших ядерных вооружений. А вот что писал Достоевский сто лет назад: «Европа поймет, что над трупом «больного человека» (сказано об Османской империи, но

схема верна и для нас) у освобожденных народов немедленно возгорится смута, распря и соперничество, а ей (Европе. — А. К.) это и на руку: предлог вмешательства, главное, предлог возбудить их против России, которая наверно не захочет им дать ссориться...». «И не будет такой клеветы, — предупреждал автор «Дневника», — которую бы не пустила в ход против нас Европа».

«Люди влияния», столь же активные, сколь беспринципные, убеждают — Запад не питает к нам никакой вражды. Послушаем Достоевского, хорошо знавшего Европу: «...Их смущает теперь и страшит в образе России... нечто правдивое, нечто слишком уж бескорыстное, честное, гнушающееся и захватом и взяткой». Конечно, властители последних семидесяти лет «захватом и взяткой» не гнушались. Но ведь они — это не Россия. На Западе это понимают (я имею в виду политиков). Знают и то, что наши нынешние лидеры — тоже не Россия. И потому она по-прежнему — страшит.

Разумеется, полное тождество ситуаций невозможно. За столетие антихристианские, антирусские силы немало преуспели. Когда Достоевский писал свой «Дневник», была Россия — могучая, самобытная, богатая страна, хотя ее основы уже расшатывались и подтачивались. И все-таки писатель мог по праву сказать: «...Россия народна, Россия не Австрия, в каждый значительный момент нашей исторической жизни дело всегда решалось народным духом и взглядом, царями народа в высшем единении с ним».

Теперь наши кремлевские «цари» равнодушно далеки от простых россиян. Да и можно ли ныне сказать, что Россия народна?

Достоевский писал, когда революция была достоянием французской, а не отечественной истории. А сейчас какая уже по счету революция на нашей земле? Воинственные высказывания ее идеологов, того же А. Яковлева, о необходимости выкорчевывать корни, до боли напоминают кровожадные заявления вождей предыдущей смуты Ленина, Троцкого, Зиновьева. Действия Евтушенко мало чем отличаются от акций Л. Авербаха. Разве что знамя у необольшевиков другое. Но язык общий, с непогребенным, царящим в Мавзолее, они как-нибудь о знамени договорятся.

Замечу к случаю о нынешних радикалах — потрясает их готовность бравировать фразеологией, слишком знакомой с семнадцатого года. Революция продолжается! — витийствуют с трибун. Нашли чем хвастаться! Да у любого народа, сохранившего хоть каплю здравого смысла, призыв к повторению (или продолжению) революции, обошедшейся на первом этапе по крайней мере в 60 миллионов жизней, вызвал бы ужас, гнев и безусловное отторжение.

Впрочем, где же она нынче, капля здравого смысла? Еще Достоевский во времена все-таки более благоприятные с горечью отмечал: «Миллионы людей... живут чужою мыслью, ищут готового слова и примера, схватываются за подсказанное дело. Они свистят на несогласных с ними, на всех презирающих лакейство мысли и верящих в свою собственную и народа своего самостоятельность». И еще грустная констатация: «...В наш век негодяй, опровергающий благородного, всегда сильнее».

Так что же делать? В который уже раз — что же делать! «...В неустанной дисциплине и непрерывной работе над собой (разрядка моя. — А. К.) и мог бы проявиться наш гражданин. С этой-то великодушной работы над собой и начинать надо».

— Это что же, вы о самосовершенствовании толкуете? Дело надо делать!

Но разве я не говорил о деле, не торопил — вместе с другими, не напоминал о страшном цейтноте, в который нас загнали: вот-вот все рухнет. Июльский номер, накануне Августа... Так ведь не успели. Рухнуло. Теперь у нас много времени. Можно позволить себе роскошь подумать о нравственном самосовершенствовании.

Впрочем, это не роскошь. Чтобы «делать дело», чтобы выйти на улицу, отстаивая право жить, есть, работать, нужны сознательность и мужество. Обладает ли ими общество? Мужество надо воспитать.

Уточню — призывая к духовной работе, Достоевский отнюдь не имел в виду отрешенность от всего мирского, безразличную созерцательность. Он горячо поддержал народ, поднявшийся в 1877 году на спасение славянских братьев. Тут необходимо пояснение, важнейшее для понимания позиции писателя. Он поддержал порыв, родившийся в душе народной. Поддержал всей силой творческого дара, не жалея энергии, времени и журнальной площади. В том-то и дело, что прежде должен был свершиться нравственный процесс. В душе каждого мужика и в душе всего народа. Пытаться искусственно организовать или ускорить его нелепо, да и невозможно.

А явятся убежденные люди, созревшие для понимания необходимости действия, — все порушенное будет восстановлено. Так отстраивалась Москва после пожара. Так возрождалась Русь после татар.

И все же понимаю: не так легко поверить делу духа, а не осязаемому, вещественному делу рук. Достоевский и сам знал, что у его идеи явится немало оппонентов. «Вам главное показать, до какой степени я мельче вас, — полемизировал он в «Дневнике писателя», — я-то, дескать... все основываю на самосовершенствовании, а вы прямо и благородно смотрели на гражданственность. С одной стороны, какая отсталость, с другой — какой благородный жест».

Как не вспомнить — не думая, разумеется, равнять себя с великим писателем — сколько раз и нас упрекали в отсталости и мелкости. Причем не только оппоненты-друзья. «Где ваши лозунги, дайте их, дайте программу!» — требовали они.

Так и хочется ответить иронической репликой Достоевского: «...Перейдем теперь к общественным идеям. Их нет вовсе».

И еще: «Формулы этой (общественного устройства. — А. К.) люди не знают».

Грустно? Зато честно. Куда честнее, чем выдвигать бесчисленные броско сформулированные программы, чтобы потом с усмешкой говорить о своих детищах: «Конечно, чушь» (С. Шаталин).

Дикарская вера в магическую силу Программы — признак глубокого маразма общества. «Демократы» дали ему десятки программ, выбирайте на вкус. Одна беда — как раз на вкус их не попробуешь: ни хлеба, ни мяса они не заменят. Сами «демократы» признают теперь: «...Если быть честным, никакой реальной программы и невозможно было разработать» («Господин народ», 1991, № 14).

России морочили голову пятьюстами и четырехстами днями. А чем привлекли свои народы лидеры Прибалтики и Закавказья — тех регионов, где действительно удалось (во всяком случае, на нынешнем этапе) объединить массы идеей? Какая программа была у музыковеда Ландсбергиса? Экономика? Геополитика? Он просто сказал: свободная Литва! — и сердца трех миллионов литовцев были отданы ему. А чем привлек грузинский народ филолог Гамсахурдия? Да тем же самым — призывом: свободная Грузия!

Вот вам все идеи и программы. Других «нет вовсе» и быть не может (серьезные научные разработки не скандируют на митингах, они ничего общего не имеют с предвыборной риторикой). Дело не в том, что у русских патриотов не было программ и лидеров (Валентин Распутин не только как деятель культуры — как явление национальной жизни во сто крат крупнее и привлекательнее консерваторского витии Ландсбергиса). Дело в том, что в отличие от литовцев и грузин, сердца миллионов русских не дрогнули при слове «Россия», не откликнулись на этот призыв.

Кого признала республика в качестве ходатая за свои интересы? Разве что Жириновского. О, это интереснейший, чисто российский феномен, показывающий, как обстоят у нас дела с национальным самосознанием. Жириновский говорит много справедливого — хотя бы о необходимости помочь русским, притесняемым и унижаемым в Прибалтике. Но эти высказывания он перемежает откровенной клоунадой. Сознательно! Считая, что только так сможет заставить русских людей прислушаться к словам о русских нуждах.

Литовцы избрали в союзный и республиканский парламенты литовцев. Поляки в Литве — поляков. А русские? Депутата Г. Кановича, заявившего недавно, что только старый отец, желающий умереть в Литве, удерживает его от эмиграции в Израиль. От русского Интердвижения в Эстонии в союзный парламент прошел один Е. Коган (проявивший себя — надо отдать ему должное — весьма достойно). О наших российских избранниках говорить не хочу, вы насмотрелись на них по телевизору.

Во все века побеждала триединая сила: люди духа (их дело — призыв к действию), люди действия, организаторы — народ, поднявшийся по их призыву и под их водительством. В 1380 году были Сергий Радонежский, Дмитрий Донской и ратники со всех концов Руси. В 1612-м — патриарх Гермоген, Минин и Пожарский и нижегородское ополчение. В 1991-м — были писатели (потому-то их профессиональный союз и попытались прикрыть поскорее) и одиночки — прекрасные люди, чья душа болит за отчую землю. Не было практиков. И всенародного ополчения не было.

Не возражайте — дело в людях, а не в программах. «Если б даже и существовали такие порядки и принципы, чтобы безошибочно устроить общество... то с не готовыми, с не выделанными к тому людьми никакие правила не удержатся и не осуществятся», — размышлял об общественном устройстве Достоевский. И прибавлял: «Сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека».

Представьте: 19 августа победу одержал бы ГКЧП и стал последовательно осуществлять заявленную программу (то, что она звучала весьма привлекательно, публично признавали даже ярые противники). Развернули бы борьбу с мафией, укрепили дисциплину — трудовую и договорную, запретили порнографию и пропаганду насилия. Не кажется ли вам, что все свелось бы к андроповским реформам? Введенные железной рукой сверху при полном равнодушии и даже глухом ропоте народа, они просуществовали ровно столько, сколько пробыл на своем посту Генеральный секретарь. А ясно, что при антимафиозной программе (без широчайшей народной поддержки) он не мог долго продержаться.

Я это понял тогда же, 19-го, и затосковал. Не о том, что одни правители сменили других (ничего хорошего от правителей я за последние годы не видел и ни о ком бы грустить не стал). Затосковал о неминуемой неудаче попытки ввести нравственные правила верховным указом. Так их не ввести. Они должны прорасти из сердца человеческого, из души народной.

Если не проросли — еще не время. Никакое «ускорение» здесь не поможет.

Это не значит, что нам, патриотам, в том числе писателям, нечего сейчас делать. Напротив, перед нами открывается широчайшее поле деятельности. Ибо речь о духовном совершенствовании, нравственном становлении человека.

Последние годы писатели пытались хоть как-то подменить деятелей-практиков. И выглядели в этой чужой роли, сознаемся, довольно нелепо. Люди действия сами придут, когда в народе вызреет п о т р е б н о с т ь д е й с т в и я.

Может быть, это произойдет очень скоро и совсем не так гладко, как я здесь представил. В нашу жизнь ворвутся страшные приметы голода, холода, безработицы. Они-то заставят действовать. «Вот и конец вашим духовным упражнениям, голод решит все и за всех», — скажут мне.

Да, ситуация меняется стремительно и грозно. Шесть перестроечных лет общество наблюдало политическую драму как **спектакль, разыгрываемый где-то в отда-**

лении на высокой кремлевской сцене Политиков оценивали как лицедеев — кто симпатичнее, обаятельнее,- кто помоложе, у кого голос позвучней. Теперь наша драма все больше напоминает модернистскую постановку: актеры перенесли действие в зал и набросились на растерявшихся зрителей. Преступное вздувание цен — сначала «по Павлову», а теперь, очевидно, и «по Ельцину» — поставило перед каждым вопрос о выживании.

Конечно, пустой желудок побуждает искать выход, но найти его можно лишь подняв голову. Взглянув на высокие ориентиры. Указать на них мятущимся, духовно оплодотворить процесс, направить его на созидание, не дав расточиться в бессмысленном разрушении, — наша задача. Чем тревожнее развитие событий — тем насущнее дело духа.

Надо продолжать работу. Как ни в чем не бывало — просится привычный оборот. Нет, как ни в чем не бывало не получится, а получилось бы — вышло грешно, столько вокруг страданий. Надо целеустремленней, вдохновенней, бесстрашней продолжать работу.

Мы все были убеждены, что сбудется пророчество Павла Флоренского: «...Я верю и надеюсь, что, исчерпав себя, нигилизм докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет ненависть к себе, и тогда, после краха всей этой мерзости, сердца и умы не по-прежнему, вяло и с оглядкой, а наголодавшись, обратятся к русской идее, к идее России, к Святой Руси... Я верю в то, что кризис очистит русскую атмосферу, даже всемирную атмосферу...».

Власть жестоких догматов пала, а «русская атмосфера» не очистилась. Напротив, ее еще больше заволокло чадом и смрадом. Но если вдуматься, по-другому и быть не могло. Семь десятилетий кризиса оставили огромные выжженные пробелы в душе нации. Нас приучили к лжи, жестокости, соглашательству. Страшная практика террора заставила людей не обращать внимания на страдания соседа — лишь бы не меня!

Нас развратили до двоемыслия: думать одно — говорить другое. И самое страшное — под конец многие вовсе разучились додумывать. Мысль вызывает какие-то почти физические потуги — не идет до конца! Задумавшихся множество, мыслящих единицы. Раньше — страшно. Теперь — отвыкли. И когда в конце августа — начале сентября на страну надвинулась мрачная карающая тень, выявилось немало тех, кто о б р а д о в а л с я. Они с готовностью отдали право на мысль «компетентным лицам», с облегчением избавили себя от труда мыслить и действовать в соответствии с убеждениями.

Из таких предпосылок не могло родиться ничего, кроме того, что мы имеем сегодня. Да и многое ли — в моральном отношении — изменилось по сравнению со днем вчерашним? Посмотрите на газетчиков — вчера они превозносили коммунизм и кляли буржуев, сегодня превозносят буржуев и клянут коммунизм. Теми же словами, с тем же придыханием, пользуясь теми же пропагандистскими клише. На месте их нынешних хозяев я бы повыгонял всю эту лживую, бездарную орду — все-таки нужно хоть как-то совершенствовать профессиональный арсенал, старое приедается. Да ведь хозяева во многом те же, только сменили членство во вчерашней правящей элите на членство в нынешней правящей. Да и газетчики, наверное, правы — мы воспитаны на этих пропагандистских штампах и чуть заслышим знакомое: в светлое будущее шагом марш! — бессознательно ускоряем шаг, не задумываясь над тем, о каком будущем речь.

Пока мы не преобразимся духовно, нам не вырваться из этого болота. А преобразимся — и экономические задачи будут решены. Нравственная работа даст материальный эффект.

Тут я не на Достоевского, а на современных экономистов сошлюсь. А еще лучше, минуя экономистов, прямо на знаменитое японское экономическое чудо. Национальное самосознание, вековые традиции стали фундаментом самого стремительного в современной истории экономического развития.

У нас традиции (отчасти близкие японским — та же община) разрушены. Национальное самосознание в руинах. Так как же мы, живя без лада и склада, думаем достичь благополучия? Сам наш разор доказательством от обратного убеждает в правоте Достоевского, требовавшего: «С т а т ь р у с с к и м, в о-п е р в ы х и п р е ж д е в с е г о... Прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и т о г д а с п е р в о г о ш а г а в с е и з м е н и т с я» (разрядка моя. **А. К.**).

«С первого шага» — вроде бы наивно. Но это шаг, подкрепленный колоссальной предварительной работой духа. «Стать русским» — не сменить одежду, не взять готовые формулы жизни. Тут нечто безмерно большее — воссоздание личным усилием образа жизни, ценностей (идеалов, говоря словами Достоевского) своего народа. По Достоевскому, именно такое усилие — личное для каждого и общее для всех («общее единичное самосовершенствование»), усилие, объединяющее в едином порыве миллионы, и создает нацию. «...Идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, и б о о н а ж е и с о з д а в а л а е е...»

Вот мысль Достоевского о самосовершенствовании, развернутая во всем ее объеме. Спасительная в каждую переломную эпоху, когда кажется, что рушатся опоры нации и меркнет ее идеал.

ИРИНА СТРЕЛКОВА

О ЖИВОЙ И МЕРТВОЙ ВОДЕ

«Две силы формируют мир, действуя одна в сходстве, другая в различии. То, что в сходстве идет, мы сознаем как законы. То, что в различии, — как личности. Умирая, все идет в сходство, рождаясь, — в различие.

И все это высказано в сказке о живой и мертвой воде».

В детстве, когда у человека так сильно желание узнать тайны жизни, нас всех завораживает сказочное волшебство воскрешения из мертвых, волшебство бессмертия, где есть загадочное условие, упаси бог перепутать: поначалу на убитого брызгают мертвой водой и только потом — живой. В толковании старой как мир сказки, которое дал Михаил Пришвин, тоже есть свое волшебство проникновения в тайны жизни. Дар Пришвина — особый дар. И существует загадка самого Михаила Пришвина с его широчайшей при жизни популярностью старичка-лесовичка. Какой это был, оказывается, потаенный писатель! Аналитик и провидец, бесстрашный историограф своего времени, один из славной плеяды русских философов XX века.

Эта статья — не о Пришвине, литературное и философское наследие которого наконец-то приходит к нам в полном объеме. Феномен Пришвина воспринимается сейчас как мера глубины пласта русской духовности. У нас много пишут и говорят о том, как тонок, увы, слой интеллигентности в нашем обществе, что, конечно, прискорбно, однако состояние этого слоя характеризует не только нашу разруху и удушение культуры средствами дикого рынка, но и процветание стран Запада с их материальными приоритетами, — слой интеллигентности везде тонок, другое дело пласт духовности народа, там корни каждой национальной литературы, истоки ее качественных отличий. И примечательно, что Игорь Шафаревич, когда его спросили, кому из современных философов он отдает предпочтение, ответил, что сегодня Распутин наиболее интересен как философ. Критика и раньше не относила Распутина к числу бытописателей, но, пожалуй, определение, данное Шафаревичем, дает ключ к пониманию, как находил Распутин форму своих повестей и рассказов начиная с повести «Деньги для Марии». В современной прозе в этом наиболее близок к Распутину Владимир Крупин — но не как подражатель. По его собственному определению, в литературе существует «некая магнетическая сила, притягивающая к себе не только названных, но и неназванных учеников... Но идет бесстрастное время, и оказывается, что у каждого своя дорога...».

Некоторое время назад Владимира Крупина зарубежный «голос» в передаче на литературную тему раздраженно назвал «юродивым». Насколько мне известно, его это не задело — и не исключаю, что даже порадовало. В русском понимании юродства есть и самый высокий смысл. В юродстве может быть сокрыто потаенное, осознанно чуждое выгоде, практицизму, а всего главнее здесь возможность говорить правду принародно — и говорить то напрямик, то прибегая к речениям образным, фантастическим. Ведь и Пришвин радовался тому, что может «видеть себя как русского Ивана-дурака и удивляться своему счастью, и понимать — почему я не на руку настоящим счастливцам и хитрецам». Причем для писателя это не было маской, он **так** воспринимал жизнь, отвергая ум-расчет. В его понимании Иван-дурак был прежде всего правдоискатель. И в дневниковой записи Пришвин поставил Ивана-дурака в один ряд с Дон-Кихотом»: «русское разрешение темы Дон-Кихота», «спустившийся сверху Дон-Кихот».

Наверное, есть своя закономерность в

СТРЕЛКОВА Ирина Ивановна родилась в Москве, окончила Казахский государственный университет. Автор книг, повестей и рассказов — «Снег в мае», «До берега доплыть», «Три женщины в осеннем саду», автор критических статей о творчестве В. Белова, В. Астафьева, Е. Носова, В. Личутина. Член Союза писателей СССР; живет в Москве.

том, что на Западе, где так тщательно собрано и издано, казалось бы, все, не имевшее у нас выхода в печать, так мало интересовались неизданными рукописями Пришвина, да и вообще его литературным и философским наследием. И это, конечно же, связано и с западным восприятием форм протеста прежде всего как диссидентских выступлений против власти и обращений к свободному миру, и с непониманием приоритета правды над правами в русском национальном сознании. Меж тем в природе русского духовного сопротивления главенствовало не столько сопротивление административно-командной системе, сколько тому отношению к человеку, которое навязывалось этой властью. Русское духовное сопротивление противостояло теории, обрекающей людей на непрерывную борьбу друг с другом. У Крупина в повести «Великорецкая купель» об этом сказано так: «Разве не заблуждение — вначале переделать устройство общества и думать, что человек переделается. Переделается только тот, кому безразлично любое устройство, лишь бы самому жить. Коммунизм выращивает приспособленцев: как это от каждого по труду, если тут же ввели понятие нормы; от каждого по труду, это значит, по мере труда, по возможности; и как это каждому по потребности, если потребности у бессовестных беспредельны. И получилось на деле, что понятия души и совести стали ненужными, каждый урывал по способностям».

В статье, посвященной творчеству Владимира Крупина, очевидно нелишне будет сообщить краткие сведения о нем самом. Он родился в 1941 году в вятском селе Кильмезь. После окончания школы работал на МТС, служил в армии. В 1967 году окончил Московский областной педагогический институт и затем преподавал школьникам литературу. В 1974 году в издательстве «Современник» — тогда милостивом к начинающим — вышла первая книга Владимира Крупина «Зерна», рассказы и повести.

Десять лет спустя, когда уже были опубликованы «Живая вода», «Сороковой день», «Ямщицкая повесть», другие повести и рассказы, а также книги для детей «Братец Иванушка», «Отцовское поле», Владимир Крупин выступил со статьей «Остановиться — оглянуться» («ЛГ», 22.8.1984), которую можно считать ключевой для понимания избранного им пути. «Русская литература, — писал Крупин, — всегда отдавала и отдает предпочтение образу жизни духовно наполненному. Она всегда знала, что жизнь — поиск этой духовности. И в этом ее смысл. Со времен фараонов и печенежских князей еще никому не удавалось утащить в иной мир материальность этого мира, отчет за прожитую жизнь идет по качествам души, а не по количеству нажитого».

Впоследствии Крупин в романе «Спасение погибших» использовал фантасмагорический сюжет с умыканием в иной мир материальных ценностей, включая такие громоздкие, как мебель, дача и автомобиль. Писатель Илья Залесский потребовал в завещании, чтобы вместе с ним было погребено и все, что он нажил творческим трудом. Волю покойного выполнили, для чего пришлось рыть могилу экскаватором. Впрочем, как оказалось, похороны были фальшивыми. Залесский жив-живехонек, зато умер — или убит — молодой талантливый писатель Олег, а рукописи Олега исчезли самым таинственным образом — в конце романа выясняется, что ими завладел мнимый покойник Залесский.

Фабула романа, написанного до перестройки, предвосхитила чудеса перевоплощения всем известных лиц. Но в доперестроечную пору кто бы мог помыслить, что перемена политических взглядов и творческих позиций такое простое и легкое дело. Залесский, чтобы начать новую жизнь, вынужден был организовать собственные похороны и чудо воскрешения под другим именем, в качестве писателя совершенно другого направления, с другими героями, другим языком, другим мироощущением. И Залесскому не жаль имущества, зарытого в могилу вместе с гробом, куда положен манекен. Рукописи Олега — это и слава, и деньги, и положение в литературной иерархии. Причем все шито-крыто, можно не бояться разоблачения, ведь даже близкие друзья погибшего не знали, было или не было у Олега что-то уже завершено, подготовлено к публикации. С рукописями Олег обращался небрежно, черновики разбрасывал и к тому же говорил во всеуслышанье о своем конце: «Я совсем не понимаю, как писать. И новую работу я думаю сделать последней и назвать «Обет молчания».

О том, над чем работал Олег, читатель понемногу узнает из отрывков, разбросанных по всему роману, и только в финале можно прочесть что-то цельное— шутовской монолог на современные житейские темы. Однако этот монолог уже перепечатан на машинке сообщницей Залесского. И вполне возможно, что Залесский тут приложил свою руку. Кто знает, намерен ли он издавать все присвоенное в первоначальном виде или найдет нужным вносить туда свои исправления? Во всяком случае не исключено, что Залесский не ограничится публикацией присвоенных рукописей и сам начнет писать в том же роде.

В «Спасении погибших», обозначенном в заглавии как роман-завещание, Крупин по-своему интерпретирует известное изречение из «Мастера и Маргариты»: «рукописи не горят». И кстати, он не раз высказывал свое несогласие с теми критиками, которые его «привязали к линии фантасмагорий, мифов, ирреальности» (цитирую из той же статьи в «ЛГ»). Фантастика у Крупина, как Дон-Кихот у Пришвина, спускается сверху вниз к тому удалому мифотворчеству, которым занимается русский человек в своей повседневной жизни, предаваясь рассуждениям о причинах и следствиях и даже не подозревая, что открывает за-

ново уже сказанное философами. Такой источник фантастики, конечно, исключает возможность причислить Крупина к подражателям Булгакова, так что напрасно в свое время «Живую воду» ставили в один ряд с «Альтистом Даниловым». Скорее можно предположить, что мода на Булгакова с мещанским обожествлением Воланда была тем, что отталкивало Крупина в противоположное направление. Для него любая бесовщина неприемлема, и на восторги булгакоманов он однажды ответил и в шутку и всерьез, что стать ведьмой гораздо легче, чем стать порядочной женщиной.

Но... Рукописи не горят — кто же это оспорит в наше время, когда публикуется неизданное! Кстати, и рукописи Олега не сгинули, а попали, что называется, в надежные и опытные руки. Точно также не пропадают и прекрасные идеи. Однако человечество не в силах уберечь даже самые благородные идеи от присвоения в корыстных целях — и даже напротив, чем выше и чище идея, тем в большей степени ей грозит эта опасность, сколько угодно тому примеров, взять хотя бы сегодняшнюю судьбу свободы, демократии, народовластия, гуманизма или все то, что происходит вокруг православной церкви...

В «Спасении погибших», где в качестве героя-повествователя и одновременно расследователя предполагаемого убийства Олега выступает школьный учитель Алексей, божий человек, второе «я» автора (потому что первое «я» — это все-таки Олег), самым главным стержнем становится собирание воедино, во всей цельности мироощущения погибшего, как бы его заветов живущим. Поэтому «Спасение погибших» не просто роман, а роман-завещание, то есть духовное в его возвышенном значении: что Олег мог бы сказать людям, если бы знал о приближении смерти, во что он верил и на что уповал, какими чувствами жил и какими мыслями, что отринул от себя и что возлюбил... То есть в «Спасении погибших» происходит воссоздание из мертвых и спасение всего того, что Олег вкладывал в свои творения и что может исказить завладевший рукописями Залесский — даже неминуемо исказит, пусть и из лучших побуждений, из уверенности, что лучше разбирается в жизни и в литературном мастерстве, не говоря уже о читательском спросе. В том-то и несчастье всего талантливого и прекрасного, попавшего в корыстные руки; оно словно бы и подлинно, без подделки — и все же не то...

Судя по страницам, подготовленным Залесским для публикации, а также судя по кругу знакомых Олега, которых Алексей обошел в тщетных поисках хоть какого-то следа пропавших бумаг, Олег черпал свой материал из тех слоев жизни, откуда берется и вся современная «чернуха». Его мучило несовершенство существующей действительности, и он мог весь день просидеть над такой фразой: «Чтобы придти в ужас, достаточно сказать, что пишу это в конце двадцатого века». Однако написанное Олегом не принадлежало к модному сейчас «критическому натурализму». И он не из мастеров социалистического реализма, к которым безусловно принадлежит Залесский (иначе за что бы Залесского привечали «наверху»). Впрочем, упомянув как нечистую силу соцреализм, уместно будет уточнить, что фраза насчет жизни, которую надо писать не только такой, какая она есть, но и такой, какая должна быть, не является указанием ЦК, и понапрасну от нее открещивался в печати популярный автор уже нескольких книг в стиле «чернухи». Это даже не Луначарский с Бухариным сказали, это — дореволюционный писатель Чехов.

Дело, конечно, не в цитатах, существуют критерии — и прежде всего в понимании, что есть правда. После «Тихого Дона» Шолохова русская литература обрела новую меру правды, сформулированную очень точно П. Палиевским: «впервые вышел в определяющее лицо народ и получил голос». И конечно же «Тихий Дон», первая книга которого появилась в 1928 году, — это не исторический роман, а роман о нашем смутном времени, все еще не кончающемся. Но в 30-е годы кто-то из читателей сверял жизнь с Шолоховым, а кто-то с «Брусками» Панферова, «Днем вторым» Эренбурга или «Гидроцентралью» Шагинян... Время одно и то же, писатели разные, что вполне естественно. И поэтому нельзя принять всерьез Гранина, когда он говорил на симпозиуме, посвященном теме «Индивидуальное и массовое сознание» (см. «Иностранная литература» № 11, 1990 г.), что «на место дважды Героя Социалистического труда Георгия Маркова, Анатолия Иванова, Егора Исаева и прочих классиков советской литературы пришли настоящие таланты», перечисляя затем имена: Платонов, Булгаков, Гроссман, Солженицын. Конечно же, Платонов пришел не на место Георгия Маркова, а на свое, как и Булгаков, Гроссман и Солженицын.

О времени и о литературе, его отражающей, можно ведь судить и так, как это сделал Астафьев в одной из бесед. Он считает, что у многих наше время найдет отражение, но зеркалом его будут не Рубцов, не Прасолов и не Юрий Кузнецов, зеркалом «всех изломов наших, отношений, распада, деградации общества» будет, по убеждению Астафьева, «все-таки Евтушенко»: «Теперь его время. И он — типичное отражение его со всеми противоречиями, увертками, ловкачеством, широкой пастью, умением даже плохонькие стихи прекрасно читать на публику, чего многие настоящие поэты не умеют».

Вернувшийся с войны Астафьев и юный Евтушенко начали печататься, по сути, одновременно, в 60-х, однако Евтушенко сегодня — урожденный «шестидесятник», а Астафьев и начинавшие тогда же Абрамов, Белов, Носов, Солоухин, Шукшин как бы относятся к иным годам. И они в крестьянском вопросе не наследовали Шолохову, нет! В «наследниках» числились другие, и казалось, что новые ге-

рои времени, пришедшие с уже названными писателями, а затем с Распутиным, Потаниным, Личутиным, Крупиным, противостоят правде Шолохова, у них другая правда, другой цвет времени. Однако преемственность не так уж редко рождается в образе противостояния — русская литература продолжает Шолохова в своем стремлении вывести в определяющее лицо народ и дать ему голос. Этот голос и прорвал идеологические тенета, в которых запутались «шестидесятники» в сползших на глаза комиссарских пыльных шлемах. Русская литература задолго до разрешенной гласности заявила о раскрестьянивании крестьянства, о геноциде русского народа, о том, как дорого обошлась России передовая теория, обрекающая людей на классовую борьбу, она помогла обществу повернуться к истокам русской культуры, народной духовности, ввела в общественное сознание житейский опыт и нравственные критерии Ивана Африкановича, Михаила Пряслина, бабушки из «Последнего поклона», Егора Прокудина, Настены... И оказалось заблуждением, будто никто у нас в стране не философствует, кроме как сотрудники ИМЭЛ и сотрудники соответствующих вузовских кафедр. Впрочем, они-то как раз и не осмеливались философствовать. Перестройка вывела в печать потаенную литературу, открылись выставки опальных художников, появились на экране снятые с полки фильмы, и только в общественных науках не нашлось почти ничего потаенного.

Крупин встретился с Александром Ивановичем Кирпиковым в памятном 1972 году, когда летом в России повсюду горели леса и торфяники и стояла дымная мгла. Писатель у себя дома, в Вятке, помогал родителям убирать ничтожный от засухи картофель и познакомился с мужиком, который распахивал пласты по огородам, — это и был Александр Иванович Кирпиков. По памяти юности Крупин встал за плуг, и когда старый мерин плохо слушался чужого человека, Кирпиков, не вставая с корточек, материл мерина, и тот шагал дальше. После работы хозяева выставили угощение, начались разговоры, воспоминания, и на прощанье Кирпиков сказал: «Вот, милый, называться Александр Иванычем осталось мне десять дней. Пока картошку не выкопают, пока нужен. А потом буду Сашка и Сашка. До весенней посадки». Писатель больше ни разу не видел этого мужика, и что-то очень важное возникло тогда между ними, если вопреки литературным правилам так и зовут — Александром Ивановичем Кирпиковым — героя повести «Живая вода». Она была написана тогда же, в 70-х, но увидела свет только в 1982-м.

У людей, о которых любит рассказывать Крупин, в природе заложен настрой на игру, люди играют какие-то свои роли, находя в них возможности того, что в искусстве называется самовыражением. В «Живой воде» тема игры возникает с первых строк, Кирпиков играет с внучкой Машей в детский сад, в зубного врача, а затем возникает перед Машей в роли героя сказки о живой воде: как мужики отправили его, мальчишку, за живой водой, взяли за руки, за ноги, раскачали и на небо забросили. А там его апостолы к самому́ пустили — все ж таки связь с народом, с вятским, который, как сказали апостолы самому́, «ничего, в рамках терпимости. Храмы вот только ставят деревянные, а в остальном терпят. И живут хорошо, ребятишки даже летом ходят обутыми. Перед вами наглядный пример». Затем юного героя сказки отправляют восвояси. Апостолы говорят: «Давай валяй ко своим, иди еще потерпи». И он уходит — босиком, как и пришел, потому что перед тем, как представить вятского мальца самому́, апостолы этого «представителя народа» переодели и обули. А он так и не решился их спросить, хуже других живут вятские или лучше. Но живой воды принес, здоровенную бутыль. Мужики выпили — хороша. Однако, когда захотелось добавить, они не стали снова забрасывать Саньку на небо, послали в сельпо, — никакой разницы.

Но сказки, где он сам в образе Иванадурака, у Кирпикова — для внучки Маши. Перед взрослым населением поселка он желает предстать мыслителем, проповедником. И для этого ему требуется своим умом добраться до смысла жизни. Зачем он сам-то живет на земле? Ведь все, что им сделано, мог без особых хлопот сделать кто-нибудь другой. Если бы Кирпиков слышал про Сократа, то возможно мог бы себя сравнить с древним философом, который излагал свое учение только устно и шел своим путем к познанию истины так же, как Кирпиков, то есть ставя для начала наводящие вопросы, и считал, как и Александр Иванович, что истинное благо достигается через самопознание. Но герой повести «Живая вода» с малых лет впитал рассуждение, что если все будут ученые, то кто же ученых будет кормить, и потому о Сократе не знал и знать не мог. И когда он решил уйти от мирской суеты, заточив себя в подполе своего дома, то ему нечего было взять с собой из созданных человечеством научных трудов, кроме школьных учебников своих детей, размышляя над которыми он, однако же, до многого смог додуматься. А главное, он почувствовал себя в старости счастливым, несмотря на все обиды: «Ведь ему ничего больше не нужно, он никому не в тягость, а сам он знает, что нужно другим, и будет стараться помочь. И пока не было третьего звонка, он успеет еще многое. Он переберет, не откладывая на последнее озарение, свою жизнь, он постарается понять, почему у него была такая жизнь, а не другая... Приедет Машенька, и он еще многое успеет ей рассказать. Где и привреет, не без этого... Маша сама скоро прочтет, как убитых русских богатырей исцеляли живой водой. Приносили эту воду спасенные ими птицы». Так размышлял

Кирпиков, сидя на крыше своего дома. И когда он подумал о птицах, прилетавших с живой водой, откуда-то сверху принеслась птица, она напомнила Кирпикову одну его давнюю и случайную фразу, которая, как он теперь понимал, вмещала в себя все, о чем он передумал за последнее время: «красота есть природа жизни».

Мы судим о философах не только по тем истинам, которые они утверждают и проповедуют, но и по тому, что они считают для себя неприемлемым. Это можно отнести и к Кирпикову. Казалось бы, не ему ли радоваться, что в поселке забил источник живой воды, которая лечит болезни, наружные и внутренние раны, омолаживает, исцеляет от пьянства и даже на технику может воздействовать: смочили водой рельсы, огибающие поселок, и поезда стали скользить бесшумно. Словом, «все для человека» — знакомый лозунг. Но у Кирпикова душа не приемлет этого чуда, носящего, если пользоваться сегодняшними определениями, перестроечный смысл. Кое-кто готов заподозрить Кирпикова в зависти. Пока он копал землю у себя в погребе, надеясь найти неолитическую стоянку или полезное ископаемое: каменный уголь, нефть, — другой поселковый житель, не одержимый никакой высокой идеей, дорылся до живой воды. Однако Кирпиков далек от какой-либо зависти к удачнику. Ведь не случайно на всех в поселке живая вода действует, а на него нет, он все тот же. Потому что он противник даровщины чудесных перемен, совершающихся в поселке. Если человек не улучшает себя и свою жизнь сам, то все попусту, жители поселка поздоровели, похорошели, однако слоняются без дела, и отношения между людьми не стали лучше. И есть еще причина, почему Кирпиков не ликует вместе со всеми. Живая вода, что вдруг забила из-под земли, чужеродна тем старым сказкам, которые он переиначивает для внучки Маши, и принадлежит какому-то другому миру, где и благодеяния — излечение, омоложение — совершаются не из доброты, а, быть может, лишь как опыт над людьми, насмешка, нахальный обман. И действительно, новейшая сказка про живую воду завершается скверно. Поначалу местные власти вешают на источник пломбу — до установления государственных цен на живую воду, а затем происходит землетрясение, источник пропал, из земли вырывается фонтан чистого спирта. Кирпиков пытается его поджечь в порядке борьбы против пьянства, однако странный спирт не горит, но тут посреди ночи восходит жаркое солнце, и фонтан испаряется...

Как мы теперь понимаем, отечественный наш философ Александр Иванович Кирпиков в своем неприятии сомнительных источников дармового всеобщего благоденствия смотрел далеко вперед.

Было бы нелепостью предположить, что сегодня можно сделать Кирпикова героем «чернухи», благо он любит скоморошествовать в местной пивной, да и друзья у него, прямо скажем, не поборники трезвости. И нет оснований сокрушаться, что нашей литературой сделан шаг назад от достигнутого понимания души Ивана Африкановича. «Критический натурализм» возник из другой традиции, и он тоже ищет ответ на вопрос: как оно могло случиться, что нашей страной столько лет правил произвол и что наш народ, обладая несметными природными богатствами, живет в бедности? Любое направление в литературе неоднородно, однако в целом можно определить, что «чернуха» получила питательную среду благодаря ускоренному пересмотру всего прошлого и это направление тяготеет к позиции тех слоев общества, которые склонны считать, себе в утешение, что во всем повинен сам народ, и только он, — потому так ему и надо, «этому народу» и «этой стране», причем тут, разумеется, в ответчиках не весь советский народ, а только русский, остальные оправданы своими националистическими движениями, и «чернуха» о своих там не приветствуется. За последние годы русофобия достигла таких масштабов, что наконец впервые за всю историю представительных встреч деятелей культуры об этом позорном явлении было сказано в коллективном обращении писателей самых разных взглядов и направлений, принятом на встрече в Риме, в которой участвовали Виктор Астафьев, Владимир Солоухин, Владимир Крупин.

Конечно, у таких явлений, как русофобия, всегда бывают свои приливы и отливы, обусловленные разными причинами, и трудно сказать, когда оно пойдет на спад в этот раз, тем более что сейчас народам нашей страны предлагается другой «старший брат», который будто бы тоже готов снять рубашку с тела,—всемогущий Запад. Никак у нас не могут без «дружбы народов» — разуверились в своей, внутренней «исторической общности», теперь нас манят выгодами дружбы с США, Германией, куда так приятно ездить, кого так нужно слушаться, потому что у них «все есть», включая и свободы. Однако если уж говорить о свободах, которые на Западе, то вряд ли они имеют основанием потребительскую сытость. Западное общество хранит осмотрительную верность христианским ценностям, в защите которых от всевозможных антихристианских, антигуманных теорий, включая сюда идею «сверхчеловека», сыграла немалую роль русская литература, русская философская мысль, да и вообще Россия, ее судьба. И в этом современный русский консерватизм — слава богу, наши консерваторы теперь сами себя так называют! — ближе к западной культуре, чем новейший антигуманизм отечественной «чернухи» со своими героями из «совков».

У Крупина в «Спасении погибших» все время присутствуют мучительные размышления Олега о народе: как понять, чем живет народ, и как это выразить. И тут одна из главных — мысль о сильном человеке. Залесский говорит Олегу,

ссылаясь на мнение американского переводчика, что у нас в литературе нет сильной личности. Замечание, конечно, странное в устах Залесского. Не мог же он забыть «человека со стороны», столь восславленного одно время, вот уж кто подходил под эталон сильной личности. Или бесчисленные кинопредседатели, выводящие свои колхозы в передовые. Или энергичные секретари обкомов... Впрочем, Залесский мог иметь в виду то направление, к которому принадлежал Олег, чем-то похожий в романе-завещании и на Шукшина, и на шукшинских героев.

«А кто сильная личность? — перебил Олег. — У американцев ясно — сильный человек добивается цели, но какой? Для меня сильный — это жертвенный, терпеливый. Чего нам перед американцами шестерить? Россия столько вынесла, столько народ во лжи держали, столько ему врали, такие были испытания, траву ели, детей сколько похоронили, сколько мотил неизвестных, лагерей, тюрем, нищеты — и снова ему сильную личность? Да он и есть сильная личность. Он любовь сохранил к Отечеству!»

В страстной речи Олега выражена мысль противоречивая, вызывающая на немедленные возражения — неужто в самом деле нам сильные личности не нужны? Но для Крупина в этом, быть может, наиболее дорогое. Несколько по-иному, однако о том же, написано у него и в «Сороковом дне»: «Отец и смешон и беззащитен, невестки своих мужей, его сыновей, его выпивками в глаза колют, но такие, как он, вытянули тяжесть эпохи. Надо ли говорить что тяжесть эта была бы и для атлантов непосильна». Да и у Кирпикова из «Живой воды» есть самые необходимые, по Крупину, качества сильной личности, которая и должна быть «в рост человека», как в стихотворении Юрия Кузнецова «Сон без вымысла»: «Чтоб выйти из бездны, я стал великаном. / Уже голова наравне с океаном. / Я берег увидел, он стал вдруг далеким, / Я двинулся к берегу шагом широким. / Все более уровень дна повышался, / Мой рост между тем на ходу уменьшался. / А брызги летели под каждое веко... / И вышел на берег я в рост человека» («Москва», 1990, № 9).

В сущности здесь речь идет о русском духовном сопротивлении главенствовавшей у нас идеологии борьбы людей друг с другом и переделки человека в результате переустройства общества. У Крупина об этом и повесть «Великорецкая купель», опубликованная «Нашим современником» в 1990 году — № 4. В этой статье уже цитировалось из повести послание соловецких ссыльных священников, каким его запомнил Николай Иванович Чудинов, слышавший это послание в пересказе, главный герой «Великорецкой купели», новый герой современной литературы — не из жизни, из жития.

По ходу событий, разворачивающихся в повести, Николай Иванович приходит в мастерскую по производству надмогильных памятников, чтобы заказать памятник брату, и выясняется, что там работают только по утвержденным образцам, надгробий с крестами и в виде крестов среди образцов нет, поэтому мастера их не делают, не имеют права. Эта ситуация сразу вызывает в памяти читателей известный рассказ Владимира Солоухина «Похороны Степаниды Ивановны». У нас в государстве верующих преследовали не только в течение всей их жизни, но и за гробом.

В рассказе Солоухина бьется за разрешение похоронить родную мать по церковному обряду знаменитый писатель, то есть человек влиятельный, имеющий ходы к начальству, ему откажешь — наживешь неприятности. Поэтому похороны Степаниды Ивановны совершились как оно и должно — разрешение дал областной начальник. Однако потом священнику, исполнившему просьбу писателя, крепко досталось. Да и самому Солоухину... Он поборол областное начальство, но не отдел культуры ЦК. Рассказ «Похороны Степаниды Ивановны» опубликован лишь недавно.

Николаю Ивановичу из «Великорецкой купели», разумеется, не могло бы и в голову прийти, что надо куда-то обращаться с жалобой или протестом, — в область, в нашу печать, к западным корреспондентам. За свои религиозные убеждения он сидел в тюрьме и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе. Вышел на волю — нет ему мира и покоя, власти не разрешают верующим ходить к русской святыне — Великорецкой купели. Нельзя посадить за веру — состряпают уголовное дело.

В тюрьме Николай Иванович спасался молитвой. «Били — думал: «Слава Тебе, Господи, привел пострадать», заставляли выносить парашу, и это было не в тягость, ведь трудом унизить нельзя, даже и неверующего». В годы войны Николая Ивановича мучило, что он не на фронте. Осужденные за веру, как и политические, не получили той льготы, которая давалась уголовникам: хочешь смыть вину, иди в штрафники. Тюремное начальство почти сочувственно посоветовало: ты укради, добавят срок как уголовнику — и пожалуйста, дорога на фронт открыта. Казалось бы, можно пойти ради честного дела на такой обман. Николай Иванович не смог, наотрез отказался, чем не улучшил своих отношений с начальством. Однако он не судья своим родным и землякам из Святополья, если они лукавили или шли на обман. Пока Николай Иванович в тюрьме каждый день мастерил себе нательный крестик из щепочек, а ему на поверке каждый день крестик срывали, люди за стенами тюрьмы додумались, как обхитрить гонителей. Нашли до гениальности простое техническое решение задачи нравственной, духовной: можно попросить мастера, отливающего стандартную плиту из мраморной крошки с цементом, и он зальет внутри плиты крест. Так что власть пускай торжествует, что у нас все кладбища уставлены по стандарту. Бог видит, на могилах у верующих стоят кресты.

Крест, залитый внутрь каменной плиты, — символ поэтический, восходящий к древнему сказанию о невидимом граде Китеже. И в этом нашла свое выражение не только стойкость верующих, упорство их молчания и терпеливого сопротивления, которому за минувшие семь десятков лет никакая западная общественность не оказывала поддержки, не выступала в защиту. Огромен и многообразен опыт выживания русского человека, опыт сохранения самих себя, своей национальной сути, христианского отношения к чужим... Ведь полтора года шел тайком через Россию сбежавший из тюрьмы монгольский лама — и дошел к себе в Монголию, не выдали, — вспоминает Николай Иванович с великой гордостью за Россию и за русских. В родном Святополье он не показывался полвека и теперь только узнаёт, как жили его братья и сестры. «Старались выжить, старались детей вытянуть, а для начальства были как преступники»,—вспоминает Люба. И уж она-то не из гонимых за веру. По ее словам: «всю жизнь комсомолка, всю жизнь носом в портреты прожила». Но ведь и Любе — комсомолке, председателю сельсовета — приходилось припрятывать зерно от уполминзага и от милиции, иначе людям не выжить. Или взять случай с «передовым движением» — женщинам пахать на себе. После войны об этом геройстве радостно трубили газеты, публикуя снимки, как женщины надрываясь тащат плуг. А в Святополье удалось сохранить лошадей, и Люба, получив запрос из райзо: «Сколько вспахали на себе?» — с гордостью доложила, что и пахоту заканчивают в срок, и женщин сберегли. Никакой похвалы она в ответ не дождалась. Было сурово сказано: «Как так? Везде на себе пашут, а вы выстегиваетесь. Доложить через два дня, иначе неприятности». Люба сговорилась с женщинами, вытащили плуг на пригорок, сделали вид, что пашут, и в назначенный срок она отрапортовала начальству о выполнении. Такие вот были «винтики». Это сталинское словцо сегодня нередко цитируют самые убежденные антисталинисты как доказательство рабского характера русского человека. А ведь Сталин, судя по созданной им системе управления, равнозначной режиму оккупации, никогда не был уверен в том, что всякое инакомыслие ликвидировано окончательно и бесповоротно. И если он решил публично назвать миллионы людей «винтиками», это не значит, что вождь констатировал достигнутое, он давал еще одно новое указание своему пропагандистскому аппарату, который и принялся взахлеб твердить о «винтиках» как о самой высокой похвале простому советскому человеку за все его боевые и трудовые подвиги. Ну, а что думалось тому, кого столь щедро похвалили? Наверное, по-разному думалось. Хорошая есть у нас пословица: хоть горшком назови, только в печку не ставь. А где-то и вовсе о «винтиках» не слыхивали, или услышали — и тотчас вылетело в другое ухо. Жили своей жизнью, своими заботами и, как пишет Солженицын, платили — в отличие от «образованщины» — лишь минимальную подать в поддержку обязательной идеологической лжи.

То же самое происходит и сейчас: миллионы людей живут за пределами того пространства, где происходит кипение общественных страстей и политизированные слои спешат соответствовать переустройству экономики и социальной психологии. Путем опроса этих слоев обычно и составляются разного рода рейтинги, дающие возможность подвести победные итоги воздействия пропаганды на публику, тогда как народное самосознание, истинные требования народа, выработанные на основе всего виденного и пережитого, составляют предмет исследования для писателя, находят отражение в искусстве.

В России теоретики перестройки с самого начала не принимали в расчет, что требования народа определяются прежде всего его историей, а может, и легкомысленно надеялись, что прошлое им удастся опять переписать и опять люди станут жить «носом в портреты», как выразилась Люба из «Великорецкой купели», но это уже будут портреты Бухарина и Троцкого. При таком пренебрежении к истории может ли утвердиться у нас наверху серьезная государственная мысль? И не в том ли наша беда, что там преобладают политики, а не государственные деятели? Политики всегда ведут игру на разъединение, а не на объединение — этим и берут, обманывая и провоцируя, ввергая людей в междоусобия и ими же запугивая, чтобы получить больше власти.

В России подлинная история пишется и в наши дни вернее всего не политологами, не ролью в истории той или иной личности, а через народный характер, народное мифотворчество. Этим и современна у Владимира Крупина «Великорецкая купель», где по случаю возвращения Николая Ивановича его родня и односельчане вспоминают о пережитом, заново его осмысливая: от обещания «светлой жизни» к насаждаемому в умах безбожию, когда все дозволено и ничего не стыдно, не совестно, к раскулачиванию, к появлению в вятской деревне сосланных униатов, к самым недавним временам, когда директивно стирали с лица земли неперспективные деревни и сопротивлявшихся жителей связывали и увозили, фронтовиков и тех связывали, награжденных орденами Славы, но, как рассказывают Николаю Ивановичу односельчане, палестинских беженцев, гонимых с родины, показывали по телевизору, а русских палестинцев не показывали... «Куда еще революцию, будто недостаточно, — говорит Арсений, младший брат вернувшегося домой Николая Ивановича. — Это ведь если революция, то в новые колхозы погонят да в новые лагеря. Революция, дурак понимает, — это борьба за власть, а власть другие революции не терпит и заранее сажает». Это неприятие модных призывов у Ар-

сения не от «дремучести деревенской», а от самого широкого опыта, приобретенного в жизни. Ему тоже, как и брату, осужденному за веру, досталось пройти тюрьму. Мальчишкой, оставшись дома без матери, вдвоем с голодной сестренкой, Арсений украл из колхозного склада немножко гороховой муки, а на него свалили покражу семидесяти килограммов, для того и подучил мальчишку сосед-кладовщик. В тюрьме Арсений спасся тем, что «работу любил». А потом он «за всю жизнь окурка докуренного неспрошенного не украл». Однако той, первой кражей может и укорить старшего брата: «муки украл, так это тюрьма почетная, а баптисты разные хоть и не воровали, не больно-то их дождешься семью кормить да на фронт идти». В баптисты брат угодил у Арсения потому, что у Николая Ивановича первыми учителями веры были сосланные в вятскую деревню униаты с Украины и в тюрьму его посадили поначалу как сектанта, такая вот примечательная деталь из русской истории; кстати, последний из сосланных униатов все еще живет в деревне и ходит читать по покойникам, в народе и между религиями нет непримиримого противостояния, миром дышит и мысль Николая Ивановича, что Арсений в своих упреках справедлив: «Разве Арсеня сам меня упрекает, что за меня погибли отец и Гриша, это через него от них упрек. В том же писании: «Нет бóльшей любви, чем умереть за други своя». Но этот же Николай Иванович, воплощение кротости и терпения, когда милиция во главе с давним гонителем верующих Шлемкиным не пустила крестный ход на паром через реку Великую, без каких бы то ни было колебаний, с возгласом «Верую!» входит в воду, чтобы достичь другого берега вброд и вплавь. Для Николая Ивановича и идущих с ним невозможно прервать цепь незримую — шесть веков совершают православные крестный Великорецкий поход, и только дважды его не было: в 1552 году — по нерадению (и тогда на вятскую землю обрушились несчастья) и в 1961 году — в пору неведомо зачем усиленных гонений на православную церковь (тогда и часовню взорвали над святым источником).

Николай Иванович Чудинов никогда не выступал против советской власти. Зато советская власть вела с ним многолетнюю ожесточенную войну и содержала для этого на зарплате тысячи таких, как Шлемкин; причем выходило, что «даже и не государство, а сам Николай Иванович гонения на себя оплачивает: он плотник редкостный и работник безотказный». Крупин в «Великорецкой купели» не излагает житие подвижника последовательно и целиком. Житие Николая Ивановича Чудинова возникает в виде отдельных случаев среди самых разных воспоминаний его родных о пережитом. И эти рассказы Николая Ивановича о том, что с ним приключалось, столь же просты, как и у всех остальных, которым тоже досталась жизнь нелегкая. И он не кажется более образованным, чем они, и не хочет выглядеть более сведущим. И даже аскетический образ жизни Николая Ивановича, его привычка довольствоваться самым малым не очень-то отличает в кругу родных и земляков, потому что бедно живут все. В мыслях Николая Ивановича и в его разговорах постоянно присутствуют слова из молитв и из Священного Писания, он многое помнит наизусть и наперечет, однако окружающие не слышат от него длинных богословских рассуждений, он не охотник обличать и поучать и уж тем более никого не призывает покаяться, зато готов каждому объяснить, какие молитвы угодны Богу, и искренне молится за всех заблудших...

Все это может казаться совсем заурядным, ничем не выделяющим из толпы, однако таких, как Николай Иванович, в народе всегда немного — единицы. Нашу литературу — Толстого, Достоевского, Лескова — влекло к этим избранным натурам, хранителям православия, русского духовного мироощущения, русской правды, народных толкований истин, открытых Богом. И отрадно, что этот тип русского человека не сгинул, не исчез. Все-таки очень большой заложен в народе инстинкт национального самосохранения.

Вопрос, поставленный Владимиром Крупиным, кто же в наше время является реальной с и л ь н о й л и ч н о с т ь ю, — это, очевидно, один из главных вопросов жизни народа и государства. Зачем народу опять сильная личность, если он сам и есть сильная личность — вынес на своих плечах эпоху, тяжесть которой была бы и для атлантов непосильна, и сохранил любовь к Отечеству.

Это конечно же вопрос не политический, а выше политики.

В известной статье «Закон и святость» Крупин писал: «Мы забыли, что мысль это не содержание жизни — это только орудие исследования жизни. В теперешнем человеке многое поставлено вверх дном, в нем, как в государстве после военного переворота, главное — оружие. Но это оружие позволило все-таки захватить такую стратегическую высоту, с которой видно, что главное в человеке все-таки — душа. И эту высоту надо удержать.

Палкой в рай не загонишь, рая на земле не будет никогда».

Такая позиция в наше время вряд ли может привлечь широкие ряды сторонников и последователей — как и призывы писателя к самоограничению в потребностях: «Чем человеку меньше надо, тем он свободнее». Однако ничем другим нельзя объяснить, почему Крупин может черпать из народной жизни глубже того слоя, куда всплыла гниль и мелочь.

СОДЕРЖАНИЕ
ЖУРНАЛА «НАШ СОВРЕМЕННИК» ЗА 1991 год

ПРОЗА

Отечественный архив

ПОЭЗИЯ

Неизвестная поэзия русского зарубежья

Память: еще одна страница

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

КУРГИНЯН Сергей, ОВЧИНСКИЙ Владимир, АВРЕХ Геннадий. **Финансовая война** (О двух сенсациях 1991 года). № 5.

ЛАПИН Андрей. **Наука и природа** (Предисловие Игоря Шафаревича). № 8.

ЛОБАНОВ Михаил. **Слепота.** № 11.

МЯЛО Ксения, ГОНЧАРОВ Петр. **Славянские ручьи.** № 2.

НАЗАРОВ Михаил. **Мир, в котором оказалась эмиграция...** № 12.

РАШ Карем. **Дерзайте, россы!** (№ 5).

РЫБИН Валерий. **Бремя России...** (№ 4).

САЛУЦКИЙ Анатолий. **Начало конца или конец начала?** Жестокие заметки (№№ 2, 3); **Кочующая номенклатура** (Цекисты и академкраты). Из цикла «Жестокие заметки». (№ 8).

СМИРНОВ Игорь. **Философия смуты.** № 11.

ТУЛАЕВ Павел. **Россия и Европа: открытие приоткрытого.** № 11.

Томас Б. УАЙТ. **Не спешите в капитализм.** Открытое письмо советским людям. № 6.

ФЕДОРЕНКО Н. Т. **Китай: открывая будущее.** № 9.

ХУДОЛЕЕВ Борис. **Тайна папки «Н».** № 12.

«Читающий да разумеет...» Пророчества о судьбах России). Собрал С. Фомин (предисловие А. Парменова). № 9.

ШАФАРЕВИЧ Игорь. **Русофобия — десять лет спустя.** № 12.

ШИШИНА Юлия. **Психодизайн-XXI.** Технология Апокалипсиса. № 8.

Ядерный щит и национальная идея. «Круглый стол» в Сарове и Москве; Александр КАЗИНЦЕВ. **За право иметь дом на Земле;** В. С. НЕФЕДОВ. **Ядерное оружие и стабильность мира;** И. Д. СОФРОНОВ. **Сохранить интеллектуальное богатство;** А. Н. АНИСИМОВ. **Синдром политического иммунодефицита;** И. И. ШАНИН. **«Троянский конь» мирового правительства;** Юрий КАТАСОНОВ. **Разгром без сражений.** (№ 10).

История Отечества: документы и судьбы

Сергей ДМИТРИЕВ. **По следам красного террора** (Об историке С. П. Мельгунове и его книге) (№ 1); Сергей МЕЛЬГУНОВ. **«Красный террор»** (№№ 1—3).

Летопись России: история в лицах

Вадим КОЖИНОВ. **Поиски будущего** (Беседу записал Игорь Степанов) (№ 3); Александр НЕЧВОЛОДОВ. **Русские великие князья Олег и Игорь.** (№ 5); Михаил ТИХОМИРОВ. **Ольга;** Вадим КОЖИНОВ. **Об эпохе святой Ольги** (№ 6); Лев ГУМИЛЕВ. **Князь Святослав Игоревич** (№№ 7—8); Отец Дмитрий ДУДКО. **Святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб** (№ 9); Николай ЛИСОВОЙ. **Владимир Креститель** (№ 10); Вадим КОЖИНОВ. **Ярослав Мудрый** (№ 11); Юрий ЛОЩИЦ. **Две любви.** (№ 12).

Отечественный архив

А. Н. НИКОЛЮКИН. **В. В. Розанов и П. А. Столыпин;** В. РОЗАНОВ. **Историческая роль Столыпина** (публикация А. Н. Николюкина). (№ 3).

Ген. М. К. ДИТЕРИХС. **Убийство царской семьи.** Вступительная статья, публикация и комментарии С. Фомина. (№ 7).

Русская мысль

И. А. ИЛЬИН. **Поющее сердце.** Книга тихих созерцаний (Публикация Ю. Лисицы). (№№ 6—7).

Г. КРЕМНЕВ. **Константин Леонтьев и русское будущее;** Константин ЛЕОНТЬЕВ. **Кто правее?** (Публикация Г. Кремнева). № 12.

«Русский колокол» — «журнал волевой идеи»: статьи ген. П. КРАСНОВА — **Армия** и Б. НИКОЛЬСКОГО — **Войны России.** (№ 5); Б. НИКОЛЬСКИЙ. **Русский простор** (Публикация Ю. Лисицы). (№ 9).

КРИТИКА

ДЬЯКОВ Игорь. **Дело, которое больше нас** (К 100-летию со дня рождения И. Л. Солоневича). № 11.

ДЬЯКОНОВ Юрий. **«Прогрессы» кино** (Как готовилась «катастройка»). Заметки кинокритика. № 10.

НЕБОЛЬСИН Сергей. **Искаженный и запрещенный Александр Блок.** № 8.

ПАЛИЕВСКИЙ Петр. **Булгаков — 1991.** № 9.

Круг чтения

ГОРЫШИН Глеб. **Сегодня. Вчера. Всегда.** — Глеб Горбовский. «Сорокоуст», стихи (№ 10).

КОСИНСКИЙ И. **Причастен к преисподней?** (Предисловие Сергея Волкова). № 6.

КУРБАТОВ Валентин. **Второе утро.** (О поэзии Геннадия Ступина.) № 11.

МАКСИМОВ Юрий. **Преграда на пути зла.** Записи в дневнике о романе Анатолия Кима «Отец-лес». № 9.

МЕДВЕДЕВ Александр. **В контексте Конквеста** (Читая «Жатву скорби»: Лондон, 1988; «Новый мир», 1989, № 10). (№ 6).

МИХАЙЛОВ А. В. **К новому Достоевскому** (№ 3); **«В городах России «нарастает злая воля».** — В. В. БОГДАНОВ. «Этнография в истории моей жизни». (№ 4).

ОГРЫЗКО Вячеслав. **Есть и вера, и свобода,** — Юрий Кузнецов. «После вечного боя». Стихи. (№ 3).

ОРЛОВА Нина. **Горький дар.**— Светлана Кузнецова. «Второе гадание Светланы». Стихи. (№ 3).

ПУДОЖЕВ Вадим. **«...Путём самосознания».** Обозрение новых русских газет. № 1.

РУДИНСКИЙ В. **Поезд не в ту сторону.** (О жизни и творчестве Марины Цветаевой.) (№ 11).

СТРЕЛКОВА Ирина. **О живой и мертвой воде.** № 12.

ШАХОВСКАЯ Зинаида. **На мраморе руки...;** По поводу двух писем. № 9.

ДНЕВНИК СОВРЕМЕННИКА

КАЗИНЦЕВ Александр. **Королевство кривых зеркал.** Пресса «перестроечной» пятилетки (№ 1); **«Для маленькой такой компании...»** По страницам нью-йоркской газеты «Новое русское слово» (№ 2); **Придворные диссиденты и «погибшее поколение»** (№ 3); **Сергиевы ключи** (№ 4); **Наши — чужие.** Злободневные заметки об извечном противостоянии (№ 5); **Общество, лишенное воли** (№ 7); **12 июня: до и после** (№ 8); **Обиралы и ротозеи** (№ 9); **Не уступать духу века** (№ 12).



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 1992 года редакция планирует выпуск приложения к нашему журналу на аудио- и видеокассетах.

В ежемесячных выпусках найдут отражение самые разнообразные вопросы нашей жизни, нашего прошлого и настоящего. Вам будет представлена многокрасочная и сложная палитра патриотического движения в стране. Перед вами выступят известные русские писатели, деятели культуры и просвещения, в исполнении известных артистов и певцов мы предложим вам произведения, песни, сказания, игровые сюжеты. В наших выпусках найдут место рассказы о православной церкви, выступления священнослужителей, церковные песнопения. Вы найдете в них и полезные советы из арсенала народной медицины, рецепты приготовления национальных блюд и многое, многое другое.

Стоимость одной аудиокассеты примерно 25 руб., видеокассеты – примерно 100 руб.

Редакция будет вам благодарна, если вы срочно сообщите о вашей заинтересованности в подписке на приложение, а также за ваши рекомендации и предложения по тематике для программ. Не забудьте сообщить ваш адрес!

1 р. 50 к. ИНДЕКС 73274

Наш современник, 1991, № 12, 1–192.